

Ягельский В Башни из камня

Лето

Холодный, густой туман еще стелился над зеленой долиной, а бледное солнце только начинало свое медленное восхождение над горами, пробуждая к жизни деревушку Шодрода, укрывшуюся между склонами Кавказа.

Женщины заканчивали дойку коров. Лохматые ребятишки бегали по улочкам и придумывали себе игры на новый день. Привычную сонливость утра неожиданно нарушило появление пастухов, которые сбежали вниз с горного луга и теперь, перебивая друг друга и пытаясь отдышаться, рассказывали о партизанах, направляющихся через перевал в сторону деревни.

Погоня вьючных ослов, они шли вниз с автоматами и ящиками боеприпасов. Не скрывались, как будто совсем не боялись встречи с солдатами, патрулирующими границу. В полдень уже были в деревне. Никто их не останавливал, вошли без единого выстрела. Услышав о приближении отряда, местные милиционеры, которые всю ночь крепким вином обмывали день рождения коллеги, побросали автоматы в багажники машин, и с визгом колес рванули в сторону ближайшего городка.

Кроме стариков в деревне почти не было мужчин. Как обычно в это время года, — а стояла самая середина жаркого лета, — мужчины кочевали по России, зарабатывая на стройках или на уборке урожая на очередную холодную и неурожайную осень, очередную морозную зиму в горах.

Партизаны вели себя дружелюбно. Собрали людей на площади и заявили, что пришли с гор дать им свободу. Командир говорил о несправедливости, о воровстве местных чиновников и о Всемогушем, который воздаст крестьянам за притеснения и унижения.

— Именем Всемогушего объявляю село свободным и независимым от столицы, забывшей Бога!

Бородатый командир пообещал также, что партизаны ничего плохого людям не сделают. И даже запретил своим солдатам рвать яблоки в деревенских садах.

— Присоединяйтесь к нам и живите по наказам Всевышнего, — призывал он жителей Шодроды. — Но можете уйти, если боитесь вертолетов, которые тут обязательно появятся, как только разнесется весть о нашем приходе. Или если вы пока не готовы жить так, как повелел Господь.

Он выглядел разочарованным, когда часом позже хмурые селяне отправились в путь, покидая деревню, над которой развевался одинокий зеленый флаг, укрепленный партизанами на минарете мечети.

В тот день бородатые партизаны вошли и в другие деревни, разбросанные по зеленым ущельям Кавказа, разделенного здесь границей между спокойным Дагестаном и бунтующей Чечней. Они появились в Рахате, Тандо, Ашино, Ансальте, Галатлах, Шаури, Анди и еще в дюжине аулов в Ботлихском и Цумадинском районах по дагестанскую сторону границы.

Жители деревень распознали в бородачах чеченцев. Они отличались не только языком, но и невиданным в этих местах поведением. Чеченцы всегда были заносчивыми, но их спесь стала совсем невыносимой с тех пор, как летом девяносто шестого, после почти двухлетней войны, они остановили и заставили отступить во много раз более многочисленную и сильную российскую армию. Это не удалось сделать никому из кавказских народов. Уже давно ни один из них даже не пытался конфликтовать с Россией. После победы над россиянами чеченцы не только ставили себя выше всех, но и узурпировали себе право

поучать соседей и вмешиваться в их дела.

Они презрительно называли Дагестан «Страной без Веры» (Дар аль-Куфр), хотя сами веру Пророка приняли более тысячи лет назад именно от дагестанских горцев. До этого они столетиями поклонялись святым горам и рощам, даже Богу христиан, тогда как улемы и шейхи из Дагестана своим благочестием и знаниями с успехом соревновались за пальму первенства со святыми мужами из Каира, Багдада и Стамбула. Из Дагестана происходили и знаменитые кавказские имамы во главе с Шамилем, которые боролись не только за свободу, но за государство Бога. Из Дагестана были три четвертых всех кавказских паломников, каждый год отправляющихся в хадж (паломничество в Мекку) на родину Пророка. А чеченцы, мало того, что веру приняли значительно позже, к тому же от самозванного пророка шейха Мансура, так еще с рвением новообращенных присвоили себе имя Страны Веры (Дар аль-Ислам).

Не поддавшись россиянам, они стали ставить себя в пример другим, подстрекали ближних и дальних соседей на совместный бунт против России. Достаточно было кому-то в Кабарде, Черкессии, Балкарии или Карачаеве обронить слово о независимости, как чеченцы отправляли туда своих посланников налаживать связи, оказывать содействие, склонять к идее создания единого государства кавказских горцев.

А дагестанским горцам снисходительно объясняли, что Дагестан и Чечня это в сущности одно и то же. Поэтому и дагестанцы, и чеченцы должны как можно скорее изгнать из своих краев российских солдат, чиновников и таможенников, чтобы, наконец, начать жить свободно, дышать полной грудью.

Жители занятой бородатыми партизанами деревни Шодроды действительно считали чеченцев своими. Границы делили их деревни, пастбища и водопои только на карте. Они жили по обе стороны межи — с одной стороны дагестанский Ботлих, с другой чеченское Ведено. Когда в цинковый рупор, прикрепленный проволокой к башенке мечети в Шодроде, сельский муэдзин хрипло звал народ к молитве, его голос доносился и до чеченских аулов по ту сторону ущелья.

Они знали друг друга, ходили в гости, торговали на базарах, приглашали друг друга на свадьбы и похороны, случалось, хоть редко, выдавали своих дочерей замуж за сыновей соседей. Когда чеченцы воевали в горах с россиянами, их женам и детям давали приют дагестанские горцы. Кормили, охраняли, не считаясь с прожитым у них временем, не требуя денег. Многие жители Дагестана, главным образом местные чеченцы, тоже пошли к партизанам, чтобы помочь им в войне против россиян.

Они не ждали благодарности. Гостеприимство на Кавказе такая же святая обязанность, как забота о добром имени или кровная, передаваемая из поколения в поколение месть — единственный способ отплатить за обиду или смыть позор.

Но они не ждали и того, что, даже не поблагодарив за гостеприимство, чеченцы начнут хозяйничать в дагестанских селах, что ворвутся в их дома с автоматами в руках.

— Что вы тут потеряли? — спрашивали старейшины дагестанских сел, пытаясь остановить спускающихся с гор партизан. — Нечего вам тут делать.

— Вся земля принадлежит Всевышнему, — буркнул в ответ бородатый командир, отодвигая в сторону седобородых старцев, вставших на его пути. — Мы — слуги Всемогущего и можем ходить куда хотим, не спрашивая ни у кого согласия.

Среди партизан было немало и дагестанцев. Видимо присутствие местных парней в партизанских отрядах до такой степени придавало смелости их командирам, что они вели себя так, как будто считали вооруженное нападение чуть ли не величайшей услугой дагестанским крестьянам. Они не ожидали ни враждебности со стороны дагестанцев, ни даже недовольства. Были уверены в себе, в своей правоте и победе. К дагестанцам, пришедшим вместе с ними с гор, чеченцы относились как командиры к подчиненным, а не как гости к гостеприимным хозяевам.

Жители Шодроды, Тандо и Ансальты быстро сообразили, что бородачи, в которых они узнавали своих сородичей — это те самые бунтари, сбежавшие полгода назад из Дагестана

от гнева местных властей. Столичные чиновники из Махачкалы заклеили их как опасных преступников, утверждая, что они проповедуют искаженную и несправедливую веру. Бунтари, которые на самом деле хотели смены коррумпированного и безбожного, как они утверждали, правительства, нашли спасение в соседней Чечне, где их укрылось около тысячи человек.

Они осели в Урус-Мартане, известной по всему Кавказу непокорной твердыне мусульманских фанатиков и мечтателей, самозванцев и изгнанников. Не признавали ничьей власти и мечтали о новом халифате, который одним виделся истинно справедливым государством, другим — оазисом анархии. В Урус-Мартан съезжались кавказские бунтари всех мастей и даже кочующие по миру арабские боевики, в поисках мученической смерти на священной войне, в поисках пропуска в рай.

Урус-Мартан также пользовался на Кавказе дурной славой главного рынка невольников, захваченных ради выкупа вооруженными бандами, у вожаков которых здесь были свои дома и военные базы. Урус-Мартан ускользал из-под любой власти, в том числе и непризнанного здесь президента Чечни, и никто, в сущности, не знал, что там на самом деле происходит.

Получив информацию, что бунтари укрылись в чеченском Урус-Мартане, дагестанские власти распорядились усилить посты на границе с Чечней. Они не забыли о том, что свой побег из Дагестана изгнанники сравнивали с бегством Магомета из Мекки и обещали вернуться с таким же триумфом, как Пророк.

И теперь они возвращались, уверенные, что найдут поддержку и одобрение, по крайней мере, у жителей нищих приграничных селений, давно забытых чиновниками далекой Махачкалы, занятых только приумножением собственных богатств. Повстанцы рассчитывали, что при помощи чеченских боевиков им удастся прогнать российских солдат, охраняющих границу, и на освобожденных землях провозгласить независимую горную республику правоверных. А она со временем должна будет воссоединиться с Чечней, и другими, возникающими в Дагестане оазисами свободы и закона Аллаха, превращаясь в центр кавказского халифата.

На третий день чеченские и дагестанские руководители восстания собрались во взятой без боя деревушке Ансальта. После короткого совещания выбрали штаб восстания. В него вошли представители полусотни затерянных в горных ущельях аулов, которые и так жили по законам Корана, без революции и вооруженных бунтов. Из некоторых селений изгнали присланных из столицы милиционеров и чиновников. Из других те сами сбежали от нужды и безнадежности, также как учителя, врачи, агрономы.

Среди руководителей восстания — мулл, журналистов и поэтов — многие имели за собой многолетние сроки в тюрьмах и колониях в далекой Сибири. Тюрьмы и изгнание были наказанием за бесплодную, казалось бы, борьбу за свободу покоренного россиянами Кавказа и запрещенный ими ислам. Во главе повстанческого совета встал мулла Багаутдин Мохаммедов из Кизляра, тут же объявивший себя шейхом. Его визирем стал Сираджуддин Рамазанов, аварец из Гуниба. Повстанцы провозгласили создание независимой мусульманской горской республики и объявили священную войну России. Выбрали и эмира, который должен был вести их к победе. Единогласно, без слова сомнения, эмиром был избран чеченский командир, организовавший набег на дагестанские приграничные районы, а в ходе войны с россиянами снискавший такую славу, что его считали героем не только в Чечне, но и на всем Кавказе. Его звали Шамиль Басаев.

На следующий день налетели российские самолеты и сбросили на Ансальту бомбы. На Кавказе вспыхнула новая война, после которой неизбежно должна была разгореться самая большая, самая страшная из всех предыдущих.

Вертолеты тяжело, с воем отрывались от земли. Серо-зеленые, с красными звездами на бронированных боках, они боролись со свежим, прозрачным утренним воздухом, как пловец, который отчаянно пытается удержаться на воде.

Из расположенного на высоком холме Ботлиха издали было видно, как они летят по ущелью над речкой с низко опущенными вниз носами как будто рассматривают себя в

потоке или пытаются разглядеть что-то 12 среди валунов. И только у подножья горы, где ущелье поворачивало, чтобы обогнуть высокий уступ с прилепившимся к его склону городком, вертолеты взмывали вверх от реки. Внезапно, как будто в последний момент замечали скалу, о которую могли разбиться.

Громко взывая от усилий, взбирались все выше и выше, постепенно выбираясь из теснины, и, поднявшись до уровня ботлихской площади, повисали, наконец, неподвижно над городом. Там выравнивали строй, как будто совещаясь, чтобы через минуту хищно атаковать гору, образующую противоположную стену ущелья. Местные называли гору Ослиным Ухом. На ее склонах, на соседней Лысой Горе, и в расположенном между ними селе Тандо укрывались пришедшие из Чечни партизаны, пытавшиеся поднять в спокойном Ботлихе вооруженное восстание.

В первый день они подошли к самой границе и меткими выстрелами уничтожили несколько российских вертолетов на посадочной площадке, вырубленной в скалах ниже города. Однако им не удалось поднять местных аварцев на борьбу. Мало того, здешние горцы не только не подчинились пришельцам, но выступили против них. Жители аула Годоберди, вооруженные старыми охотничьими ружьями на волков и медведей, первыми не пустили партизан в свое селение, а потом отражали атаки, сбрасывая на нападающих каменные лавины. Встретив неожиданный отпор, партизаны окопались в горных схронах, в пещерах и лесах, покрывающих склоны гор. Разделившись на группы по несколько человек, они отстаивали только уже занятые высоты, перевалы и аулы. Ожидали подкрепления и приказов из Чечни.

Днем, когда российские самолеты и вертолеты сбрасывали на них бомбы и ракеты, партизаны укрывались в безопасных пещерах. Выходили, когда после налетов наступала глухая тишина, а россияне отправляли в горы пехоту. С верхушек голых скал партизаны стреляли по карабкающимся вверх солдатам, как по мишеням в городском тире.

После провала нескольких кровопролитных попыток штурма, россияне сменили тактику. Теперь только изредка были слышны автоматные выстрелы, которыми партизаны встречали подлетающие вертолеты. Еще реже случались бои на горных склонах. Войну с партизанами вели тяжелые, бронированные вертолеты, которые весь день, с раннего, прохладного утра до позднего, теплого вечера, терзали партизанские укрытия и разрушали занятые ими деревни. Систематически, день за днем, дом за домом.

Горы вокруг Ботлиха гудели далекими, глухими взрывами. Белые столбы дыма, вздымающиеся над серыми скалами и зеленым лесом, отмечали места, куда попадали бомбы и ракеты. Когда налеты учащались, сизый дым как туман затягивал склоны и вершины гор. Бомбардировки прекращались только в обеденное время, в полдень, когда больше всего всем докучала жара.

Над городком повисла мертвая тишина. Казалось, жители перестали дышать и напряженно вслушиваются в далекие взрывы, пытаясь по ним угадать, что их ждет.

На каменной площади, примостившись на небольшой лавочке, сидели усатые старики в меховых шапках. Они наблюдали за этим военным спектаклем в горах молча, без единого слова, застыв в неподвижности. С утра до вечера торчали на площади, как немногочисленные и такие же 13 старые, как они, деревья, дававшие им тень от палящего солнца. Они походили на ветеранов, которых за заслуги пригласили на бесплатное представление. Их с почестями привели в зал и оставили одних, где они в молчании смотрели повторяющийся без конца спектакль, ни содержания которого, ни заключенного в нем послания они не понимали.

Впечатление усиливалось тем, что весь городок напоминал вырубленный в скалах амфитеатр. Залом были окружающие Ботлих стены гор, в их расщелины и уступы рядами втискивались каменные дома. В поисках опоры и равновесия сбивались вместе, расталкивали друг друга, взбирались друг на друга. Крыши домов, стоящих ниже по склону, служили двором тем, что были выстроены выше, а соседние сакли опирались на общие каменные стены. В этой несусветной тесноте и борьбе за жизненное пространство почти не оставалось

места узким, крутым улочкам, сбегаящим от домов в верхних рядах к площади и пристроившейся на ней небольшой мечети. Это было центральное место, самое главное, святое, закрепленное за старцами, которые целыми днями наблюдали, как самолеты и вертолеты прочерчивают темно-синее, погожее небо, распугивая ястребов и орлов.

Дети проводили дни на крышах и верхушках деревьев, откуда открывался самый лучший вид на захваченное самолетами и вертолетами небо, панораму гор и разворачивающуюся вдали войну. Больше всего детишек собиралось на крышах и деревьях на краю городка, прямо над пропастью, из которой карабкались вверх вертолеты. Стоя над обрывом можно было с близкого расстояния посмотреть в лицо пилотам, когда они поднимали машины на уровень скалистого уступа Ботлиха. Каждый выныривающий из челюсти ущелья вертолет встречался визгом восторженной детворы.

Женщины наблюдали за войной со своих подворий, а точнее, занятые работой у колодцев и печей, бросали на нее мимолетный, озабоченный взгляд. С трудом распрямляли спины над корытами и дымящимися котлами, заслоняли глаза от солнца и смотрели в небо.

На весь день, с восхода до заката, возвещенного муэдзином, который из сельской мечети протяжно звал верующих на вечернюю молитву, городок, а вместе с ним и мы, приезжие журналисты, замирал в бездействии, наблюдая за вертолетами и вслушиваясь в глухие, далекие взрывы.

Больше делать было нечего.

Ничего не происходило.

Дело в том, что из нашего амфитеатра не видна была сцена, на которой разыгрывалось представление. Ее заслоняла огромная зеленая гора. Мы слышали отзвуки битвы, видели столбы дыма, поднимающиеся над вершиной горы, и исчезающие за ней вертолеты и самолеты.

Три влетели, три вылетели, грохот, дым, перерыв. И опять. Два влетели, потом еще два. Грохот, дым, шум двигателей возвращающихся машин.

Мы сидели, как зрители перед занавесом, который кто-то забыл поднять, хоть спектакль уже начался. Актеры входили на сцену и уходили с нее, а мы не знали, что там происходит. До нас долетали отзвуки разыгрывающейся за занавесом драмы, но об ее содержании и течении мы могли только догадываться.

Не было никакой возможности уйти отсюда. Военные успели уже перекрыть все дороги через горы в Ведено, в Чечню. Солдаты на постах вокруг Ботлиха не пропускали никого даже в аул Годоберди — якобы неподалеку от него шли бои. Нас должны были отвести туда аварцы, с которыми мы летели в пустом самолете из Москвы в Махачкалу. Аварцы жили в Годоберди, а на лето выезжали в Россию, где нанимались на стройки сезонными рабочими. Бросили работу, услышав по радио сообщение о партизанах из Чечни, которые пробрались за их межу. Аварцы возвращались в аул, чтобы дать отпор непрошеным гостям. По дороге ссорились друг с другом. Один из них считал, что автоматы надо купить на рынке в Махачкале, двое других убеждали, что нечего тратить деньги, наверняка оружие раздадут в ауле местные власти.

Однако с аварцами мы расстались уже в Ботлихе. Солдаты пропускали в село только тех, кто там жил, и мог подтвердить это каким-нибудь документом. Остальных приезжих отправляли в городок, а случалось, и в саму Махачкалу. Появились агенты спецслужб. Они стояли на постах у дорог, часами сидели в закусочных, где собирались местные жители и мы, приезжие. Бродили, вроде без всякой цели, по крутым закоулкам, останавливались в тени деревьев на площади перед мечетью. Подслушивали, приглядывались, крутились тут и там, запрещали все и везде, требовали показывать удостоверения личности, пропуска, разрешения, на которых вечно не хватало печатей — круглых, треугольных, квадратных.

Мы приехали не в то время и не в то место, что нужно. Как всегда.

Я вечно приезжал слишком поздно и чаще всего не с той стороны, с которой следовало.

За исключением счастливых случайностей и событий, которые можно было заранее предвидеть, я отправлялся в путь, только узнав, что что-то важное уже произошло. Отставал

уже на старте, отчаянно пытаюсь потом нагнать потерянное время. Редко удается быть свидетелем чего-то с самого начала и до конца, еще реже — увидеть все и по одну, и по другую сторону баррикад, получить полную картину события, опираться только на собственные наблюдения и впечатления. Остановиться совсем рядом с магической, невидимой линией не пересекая ее, линией, которая проводит границу между зрительным залом и сценой; с близкого расстояния увидеть лица героев драмы, каждую их гримасу, слышать не только их крики, но и каждый шепот, замечать каждый жест. Быть так близко от сцены, чтобы почувствовать себя хоть на минуту ее равноправным хозяином, но в то же время настолько далеко, чтобы можно было безопасно отступить. Не позволить ей увлечь себя, поглотить, не позволить, чтобы бесстыдное желание увидеть кошмар превратило зрителя и критика в действующее лицо спектакля, лишенное права вернуться в зрительный зал.

Решение выехать в Ботлих было ошибкой, которую совершили вполне осознанно почти все журналисты. Ну, на что можно было рассчитывать, прибывая на третий или четвертый день в осажденную местность, в стране, управляемой всевластными чиновниками и бездушными, жестокими агентами секретных служб? Партизаны не штурмовали городок, но остановились у самых его околиц. Так что нам не удалось описать ни драмы жителей осажденной крепости, ни триумфа ее захватчиков. Единственным, зато самым весомым аргументом в пользу Ботлиха было то, что именно здесь шла война, и сюда можно было относительно легко и быстро добраться.

Я знал, что нужно ехать в Чечню. В Грозный, Новые и Старые Атаги, оттуда свернуть на восток, в горы, добраться до Ножай-Юрта и Ведено, найти проводников, которые через перевал Харамы довели бы меня до партизанского лагеря. А с ними можно было бы уже попасть и к видимой из Ботлиха, но недоступной горе Ослиное Ухо, где собственно шла война, и там убедиться, как она на самом деле выглядит, на себе почувствовать, что она из себя представляет.

Именно так поступил Руслан, фотограф и кинооператор. Добрался до партизан в горах и стал хроникером их броски на Дагестан. Сидя по другую сторону горы, я видел рядом с собой, на экране старого телевизора, как улыбающийся, уверенный в себе Басаев раздает партизанам тяжелые, спелые арбузы. Как одетый в полевую куртку с арабскими надписями на погонах, проводит совещание, изучая карту со своими командирами, наконец, как его артиллеристы стреляют из пушек по почти невидимым в небе вертолетам, выкрикивая: «Аллах акбар — Бог велик!»

Руслан, хоть он работал на зарубежные редакции, был чеченцем. А в Чечню в то время не так просто было попасть. После войны с Россией, закончившейся ничего не решающим перемирием, край этот превратился в новые Дикие Поля, не поддаваясь никакому контролю и существуя без каких бы то ни было законов. Это был край, где вооруженные банды ради наживы или по приказу патронов с Кавказа или России, охотились на людей и похищали их ради выкупа. Иностранцы, то есть журналисты, потому что никто другой из-за границы сюда не заглядывал, были товаром особого спроса. За них можно было не только выторговать самую высокую цену, такие похищения наиболее эффективно компрометировали тех чеченских политиков, которые утверждали, что Чечня может существовать как государство независимое, безопасное и предсказуемое.

Вспышка восстания под Ботлихом привела к тому, что поездка в Чечню стала еще большим соблазном, а тем самым и еще большим риском. Можно было предположить, что, ожидая наплыва иностранцев, торговцы живым товаром будут на чеку и расставят новые ловушки. Чтобы их избежать, следовало нанять собственную доверенную личную охрану, и платить, по крайней мере, так щедро, чтобы ей не пришлось в голову препродать своего гостя и благодетеля в неволю.

Путешествие в Ботлих через Чечню не только продлевало время поездки, но и непомерно увеличивало расходы и риск. Решаясь переехать на другую сторону баррикады, можно было запросто попасть из зрительного зала прямо на сцену. А этого следовало

избегать любой ценой. Да, я хотел быть поблизости, но не в самом эпицентре. Поэтому я поехал в Ботлих, чтобы с каменной площади прислушиваться к далеким взрывам за горами и удовлетворяться зрелищем сизого дыма взрывов, растекающегося по зеленым склонам и нагим, скалистым обрывам. Поехал подслушивать и подсматривать войну.

Как-то в полдень я столкнулся в городке с небольшим отрядом российских солдат. Мускулистые, бронзовые от солнца, ветра и пыли, в темных очках, они бродили от скуки по узким закоулкам, утоляя жажду продаваемым из-под полы теплым пивом. Были среди них сибиряки, Дима и Сережа, с которыми я прошлым вечером познакомился на площади перед мечетью.

На закате красного, пылающего солнца они въехали на площадь на большом грузовике, закупить для отряда баранину на шашлыки, свежие овощи и фрукты. Ждали у грузовика продавца, который метался среди базарных лотков, собирая у перекупщиков деньги, чтобы дать сдачу с редкой здесь в горах банкноты крупного номинала. Бесцеремонные, в расхристанных мундирах солдаты стояли, прислонившись к стальной, раскаленной кабине грузовика, курили, подставляя потные лица прохладным дуновениям ветра. К местным относились снисходительно, свысока, но без враждебности или призрения.

Еще до возвращения продавца, собиравшего по лоткам сдачу, солдаты проговорились, что завтра на рассвете их отряд будет штурмовать Ослиное Ухо и расположенную немного подальше гору, которую они называли Подводной Лодкой.

— Кто туда идет — не возвращается, — рассказывал Дима, глядя куда-то вдаль и для лучшего эффекта глубоко затягиваясь сигаретой.

Тем временем Сергей всучил продавцу горсть смятых банкнот и велел принести водки. Нервно оглядываясь по сторонам, продавец исчез среди лавочек. На скамейке у мечети продолжали сидеть старцы в меховых шапках. Это из-за них алкоголь на Кавказе считается чем-то постыдным, запретным. Его не продают в магазинах, никто здравомыслящий не осмелится пить публично, и уж конечно, не на глазах старейшин. Пьянство — социальная деградация, позор, который невозможно смыть. Но даже это не спасло горы от этого порока. Водку тут пьют украдкой, тайком, зато часто до беспамьятства. Принесли ее с собой славянские поселенцы, которые спаивали аборигенов так же охотно, как белые пришельцы из Европы спаивали североамериканских индейцев. Потом в зависимость от водки попали молодые горцы, спускающиеся с гор в степи и на морское побережье в поисках заработков и образования. Многих из них, людей, привыкших к неограниченным пространствам, силой переселили из аулов в города, заперли в клетках бетонных блоков. Пили от тоски и от обиды, от отчаяния, что Бога нет, и от страха перед Богом. Высоко в горы водка добралась вместе с электричеством, телевидением и асфальтированными дорогами, которыми пронизали Кавказ, отбирая у него недоступность — веками служившую его единственной системой сопротивления. Из неприступной крепости Кавказ превращался в обычный проходной двор, отличавшийся от других еще только традициями и верой.

Продавец, настороженно оглядываясь, вернулся с большой полотняной сумкой яблок. На дне сумки спрятал четыре бутылки желтой, крепкой водки. Укрывшись за машиной, Сергей откупорил первую, достал из кармана мандаринку, дольки которой должны были облагородить вкус водки.

Накануне сибиряки вернулись со штурма занятого чеченцами селения Тандо. Ночная атака не удалась. Они даже не дошли до села. Две бронемшины полыхнули огнем, подстреленные из гранатометов. Им не просто пришлось отступить, они опять потеряли восемь солдат, а человек двадцать было ранено.

— Трудно с ними воевать. Они научились драться, — рассказывал Сергей, кривясь от отвращения. Густая сладость мандаринки привела к тому, что проглотить полстакана теплой водки стало еще труднее. — А наши по ошибке обстреляли вчера дагестанскую милицию. Приняли их за партизан, и четыремя нашими черными стало меньше.

Черными сибиряки называли местных жителей. Все равно кого, грузин, азербайджанцев, или даже жителей Средней Азии. Черными были все, кого нельзя было

причислить к славянам.

Дима и Сергей были солдатами-контрактниками, уже семь лет воюющими ради заработка на разных войнах, вспыхивающих на землях бывшей российской империи. Дрались в Таджикистане, в Абхазии, Чечне, а теперь приехали в Дагестан. Пока что, в сущности, бездействовали, потому что патрулирование улочек Ботлиха или проверку документов работой не признавали. Штурм Тандо был первой операцией, на которую отправили таких как они, закаленных в боях и рассматривающих войну чисто технически, как способ заработка денег. Кроме них командование отправило в горы на войну с партизанами желторотых, напуганных юнцов, только что призванных в армию солдат. Офицеры держали их в тылу, не пуская в бой и отправляя, в крайнем случае, на прочесывание после бомбардировок авиацией горных склонов и разрушенных аулов.

На рассвете следующего дня отряд Димы и Сергея как раз должен был войти в такую разбомбленную деревушку и проверить, нет ли там партизан. Была уже поздняя ночь, когда, крепко поддавши, карабкаясь в машину, пообещали, что возьмут меня с собой на операцию, если я буду ждать их перед рассветом на площади у мечети.

Рассказывая о своих приключениях, многочисленных победах, жестокости, отваге и силе, о жизни среди насилия, они рассчитывали на восхищение, или хотя бы на сочувствие. То и дело повторяли, что если попадут в руки партизан, их ждет страшная смерть. В Чечне солдат-контрактников и летчиков в плен не брали. Сначала их подвергали жесточайшим пыткам, а потом убивали. Чаще всего, перерезая горло.

У меня сложилось впечатление, что Дима и Сергей боялись не страха или боли и даже не смерти, а одиночества и отторжения, с которым они встречались на каждом шагу. Они ни для кого не были героями. В тех странах, куда они приезжали воевать, их считали захватчиками, варварами, наживающимися на чужом несчастье. Даже покупая арбузы на базаре, вынуждены были следить, как бы кто-нибудь из местных не всадил им нож в спину. Дома тоже не могли рассчитывать на понимание и восхищение. Их считали странными, не умеющими найти свое место в жизни. Их боялись, они были опасными, особенно в пьяном гнев, но никто их не любил, никто по ним не тосковал, никто о них не думал. Никто не замечал их отсутствия, не хотел слушать их рассказов. Хоть им трудно было с этим смириться, но без них жизнь в их родных местах шла своим 18 чередом.

Я был на условленном месте еще до рассвета, но никто за мной не пришел. Только в полдень я натолкнулся на сибиряков, устало расположившихся на отдых в тени деревьев. Командир, невысокий, жилистый майор с бритым черепом, слушал транзистор и не горел желанием разговаривать. Из Москвы шли сообщения, что хоть ситуация в районе кавказского Ботлиха остается чрезвычайно сложной, российские войска полностью ее контролируют, образцово реализуя тактические планы и нанося партизанам огромный урон. Авиация отрезала пути отступления бунтовщикам, среди которых возникла паника. Согласно сообщениям Кремля война на чечено-дагестанской границе была, в сущности, завершена, а партизаны разбиты в пух и прах.

— Все это замечательно, — пробурчал ни то мне, ни то сам себе командир, — тогда зачем наши летчики сегодня все еще бомбят Ослиное Ухо, на котором мы, по их информации, уже давно сидим? И что мне писать матерям убитых солдат? Сегодня утром опять троих потерял. Отправят их домой в цинковых гробах. Что мне писать? Почему они погибли, если войны уже нет?

Среди прятавшихся в тени солдат я не мог отыскать взглядом ни Димы, ни Сергея. А ведь это был их отряд, тот, что на рассвете должен был искать партизан в руинах разбомбленного аула. Их я должен был ждать у мечети. Димы и Сергея среди солдат не было.

— Так это они с тобой вчера водку пили! До того упились, что на ногах не стояли. Вместо операции пошли под арест, — майор первый раз улыбнулся, блеснув золотыми зубами. — Они тебе еще раз должны поставить. Если б вчера не упились, может, это их я отправлял бы сегодня домой в гробах и писал матерям, какими они были героями.

Назир Хаджи Баширханов походил на одного из тех медведей, которых полно было в окрестных горах. Трудно было определить его возраст. Ему могло быть тридцать пять лет, а могло быть и пятьдесят. Кряжистый, широкоплечий, с огромными, узловатыми ладонями, неуклюжей походкой. Несмотря на жару, ходил в поношенном темном костюме из толстой шерсти и потоптанных, серых от пыли ботинках. Целыми днями сидел во дворе закуской на краю городка, над самой пропастью. Он был сельским старостой соседнего Тандо, и в бинокль, позаимствованный у двоюродного брата — милиционера, наблюдал за медленной смертью своего села, методично разрушаемого российской авиацией.

Со двора закуской Тандо было видно лучше всего. Само селение, однако, заслонял поросший лесом пригорок. Назиру Хаджи вовсе не нужно было все видеть, чтобы все знать. Он здесь родился, здесь вырос, знал каждый камень. Достаточно было увидеть, куда падают бомбы, и откуда поднимается в небо дым, и он точно знал, чей дом, чей двор был в этот момент разрушен.

— Похоже, ни один двор не уцелел. Еще пару дней, и камня на камне не останется, — изредка отзывался он, потирая кулаком квадратную челюсть. — Люди говорят, что в деревне уже давно нет партизан, а россияне боятся засады и продолжают бомбить, на всякий случай. Если самим не хватает смелости войти и проверить, дали бы хоть людям вернуться. Говорят, в других местах, русские, когда входили в село, шли от дома к 19 дому и швыряли гранаты в те, что уцелели. Вот так, связку гранат через окно или в подвал, даже не проверяя, есть ли там кто или нет. Теперь воюют, а где они раньше были? Почему позволили партизанам перейти границу, напасть на село? Тогда надо было драться, людей спасать. Хаты-то чем виноваты? Эх... ни черта не осталось от Тандо.

Назир Хаджи никогда бы вслух не сознался в этом, но его больше всего беспокоила судьба собственной собаки, которую он не успел спустить с цепи, в спешке спасаясь от партизан. Вспомнил он о ней уже за околицей села, когда услышал громкий лай, но возвращаться не стал. Успокаивал сам себя, что партизаны же не звери, обычные люди, как он сам, что у них есть дела поважнее, чем мучить животное. Даже если пес не поест день-другой, с голоду не сдохнет, а как только все немного успокоится, Назир Хаджи вернется в село, чтобы оглядеться, увидеть, что там и как. Он и не подумал о самолетах.

— А что случилось с нашими коровами, овцами и козами? Не всех мы успели забрать с пастбищ и загонов. С ними-то что? Хорошо, если разбежались по горам, по крайней мере в живых остались. А те, которых мы оставили взаперти, пропали, наверное, под бомбами и в огне, — Назиру Хаджи больше всего докучала эта беспомощность. Ему хотелось куда-то бежать, что-то делать. Хотя бы для того, чтобы не думать все время о хозяйстве, о собаке, привязанной к будке, о запертых в сарае коровах. — В октябре холода начнутся. Народ постепенно к зиме готовится. Куда им теперь деваться? Дома разрушены, стада уничтожены, овощи и фрукты сгниют на корню. Как жить будем?

Староста страдал, потому что вместе с деревней догорала его прошлая жизнь. Он это чувствовал, видел, но ничего не мог сделать. Что он будет делать без дома? Что скажет людям, которые его выбрали, чтоб он ими руководил, чтоб был их главой? Что они все потеряли, что все, что было в прошлом, теперь не в счет, что старая жизнь уже не вернется, и лучше даже не вспоминать о прошлом, чтобы не ошалеть от боли и не сойти с ума?

Что ждет его на земле, которую он не сможет обрабатывать, не имея дома? Что станет с кладбищем, где похоронен его отец, его деды? Таких, у кого нет дома, родовой башни из камня, считают на Кавказе беднейшими из бедных. Не может считаться мужчиной тот, кто не в состоянии обеспечить семье хотя бы крыши над головой. А тем, у которых нет своих кладбищ, которые не знают, где похоронены их предки, на Кавказе отказывают даже в праве на собственное достоинство.

Без дома, земли, кладбища он будет никем. Потеряет свое место на земле, а значит, не сможет даже считать себя свободным человеком. Не останется ничего, что он мог бы ценить, что могло бы быть смыслом и целью его жизни. Станет беженцем, бродягой, всеми презираемым нищим, выпрашивающим милость, целующим сапоги благодетелям.

С несчастьем, постигшим его и все селение, тем труднее было смириться, что оно было вопиющей несправедливостью. Ведь они ничего такого не сделали, за что могла на них свалиться такая напасть. В их селении никогда не было никаких бунтарей, они бы этого не допустили. 20 И потом партизанам тоже не помогали. Так за что же все это?

Иногда Назир Хаджи говорил себе, что жизнь, хоть и жестокая, но такой несправедливости не допустит. Что кто-нибудь им поможет, что не бросят их вот так, на произвол судьбы. Может, придет на помощь российская армия, которая сейчас на глазах старосты равняла с землей его селение, дом за домом, двор за двором. Он слышал по радио, что в Москве обещали помощь, говорили, что никому не придется скитаться. Правда, и раньше уже разным бедолагам обещали то же самое, и ни разу не сдержали слова. Деньги на помощь и восстановление всегда разворовывали чиновники. Но может, хоть в этот раз будет по-другому?

Вечером Назир Хаджи молился в мечети. Просил Всевышнего о спасении, о силе, о том, чтобы ему, старосте, дано было понять, почему его селение ни с того, ни с сего оказалось вдруг на передовой линии фронта. И что имел в виду бородатый командир из-за гор, когда говорил, что они молятся и живут не так, как надо. Чем обещанный ими Бог с тем же самым именем, должен был быть лучше того, которому староста и его соседи молились испокон веков?

И вообще, странные вещи им говорил и странно вел себя партизанский командир Шамиль Басаев. Они его столько лет знали, жили по-соседски, если не в дружбе, то в согласии. Ездили друг к другу в гости, на свадьбы и похороны. А теперь он показался им каким-то другим, изменившимся. Да что тут удивляться! Он же пришел к ним непрошено, с автоматом, неся войну.

— Мы его считали братом. Когда-то, когда в Чечне шла война, мы даже партизан не прогоняли, если они спускались с гор на нашу сторону зализать раны, отдохнуть, подкормиться. Наша милиция закрывала глаза, когда чеченцы переправляли через Ботлих оружие и боеприпасы, привозили с гор раненных на лечение. Многим мы рисковали, но считали, что так нужно. После войны наши старейшины пригласили Шамиля и его брата Ширвани. Подарили им меховые бурки в знак братства, по молодости лет сам Назир Хаджи, хоть и староста, в той встрече с Шамилем и Ширвани не участвовал. Шамиля встречал пару раз, перекинулся словом. Лучше знал его младшего брата, Ширвани, который в отличие от Шамиля, никогда не заносился выше других. — Шамиль оказался предателем. За наше добро отплатил таким неуважением. Был нашим братом, а стал врагом, и таким теперь останется навсегда. Чеченцы заплатят нам за то, что он сделал.

Каждый день в Ботлих приезжали все новые молодые аварцы, поспешно возвращаясь из России, где летом работали на уборке урожая и строительстве. Возвращались домой, узнав о войне в своих краях. Хотели сражаться. Оскорблялись и злились, когда власти отказывались выдавать им оружие и заявляли, что войну с чеченцами нужно оставить русским войскам, которые перебрасываются сейчас на Кавказ из Петербурга, Ростова, Новосибирска, Красноярска. «Это все даргинцы, все из-за них» — в бессильном гневе сжимали кулаки приграничные аварцы.

Хоть они были самым многочисленным из сорока горных народов, населяющих Дагестан, в столице страны, Махачкале, правили даргинцы, а те явно боялись раздавать оружие аварцам — сегодня аварцы бились бы с чеченцами, а кто знает, против кого они направят оружие завтра. Мо- 21 жет, плечом к плечу с чеченскими джигитами снова бы выступили против России? Они же всегда вместе воевали с россиянами, без конца разжигали восстания. Возглавляли их, как правило, аварские имамы, но одни аварцы никогда особенно заядло не воевали, если рядом не было чеченцев. Как можно было быть уверенным, что на этот раз они не встанут под знамена Басаева, тем более что тот провозгласил себя эмиром всего Кавказа.

Кто знает, возможно, именно этого и добивался хитрый Басаев. Строптивым чеченцам не удалось поднять против России ни одного из своих соседей. Не только дальние братья,

черкесы, но и самые ближние — ингуши и дагестанские аварцы, даргинцы, лаки, кумыки и лезгины, не рвались гибнуть за свободу Чечни. Не хотели лезть на рожон, не хотели рисковать, даже если ставкой в игре должна была быть их собственная свобода. Они не мечтали о героизме, не хотели ни воевать, ни гибнуть. А чеченцы, несмотря на всю свою спесь и запальчивость, должны были понимать, что одним им не справиться с российской армией, которая не оставляла мысли о новой войне и новой победе, о возможности отомстить за прошлое поражение и бесславию.

Чеченцам не удалось склонить кавказских горцев к войне, но они могли вынудить их на это. Достаточно было заронить искру. Напасть, вырезать под корень или спалить российский пост в дагестанской Аварии и Лакии, спровоцировать россиян на ответные действия, напомнить лезгинам об их давних претензиях на земли табасаров или цухуров, натравить степных ногайцев против кумыков, настроить аварцев против даргинцев. Заставить их стрелять друг в друга, а потом никто и спохватиться не успеет, они сговорятся и выступят все вместе против России.

Басаев был не первым чеченцем, напавшим на земли Дагестана. Во время войны с Россией набег на дагестанский Кизляр совершил другой командир, Салман Радуев. По приказу тогдашнего предводителя чеченских повстанцев, генерала Джохара Дудаева, он попытался перебросить огонь войны в Дагестан. Но, прежде всего, его толкнула на это зависть к славе Басаева, который годом раньше своей браваурной атакой и взятием в заложники целого стотысячного города Буденновск на территории самой России, заставил российское правительство пойти на переговоры о прекращении войны.

Возращение Басаева и его джигитов из Буденновска в Ведено было триумфальным маршем. В городах, станицах и аулах его встречали и приветствовали толпы горцев. Молодой, мало известный партизанский командир прославился на весь Кавказ. О нем слагали песни, им восхищались. Раззадоренный Шамиль, засел в горах, откуда слал вести о планах очередных громких операций. Пугал, что нападет на Ростов, в другой раз, что пойдет на Москву, что захватит Кремль, а его хозяев возьмет в заложники, что будет взрывать российские атомные станции и подводные лодки.

Эта кичливая похвальба уже тогда ужасно раздражала Аслана Масхадова, шефа штаба партизанской армии, который от имени чеченских повстанцев вел с россиянами переговоры о мире. Гордый Масхадов клял Шамиля на чем свет стоит, из-за него ему приходилось хлопать глазами перед россиянами. Но он был бессилён. Формально оставаясь командиром Басаева, фактически ничего не мог ему сделать. Хуже того, тот был ему необходим, как воздух. В Чечне не было другого такого командира. Не было и партизанского отряда, который умел бы драться так, как джигиты Шамиля.

После войны звезда Басаева потускнела. Чеченцы избрали президентом не его, джигита, а службиста Масхадова. Молодой Шамиль долго метался. То шел на службу к Масхадову, то выступал против него, примыкал к его врагам. Немало было тех, кто говорил, что если бы не Ботлих, Басаев до конца растратил бы по мелочам свою славу, и что новую войну он затеял исключительно в личных интересах.

В те жаркие августовские вечера девяносто девятого весь Кавказ гудел от самых разнообразных, самых невероятных слухов. Говорили, что ущемленный в своем самолюбии Басаев, попался на наживку русских (ходили даже слухи, что он действовал в сговоре с ними), искавших только предлог, чтобы начать новую войну, к которой они уже были готовы. А история России, как никакая другая, пестрит тайными агентами, шпионами и провокаторами, проникающими в ряды заговорщиков и повстанцев, поднимающими их на благороднейшие бунты и революции.

Уже весной подозрительно участились нападения на российские посты на чеченских границах. Все чаще таинственные самолеты без опознавательных знаков сбрасывали бомбы на приграничные горы, все чаще случались вооруженные стычки и похищение людей ради выкупа. Во всем этом винили чеченцев. Людей же похищали по всему Кавказу, после чего везли невольников в Чечню, которая, будучи вне контроля России, представляла собой

прекрасный отстойник и рынок невольников. Никто, однако, не задавал вопросов, каким образом похитители обходили милицейские посты на пути в Чечню. Сына вице-премьера Дагестана похитили в Москве и привезли на Кавказ, спрятанного под мешками с картофелем. Похитителям пришлось проехать через тысячи постов, но ни один милиционер не удивился, зачем это чеченцам понадобилось покупать картофель в Москве и везти на юг, если в Ставрополе он стоил значительно дешевле.

До нападения Басаева на дагестанский Ботлих, эмиссары из Дагестана (многие потом были убиты в Чечне, невозможно, правда, сказать, за то ли, что они обманули Басаева) заверяли его, что готовы к восстанию, что ждут только сигнала, хотят, чтоб он возглавил движение. Сентиментальный и жаждущий бессмертной славы атаман не в силах был устоять перед соблазном, тем более, что дагестанцы сыграли на его амбициях и гордыне. Если он колебался, они упрекали его, что в трудный момент он отказывает им в помощи, трусит: «Что ты за эмир, если боишься прийти нам на помощь?»

Россияне же — если они действительно пошли на провокацию, чтобы найти повод для начала войны — мечтали, чтобы нападением на Дагестан руководил именно Басаев, олицетворяющий в России дикую жестокость и фанатизм. Никто другой на его месте не показался бы россиянам столь опасным. Во всяком случае, не настолько, чтобы они согласились на новую войну в Чечне. А летом девяносто девятого в России согласие общества на новую войну в Чечне прямо таки висело в воздухе.

Премьером российского правительства стал молодой, неприметный, никому ранее не известный Владимир Путин, воспитанник и глава секретных служб, который тут же жестко пригрозил, что наведет порядок на Кавказе. Стареющий, больной и вечно недееспособный из-за тяги к рюмке Президент Ельцин, давно уже испытывал необходимость в наследнике, который ему самому гарантировал бы спокойную старость, а его близким — спокойную жизнь и достаток. Он уже проверил двух кандидатов, для пробы назначая их на пост Премьер-министра. Ни один не показался ему подходящим. А этот новый, Путин, готовый на все, начинал ему нравиться.

Его энергия, решительность, суровость и даже холодная жестокость, которую замечали иногда в его взгляде, не пугали россиян, они как бы придавали сил и веры в себя. Загипнотизированные распадом своей империи, они несколько лет уже пребывали в состоянии летаргии и осознания своей вины, соглашаясь на все. То, что другие называли свободой, у них ассоциировалось только с деградацией и унижением.

Путин давал надежду на перемены. Все увереннее и громче становились шепотки, что молодой чекист может оказаться прекрасным наследником кремлевского трона, в последнее время все чаще остававшегося без внимания старого Президента. Если Путину и его людям нужна была победоносная кавказская война как катапульта, которая бросила бы их во власть, то Басаев эту услугу им оказал.

Он напомнил о себе всему миру, да еще как, но его планы поднять на всем Кавказе восстание против России и возглавить его, страшнейшим образом провалились. Ему не удалось увлечь за собой горцев. Напротив, его обозвали захватчиком, предателем, самозванцем и отщепенцем. Никто на Кавказе не признал его избавителем, эмиром священной войны. На этот раз никто не восхищался его бравадой, никто даже не назвал его героем.

Услышанные по радио новости о том, что происходит в России и тут же за межой, в Чечне и даже за доступной взгляду из Ботлиха горой Ослиное Ухо, нам принес в закусочную на площади староста Баширханов. Мы просиживали там целыми днями, грызя семечки подсолнуха и поедая сладкие, истекающие липким соком арбузы.

Староста сообщал, что в отместку за набег Басаева на Ботлих, российская авиация начала бомбить приграничные чеченские аулы и обстреливать ракетами аэродром в Грозном. Уничтожила давно прикованный к земле из-за отсутствия запасных частей реактивный самолет, которым летал за границу Масхадов, и небольшой самолетик для опрыскивания садов и полей, единственный летательный аппарат, которым располагала Чеченская

Республика.

Своей дерзостью, неловкостью, безрассудством славный Шамиль обеспечил фатальную головную боль Аслану Масхадову, которому когда-то как шефу штаба повстанческих войск, а теперь как чеченскому президенту, он так неохотно подчинялся. Россияне заявили, что Масхадов, будучи президентом бунтующей республики, несет ответственность за поступки всех своих подчиненных. Его, который в течение всего своего недолгого правления делал все, чтобы избежать войны, обвинили теперь в ее разжигании, в том, что именно он ее начал.

Масхадов ввел чрезвычайное положение и всеобщую мобилизацию на случай российского вторжения. Призвал повстанческую армию Басаева вернуться из Дагестана. «Вы принесете нашей стране несчастье», — предупреждал он. Заграничным корреспондентам, приехавшим в Чечню, объяснял, что ни о чем понятия не имел, что не мог удержать Басаева. «Все знают, что российские добровольцы воевали на стороне сербов во время войн на Балканах, — убеждал он журналистов, — но разве кому-то пришло в голову обвинять из-за этого в вооруженной агрессии российское государство?»

Масхадов предпринимал попытки получить аудиенцию или хотя бы телефонный разговор с Путиным. Но его звонки оставались без ответа. Кремлевские секретари объясняли все занятостью своего начальства, обещали перезвонить. Все это навевало воспоминания о временах накануне прошлой войны, когда российский Президент Ельцин отказался встретиться с чеченским президентом Дудаевым, ссылаясь на операцию на перегородке в носу.

Наконец Кремль выдвинул свои условия: Масхадов должен осудить и отречься от Басаева и его партизан, поймать его и выдать России, а сам должен отправиться в Дагестан и просить прощения у тамошних властей за набег его подданных на Ботлих.

Масхадов, почти всю свою взрослую жизнь прослуживший в российской армии, считал, что знает Россию, как свои пять пальцев. Он был уверен, что россияне только и ждут, когда чеченцы перессорятся и пойдут друг на друга. Тогда, выступая на чьей-то стороне, а еще лучше, исполняя пожелания обеспокоенной международной общественности, Кремль отправил бы войска на Кавказ и подавил бунт чеченцев, не подвергая себя выслушиванию претензий и поучений. Поэтому Масхадов терпеливо сносил все унижения, обвинения в бессилии и нерешительности, только бы не допустить в Чечне внутренних раздоров и братоубийственной войны. Он осудил Басаева, как того хотели россияне, но арестовать его у него не было ни сил, ни намерения.

Не состоялись и его переговоры с руководством Дагестана, которые по подсказке россиян назначили местом встречи приграничный городок Хасавюрт, тот самый, где в девяносто шестом году русские подписали с чеченцами перемирие, положившее конец предыдущей, проигранной войне. Когда Масхадов выбрался на встречу, на границе ему преградили путь возмущенные аварские боевики, которые, угрожая автоматами, обзывая трусом и предателем, не пропустили его в город.

Молчаливая уступчивость Масхадова была воспринята на Кавказе как признание того, что, будучи президентом и генералом, он, по существу, ничем не руководил, никто ему не подчинялся, никто его не слушал и не считался с его мнением.

Дни тянулись невыносимо долго. Свежесть утра еще побуждала к действиям, придавала веры, будила надежду, которые исчезали куда-то, испарялись в жаркие, душные полдни. Вечера, такие же горячие, не давали ни передышки, ни обещания конца монотонного ожидания.

К столу, где мы беседовали со старостой Назиром хаджи, подсели жители соседних селений, так же как он сбежавшие от партизан. Обычно они редко отзывались, потому что плохо говорили по-русски. Многие едва помнили этот язык, которому они научились только во время службы в российской армии, и со временем забыли. Дома по-русски не разговаривали; горные цепи оказались неприступной преградой для телевизионных волн, газеты сюда никогда не доходили, а даже если и были, кто стал бы их читать? Они все еще понимали, по крайней мере, схватывали смысл вопросов и разговора, но не могли уже

отыскать в памяти нужных слов и оборотов.

Сидели, тесно прижавшись друг к другу, курили сигареты и попивали горький чай, налитый из щербатых кружек в блюдца. В обеденное время хозяин закуской ставил на столы цинковые миски с жилистой отварной бараниной, отдельно подавал рис, овощи и печенье на поду лепешки.

Со временем я стал узнавать их в лицо. Не понимая языка друг друга, мы вежливо здоровались, кивали головами на прощание. Кланялись друг другу, встречаясь на площади у мечети.

Как-то в послеобеденную пору, попрощавшись со всеми, я направился к выходу, когда у дверей меня остановили трое мужчин. Я был уверен, что видел их уже раньше в закуской и что они, смущенные присутствием других, хотели о чем-то поговорить со мной наедине. Казалось, об этом свидетельствовали вежливость и доброжелательность, с которой незнакомцы взяли меня под руки и вывели из закуской.

Мы свернули в тихий переулок, где один из них преградил мне путь, махнул перед глазами каким-то вытасненным из кармана, измятым удостоверением, и сказал, что они агенты секретной службы и что меня арестуют. Все также мило и вежливо объяснили, что на моем пропуске не хватает какой-то необычайно важной круглой печати, без которой пребывание в пограничной зоне запрещено. И что если я еще сегодня же выеду из Ботлиха в Махачкалу, им не придется держать меня под арестом до приезда начальства из столицы.

Еще они сказали, что Басаев вместе с партизанами отступил в Чечню, что все уже кончилось, а значит, мое дальнейшее пребывание в Ботлихе и так не имело бы никакого смысла. Тогда я счел это искренним, хоть неловким желанием утешить меня. Но у меня и так не шевельнулась ни злость, ни даже разочарование оттого, что меня заставили уехать, освободили от необходимости делать новый выбор и нести ответственность за последствия.

Съезжая вечером извилистой дорогой с гор Кавказа на берег моря, я услышал по радио, что Басаев действительно отдал своим людям приказ отступить. Несмотря на это, россияне продолжали бомбить горы и обезлюдившие селения под Ботлихом. «Ну, конечно, они же объявили, что нас окружили, что мыши не позволят проскочить между их постами. Теперь им нужно время, чтобы выдумать какое-то объяснение, как это нам удалось беспрепятственно вернуться к себе, а они этого даже не заметили, — издевался секретарь Басаева на пресс-конференции в Грозном, которую я слушал по российскому радио. — Если поверить их сообщениям и подсчитать убитых ими партизан, оказалось бы, что каждый из нас должен был погибнуть, по крайней мере, несколько раз».

Сам же Басаев заявил в чеченской столице, что военный поход на Дагестан был началом священной войны, которую — пусть она идет хоть четверть века — он доведет до конца, до освобождения из-под российского, славянского и христианского ярма всех мусульман, живущих на землях от Волги до Дона. В запале заявил даже, что не успокоится, пока не установит власти Аллаха в самом Иерусалиме. «Неважно, как долго будет идти война, неважно, с насколько многочисленной российской армией нам придется воевать, — вещал Шамиль. — Я знаю одно, что многие из них погибнут, многих мы возьмем в плен. Прольем море крови».

В Кремле чиновники из министерства пропаганды запретили российским журналистам в дальнейшем беседовать с Басаевым и предупредили редакции, что за каждое очередное интервью с Шамилем те понесут уголовную ответственность, предусмотренную для террористов и бунтовщиков, а также лиц, оказывающих им содействие.

Водитель, который вез меня в Махачкалу, утверждал, что от брата в дагестанской милиции он знает, что отход из Ботлиха был только хитростью Басаева, и что чеченцы вскоре снова будут атаковать. Видя враждебность ботлихских аварцев, Шамиль вывел партизан в Чечню, чтобы дать им возможность отдохнуть, пополнить свои ряды и повторить удар. Пользуясь тем, что россияне перебросили войска в район Ботлиха, партизаны без труда могли пробраться горными перевалами в другой район Дагестана, чтобы атаковать там, где нет российских войск. Прежде всего, в приграничной Лакии, называемой чеченцами Аух, в

которой они составляли треть населения, и которую считали своей землей.

Вечером мы остановились поужинать в ауле Гюмры, надвое разрезанном вырубленной в скалах дорогой, ведущей с заснеженных горных склонов к сырým прикаспийским низинам. Аул Гюмры был колыбелью кавказских имамов и эмиров, которые полтора века назад поднимали в горах вооруженные, казавшиеся безнадежными, восстания против собственных властителей и ненасытной, поглощающей все России, намеренной включить Кавказ в свои границы.

В одном месте, где дорога расширялась, резко сворачивая над пропастью, внимание путешественников привлекал огромный серый валун с выбитой на нем надписью: «Не станет героем тот, кто думает о последствиях».

Из придорожной чайной мы наблюдали, как в гору по узкой дороге карабкались длинные караваны военных грузовиков, танков, бронемашин, пушек, полевых кухонь. Водитель сказал, что на аэродроме в Махачкале один за другим садятся тяжелые транспортные самолеты с новыми отрядами солдат и оружием. Ругался по-черному, потому что военные колонны завладели дорогой и никого не пропускали, лишая их тем самым источника заработка.

— И зачем стягивать столько войск? Ведь Басаев с джигитами удрал в горы, ищи теперь ветра в поле, — удивлялся водитель. — Даже слепому видно, что война закончилась, но россияне уперлись, делают вид, что не замечают этого. Ведут себя так, как будто все только начинается.

Махачкала пропахла вяленой рыбой. Сползший на берег Каспийского моря город, казалось, задыхался от влажности и жары, отупляющих, отбирающих силы и всякое желание что-то делать. Сама мысль о каком-то усилии, каких-то попытках действия была каторжно мучительной. Жара, неподвижная и тяжелая, не слабела даже ночами. Не отступала после заката палящего белого солнца, которое превращало морскую воду, заливающую замусоренный берег, в липкий пар.

Море жадно пожирало пастбища, сельскохозяйственные угодья, дворы домов, перерезало дороги, железнодорожные пути, срывало и уносило мосты. Рыбаки и пастухи, от Махачкалы до Астрахани, в отчаянии наблюдали, как их приморские пристани скрываются под водой или превращаются в островки, с каждым годом дрейфующие все дальше от берега, а залитые соленой водой зеленые пастбища преобразуются в болота и пустыни, белые, как погребальный саван.

После заката гостиница, которую мне рекомендовали, как единственную приличную в городе, дышала, хватала воздух распахнутыми окнами и дверьми. Жажда облегчения, которое приносило хоть малейшее дуновение, оказывалась сильнее стремления к интимности.

Не нужно было выходить из номера, чтобы услышать, о чем разговаривают, и что собираются делать завтра Андрей и Коля, журналисты московского телевидения. Как всегда, они сидели в расстегнутых рубашках за столиком и, дымя сигаретами, неумоимо строили планы на будущее.

Эдди с немецкого радио уже только считал дни до отъезда в Москву. Почти не выходил из номера, даже с постели не вставал. Лежа, кричал из номера, то чтобы приглушили старый телевизор в коридоре, то чтобы прекратила орать песни компания, измученная бессонными ночами, искавшая отдохновения в теплой, дурманящей водке.

Юра, самый старший из нас, лысый, как колено, и невероятно элегантный, ходил по номеру, раздевшись до гола, а все вечера проводил в обществе нескольких перезрелых, грудастых девок. Девушки готовили роскошные ужины из мяса, рыб, фруктов, овощей и грибов, которые Юра, с мастерством человека бывалого, тщательно выбирал на местных базарах. После застолья, всегда щедро окропленного водкой, пьяный Юра и его девушки неторопливо отдавались разврату на диване, поставленном на сквознячке напротив широко распахнутой двери. Засыпали в самых неожиданных местах, позах и порах, просыпались, приходили в себя, возвращались к столу, постоянно заставленному десятком блюд, тарелок,

стаканов, рюмок и бутылок, чтобы, получив новую порцию дурмана, снова искать утешения и забвения в любовных объятиях на диване.

Бесцельно блуждающему по гостиничным коридорам среди распахнутых дверей человеку, временами начинало казаться, как в кошмарном сне, что, оставаясь невидимым, он может безнаказанно и бесстыдно подглядывать за другими, не привлекая к себе их внимания.

Мы ждали в гостинице развития событий. Город гудел от слухов. Слухи о новых, таинственных похищениях невольников и еще более загадочных взрывах бомб, мелькали как ласточки в небе. Говорили также, что после нападения Басаева и его боевиков на Ботлих, российским войскам не останется ничего другого, как навести порядок со всеми остальными бунтарями на Кавказе. А это означало не только новый военный поход на Чечню, в который, впрочем, мало кто верил, а прежде всего карательную экспедицию в расположенную в полудне пути от Махачкалы долину Кадара. В прошлом году дружественные Басаеву бородатые революционеры объявили там свои селения независимым халифатом.

Их бунт в спокойном Дагестане чуть не привел к гражданской войне. Во всеобщей неразберихе зеленые знамена исламской революции воткнули даже на понурое здание дагестанского правительства. Государственным переворотом руководил Надиршах Хачилаев, в прошлом мастер спорта по боксу и карате, поэт, который обнаружил, что слава и сила могут стать колесницей, способной вознести его к вершинам власти. За деньги, заработанные на контрабанде рыбы и икры, купил себе место руководителя готовящейся к выборам партии «Рафах»; по замыслу ее создателя, амбициозного, но расточительного Абдулы Вахида Ниязова, она должна была стать организацией и представительством всех двадцати миллионов проживающих в России мусульман. Одним махом бывший боксер и поэт стал депутатом российской Думы и духовным предводителем мусульманских горячих голов на Кавказе.

Неизвестно, что навело его на мысль покуситься на власть в Дагестане. Неожиданная популярность, а может, обретенная депутатская неприкосновенность? Факт, что вместе со старшим братом, также бывшим боксером, он повел своих сторонников на правительственные здания, утопающие в глубокой тени огромных, разлапистых сосен. Здания взяли без труда и укрепили зеленый флаг на крыше. Уступили только просьбам прибывших из Москвы посланцев, которые, умоляя проявить здравый смысл, одновременно пугали отправкой войск против бунтарей.

Надиршах уступил, а пока он определял условия соглашения, правительственная милиция, пользуясь случаем, мародерствовала в кабинетах министров, очищая их от компьютеров, дорогих телевизоров и телефонов, ценных ковров.

Годом позже российские солдаты, теряя сознание на сорокоградусной жаре, продолжали охранять укрывающийся в тени сосен дворец в Махачкале от других смельчаков и безумцев. Надиршах, обманутый своими властями, которые нарушили договоренности, и объявленный в розыск российскими властями, скрывался, якобы, в бунтующей долине Кадара, откуда в случае опасности, перебирался лесами в Чечню.

Я настоял на поездке в долину. Рассчитывал, что это хоть немного смоет привкус разочарования от посещения Ботлиха. Три дня искал знакомого связного, который отвез бы меня в долину Кадара. Еще три дня в мучительном бездействии ждал, когда Хамзат, посланник из долины приедет в условленное место на автовокзал.

Он оставил мне номер телефона, но умолял, чтобы я не звонил без надобности, а если позвоню, то чтобы следил за тем, что говорю. В гостинице единственный исправный телефон находился в администрации, где выложенные темными мраморными плитами полы и колонны усиливали каждый шорох, каждый шепот. Старый администратор, которого гостиничная обслуга называла швейцаром, подслушивал телефонные разговоры, не особенно даже скрывая это. То ли по приказу, то ли — просто от скуки.

До появления Хамзата с сообщением, что боевики из Кадарской долины согласились впустить меня и переговорить, я убивал время походами на вокзал и бессмысленным просиживанием в гостиничном номере, 29 которое пытался иногда разнообразить, приводя в

порядок свои заметки и набрасывая планы будущих корреспонденций.

Свобода ослепила кавказских горцев, как и другие покоренные народы могучей и — казалось бы — вечной российской империи, которая на склоне двадцатого века неожиданно рухнула под собственной тяжестью. Свобода пришла неожиданно, и, может, поэтому больше настораживала, пронизывала страхом, чем радовала. Немногие в нее верили, только единицы ее добивались. Честно говоря, мало кому ее отсутствие досаждало, немногие могли ее себе даже вообразить. Дикие звери, рожденные в неволе, не тоскуют по лесу и бескрайним степям. Не зная другого мира, принимают этот, ограниченный стенами клеток, за естественную среду обитания. Прирученные, ждут пору кормежки и спят все остальное время, примирившись с судьбой, другой не ведая.

Свобода обрушилась на кавказских горцев как гром с ясного неба. Они ее не ждали, они не были к ней готовы. Чистая ирония судьбы! Двести лет боролись, чтобы не позволить отобрать у себя свободу, а потом, чтобы ее вернуть, пролили море крови, пока не признали превосходство и не приняли подданства России. А теперь получили эту свободу в нежданный дар. Вот уж действительно, необычный способ завоевания независимости.

Им просто сообщили, что они свободны. Они узнали об этом по телевизору декабрьской ночью девяносто первого года. Диктор в новостях сообщил, что именно в этот день великая империя прекратила существование, аннулированная президентами России, Украины и Белоруссии, тайно собравшимися на встречу в Беловежской Пуще. Весть о свободе вместо радости вызвала ужас и даже чувство унижения. Славяне вновь показали горцам с Кавказа их место, снова с ними не посчитались, обманули. Ликвидировали империю с таким же неслыханным, демонстративным высокомерием, с каким раньше ее создавали, покоряя край за краем, а под конец существования пытались ее совершенствовать. Только они сами и только с мыслью о себе. Не сочли нужным даже спросить мнение тех, которых сделали своими подданными и которым приказали уподобиться себе.

Ибо, видя безнадежность сопротивления славянским агрессорам, кавказские горцы, с практицизмом, свойственным только народам, которым угрожает уничтожение, приняли защитную окраску. Не имея возможности противостоять, решили приспособиться. Со временем стали страдать болезнью всех покоренных народов. Почувствовали себя хуже своих покорителей и стремились во всем подражать им.

Отказались, отреклись от собственной веры. В коммунистической империи, где вера в Бога считалась порочным суеверием, постыдным пережитком, религия свелась к чисто экзотическому обряду, немодному и абсолютно непригодному в эпоху компьютеров, полетов в космос, индустриализации, глобализации. Никто с претензией на звание человека светского и современного не позволил бы, чтобы его увидели отбивающим поклоны в мечети. Молодые люди, воспитанные в коммунистических школах и университетах, считали религию, и особенно ислам, символом отсталости и упадка.

Кавказские столицы, когда-то центры мысли и искусства, караван-сарай купеческих караванов и места паломничества, превратились в провинцию, в периферию. Старые мечети и медресе закрывали, разрушали или превращали в дома культуры, спортивные залы или продуктовые магазины. Те немногие, что уцелели, оставили в качестве фольклорного музея под открытым небом для развлечения немногочисленных зарубежных туристов.

Стыдливymi и заслуживающими только забвения стали казаться им не только религия, но и традиции и древние обычаи, знаменующие их прошлое и даже родной язык, все охотнее подменяемый русским языком. Лишенные собственной истории, которой не обучали в школах и о которой не позволяли писать научных трудов, жители Кавказа превратились в образцовых *Homines soveticі*, создание которых и было основной целью коммунистической утопии. Лишенные собственного Бога, истории, памяти, не знающие своих корней, стыдящиеся родного языка и самих себя, они были покорены двукратно, троекратно.

Они охотно спускались со своих гор, но на российских равнинах тоже не чувствовали себя комфортно. Не стали славянами. Но не были уже и давними, верными традициям, горцами.

Не были и правоверными мусульманами.

— Кто же мы? — рождался в глубине души потерянных горцев мучительный вопрос.

Свобода, свалившаяся на них, когда они пребывали именно в таком беспокойном состоянии души, с разбитыми сердцами и полными сомнений головами, означала уничтожение всего, что составляло их прежнюю жизнь. Со дня на день все исчезло. Все понятные авторитеты, привычные указатели пути, все без исключения точки соотнесения. Чувство безопасности и предсказуемости сменилось полным бессилием перед лицом сильнейших и неуверенностью в завтрашнем дне. Привыкшие столько поколений жить под опекой, отученные от какой бы то ни было самостоятельности, лишённые инициативы, теперь они неожиданно вынуждены были на каждом шагу проявлять предприимчивость, совершать свободный выбор и принимать его последствия на себя. Нежданная свобода оказалась для многих слишком трудным вызовом.

У них уже не было Бога, потому что им приказали от него отречься. Они со стыдом покорились этому. Взамен им навязали веру в государство, державу непобедимую и мощнейшую. И вот империя, в величие и вечность которой им пришлось уверовать, как в Бога, как колосс на глиняных ногах на их глазах рассыпалась в прах. А возвращаться к старому Богу было как-то стыдно.

Теперь все то, что им было приказано презирать, снова должно было стать для них источником гордости. Им велели, как людям свободным, вернуться к старому языку и письменности, которых они уже не знали, и забыть те, которыми в последнее время пользовались. Они не могли поговорить с соседями, на родном языке попросить показать дорогу. Не могли прочесть названий улиц, потому что теперь их написали их 31 буквами, которых они не знали, хоть они и определяли их происхождение и идентичность.

Истории родного края тоже не знали, а страна, которую они привыкли считать своей родиной, просто исчезла. Им теперь пришлось жить в государствах, которые в такой форме никогда раньше не существовали, а их границы, искусственно прочерченные на картах московскими стратегами, уже в день их начертания грозили призраком неизбежных соседских войн за землю, водопой, пастбища, залежи ценных минералов.

Межи, проложенные без учета вековых традиций и порядков, разделили и рассорили между собой добрых соседей, развели по разные стороны родственников, а заклятых врагов сделали согражданами. Границы перекрыли пути пастухам, испокон веков перегонявшим по ним свои стада. Теперь, чтобы попасть на пастбище на южном склоне горы или на базар в деревню по соседству, горцам приходилось пересекать государственные границы, брести до официальных пограничных переходов, заполнять бумаги, отвечать на вопросы, оплачивать сборы.

Рядом с Ботлихом не было ни одного пограничного перехода из соседней Грузии. Поэтому, чтобы навестить родственников в Лагодехи, расположенном буквально в двух шагах, на грузинской стороне, ботлихским аварцам приходилось пробираться по ухабистым горным дорогам сначала в Дербент, оттуда в Азербайджан и дальше, в Грузию. Поездка, которая верхом занимала максимум полдня, теперь отнимала трое суток и требовала пересечения двух государственных границ. Преодолевая трудности и преграды, добирались, наконец, до деревушки, где еще недавно чувствовали себя, как дома. Теперь их трактовали, как чужих. И они себя чужими ощущали.

По правде говоря, они себя не слишком уверенно чувствовали и в своих столицах, управляемых в эпоху свободы теми же людьми, что властвовали во времена неволи. Когда-то их называли беями, эмирами, ханами, шамхалами, наибами. Потом, покоренные россиянами, они, не моргнув глазом, стали называть себя секретарями и товарищами, а придворный церемониал заменили коммунистической фразеологией, словечками вассала, обращенными к властелину. Теперь же, тоже без малейших угрызений совести, велели называть себя президентами, премьерами и депутатами, без колебаний меняя коммунистическую фразеологию на демократическую. Новые старые правители ясно давали понять, что от своих новых старых подданных ждут, что они будут так же терпеливо выносить болезненные

проявления этой своеобразной шизофрении, что и теперь примут за добрую монету их нынешнюю реинкарнацию.

Независимость не означала свободы или изменения судьбы, просто произошла замена чужого, российского гегемона родимыми тиранами. А у тех свобода ассоциировалась с властью, ничем теперь уже не ограниченной, с полной безответственностью за что бы то ни было.

Партийные комитеты, мало чем отличавшиеся от дворов эмиров и ханов, теперь становились парламентами и дворцами президентов. Их хозяева повторяли вслед за Киплингом «Восток есть Восток, а Запад — есть Запад, они никогда не встретятся друг с другом». Эти ложно толкуемые слова служили коронным и почти всегда эффективным аргументом всем приверженцам двойных стандартов.

Как-то в узбекской столице, Ташкенте, я встретил Ядгара Обида, поэта, принесшего свое искусство в жертву на алтарь политики. Он не был похож на поэта. Ни на революционера. Коренастый и мускулистый, напоминал скорее борца, много лет назад завершившего свою профессиональную карьеру. В его монологе настойчиво сквозил мотив страха и безнадежно исчезающего времени.

— Не успеем, — повторял он. — Если империя распадется уже завтра, свобода, которую нам подарят, будет означать только свободу для тиранов. Если мы не успеем стать свободными людьми до заката эпохи неволи, останемся рабами в начале эпохи свободы.

Он перестал писать стихи, чтобы отдать свое время, талант и энергию священному делу перестройки Узбекистана из покоренной, униженной и отсталой провинции в современное, свободное гражданское государство. Он доказывал, (что тогда звучало парадоксально и несколько анахронично), что во благо узбеков, а также таджиков, казахов, туркмен, азербайджанцев, армян, грузин и кавказских горцев, империя должна попытаться по примеру других, например, французской или британской, совершенствовать себя, хоть немного осовремениться накануне своего распада, что подготовило бы покоренные народы к свободе.

— Если этого не произойдет, мы будем отданы на милость наших жестоких ханов, — предсказывал он весной девяносто первого года в Ташкенте. В узбекской столице как раз опубликовали результаты плебисцита, из которых следовало, что в огромном своем большинстве покоренные народы высказываются за перестройку империи. Поэта это явно радовало, несмотря на убежденность, что рано или поздно империя рухнет.

— Эта отсрочка нам на руку. Это даст нам время, — потирал он руки.

Ядгар высмеивал дебаты европейских мудрецов, которые с озабоченными лицами размышляли, выберут ли освобожденные мусульманские колонии российской империи турецкий путь, то есть секуляризацию государства, свободный рынок, копирование европейских образцов, или иранский — бунт против всего западного и полную подчиненность религии.

— Мы не обязаны и не будем брать кого-то за образец для подражания, — говорил поэт. — Это мы являемся колыбелью мировой цивилизации. Мы пойдем собственным путем.

Годом позже я встретил его в столице уже независимого Таджикистана. Спал на скамье в парке. Вокруг продолжалась революция. Ошеломленные свободой жители селений Памира и Каратегины, славя Аллаха, свергали безбожное правительство, оставшееся в наследство от империи. Узбекский поэт прибыл в Душанбе уже не с тем, чтобы служить соседям добрым советом. Он сбежал из Ташкента от секретных служб имперского наместника Ислама Каримова, который, пользуясь неожиданно свалившейся свободой, огласил себя президентом (поэт называл его ханом) независимого Узбекистана и начал преследования всех непокорных.

Позже я прочел в одной из московских газет, что, пытаясь избежать ареста, Ядгар Обид выехал из Ташкента в Азербайджан, а затем в Европу. И, наконец, бесследно исчез.

Во время своих поездок по Кавказу и Средней Азии я часто расспрашивал людей о поэте из Ташкента. Не особо надеясь, что смогу что-то узнать. Упоминание о поэте казалось мне изящным предлогом, хорошей возможностью, чтобы направить разговор с друзьями или

случайными знакомыми на не дающий мне покоя тезис узбека, что раньше времени полученная свобода неизбежно станет новым рабством.

Как-то я заговорил об этом в Алма-Ате с Муратом Аллезовым, мудрецом благородного происхождения и харизматичным диссидентом, сыном и политическим наследником Мухтара Аллезова, казахского национального пророка.

— Блага свободы достались не тем, кто за нее боролся или, по крайней мере, о ней мечтал, а тем, которые наживались на неволе. Наша борьба за свободу была растрочена и украдена, — грустно качал головой казах. — Украдена, потому что была присвоена сразу после победы теми, которые никогда ее не требовали и даже боялись. Растрочена, потому что, захватив свободу в свои руки, люди, не желавшие и не понимавшие ее, обесчестили ее, вываляли в грязи, свели к хищной, беспардонной борьбе за чины и богатства. В определенном смысле эта свобода только усилила наше порабощение. Размыв понятные и очевидные до сих пор разделы, границы и определения, она привела к тому, что все труднее будет отыскать сущность ее самой, труднее распознать ее и назвать по имени, труднее завоевать.

На Кавказе мало кто плакал на похоронах коммунистической утопии. Свободу и власть тут же взяли в свои руки старейшины местных кланов, которым не нужно было теперь так подробно отчитываться перед Москвой, они и присвоили себе всю страну.

В Дагестане, населенном сорока народами, где каждое ущелье — это практически отдельное, независимое государство, веками правили сильнейшие и самые многочисленные роды.

Столетия совместной жизни заставили их принять компромиссы, гарантирующие права и привилегии всем. Один из народов занимался добычей — а правильнее сказать — контрабандой нефти, другой рыболовством (то есть, браконьерством), еще кто-то сельским хозяйством, торговлей, скотоводством или виноделием.

В соответствии с национальными критериями была построена и искусная пирамида власти, в которой каждый из народов имел своих представителей в количестве, соответствующем его величине, богатству, влиянию, традициям. Ничто здесь не происходило спонтанно. Все, включая внутренний мир и равновесие, было результатом сложных межклановых договоренностей.

Даже неожиданная свобода, по крайней мере, поначалу, казалось, не угрожала старым порядкам. Наоборот, подчинилась им и служила. В столкновении с ними она оказалась не только слабее, но и проявилась уродливо, почти неузнаваемо. Желанная свобода превратилась в неограниченное никакими санкциями право кулака, служащее сильным, отказывающее во всем слабым и беспомощным. Права отдельного человека, которые теперь должны были быть важнее обязанностей по отношению к сообществу, освобождали его от необходимости заботиться обо всех его членах. Свобода на Кавказе стала безжалостной борьбой за быт, равенство — правом сильнейшего, братство — принадлежащей сильнейшему привилегией верховодить в сообществе и обрекать на рабскую зависимость слабейших.

Современность, демократия, свободный рынок, принесенные ветрами перемен в кавказские ущелья, привели, однако, к тому, что старейшины родов, веками осуществлявшие духовное руководство, но скомпрометировавшие себя коллаборационизмом, соглашательством и нерешительностью, вынуждены были уступить место людям, отличавшимся теперь не благородным происхождением, а предприимчивостью, смелостью, отсутствием совести и жалости. В новые, непонятные времена они быстрее других определились и лучше устроивались.

И раньше всех поняли, что на свободном рынке товаром может быть все, что все имеет свою цену, включая даже уже завоеванную свободу. Весь Кавказ превратился в чудовищный базар, где торговали практически всем. Разрушенная войной Чечня снабжала украденной из азербайджанских трубопроводов нефтью не только Кавказ, но даже Краснодарский и Ставропольский края в самой России. На базаре во Владикавказе за доллар можно было

купить три литра водки. Контрабандой шла каспийская икра, наркотики, оружие.

Товаром были и люди, которых похищали ради выкупа. И хотя в торговле живым товаром обвиняли в основном чеченцев, на самом деле этим занимались все. Чеченцы, возможно, даже меньше других, хотя их страна, с тех пор, как вышла из подчинения России, стала наиболее безопасным местом укрытия похищенных. Московские газеты пестрели статьями о российских комендантах приграничных станиц, которые за соответствующую мзду отправляли своих солдат на патрулирование только затем, чтобы их похитили и продали в качестве рабов. Даже по кавказским условиям, в Дагестане все происходило быстрее, неожиданнее, жестче, более нагло и беспощадно. С точки зрения убийств и взрывов, направленных против политических противников, Дагестан бил рекорды не только по сравнению со всей Россией, но мог смело соперничать с Израилем или Северной Ирландией прошлых лет. Характерно и то, что никогда не удалось схватить, посадить и осудить ни одного из убийц или подрывников. Мэр Махачкалы и одновременно один из богатейших людей республики — живой пример того, сколько раз можно выйти живым из подобного нападения. Минимум четырнадцать раз, и каждый раз безрезультатно, его пытались убить председатель городского совета, полковник милиции, наемные чеченские убийцы из Гудермеса и даже местный мастер спорта по боксу.

Насилие стало в политике методом, используемым так же часто и так же обыденно, как до недавних пор интриги, подкупы или кумовство. Трудно было найти в Дагестане серьезного политика, на которого минимум один раз не покушались. Понятно поэтому, что в заботе о собственной безопасности, а также в силу необходимости участвовать в своеобразной гонке вооружений, каждый уважающий себя политик окружал себя собственной охраной, ставил под ружье целую личную армию, набираемую обычно из земляков и родственников, самых лучших, потому что самых надежных. Впрочем, с набором солдат никогда не было никаких проблем. Всеобщая бедность и абсолютная в некоторых сельских районах безработица привели к тому, что на Кавказе появились тысячи молодых людей, для которых война стала единственным занятием и единственным будущим. У них не было образования, домов и даже надежд на работу. Не желая, однако, мириться с таким нищенским существованием, они или сами организовывали вооруженные группы, зарабатывающие на жизнь контрабандой, или вступали в личные армии. Становясь солдатами, они получали не только твердый источник средств существования, но и работу, традиционно пользующуюся на Кавказе уважением.

Командовать личными отрядами вербовали людей, не чуждых насилию, — в основном преступников, для которых разбой и убийства были единственной целью и смыслом жизни, мускулистых бывших боксеров, борцов или штангистов, бывших милиционеров и солдат, и просто болтающихся по городу без дела качков с бычьими шеями. Единение мира власти с миром преступности было для представителей обоих миров открытием. Министры и депутаты научились использовать и ценить насилие, как простой и эффективный инструмент власти. Оно их не пугало, не вызывало отвращения. Они обнаружили также, что власть, используемая в преступных целях, открывает практически неограниченные возможности. Не только неизмеримо умножает доходы, но и не вызывает того осуждения, которое выпадало на долю обычных преступников. Преступление, совершенное под эгидой власти переставало в понимании исполнителей носить печать преступления.

Для преступников же благодати приносимые мезальянсом преступности и власти не были, естественно, никаким откровением. Открытием, зато, была неповторимая, быть может, возможность, которую создавали для достижения желанной цели демократия и свободный рынок.

Сделав их гражданами, демократия дарила им право не только избирать власть, но и самим быть избранными. А благодаря свободному рынку, который на Кавказе свел до категории товара практически все стороны жизни, выборы проходили, как торги, после предварительного согласования цены.

Министры и депутаты занялись преступлениями, а преступники ступили на паркет

политических салонов. Присваивали своим шайкам названия политических партий, полные высокопарных прилагательных, претендовали на руководство во властных структурах, выигрывали договорные торги на приватизируемые фабрики и выборы депутатов в дагестанский парламент или даже в российскую думу. Было время, когда половина депутатов и министерских чиновников в Махачкале имела за собой тюремное прошлое.

Таким образом, преступники творили теперь закон. За превышение власти в тюрьму попал Министр юстиции. Если умирал Министр, его место занимал брат, зять или сын, чиновники разворовывали государственные деньги, банкиры нападали на собственные банки, а милиционеры грабили на дорогах. Богатые становились еще богаче, а бедняков ждала только еще большая нужда.

Казалось, весь мир вокруг них пребывал в состоянии упадка, уничтожения и хаоса, и только самые большие мечтатели и безумцы сумели бы отыскать в нем какие-то намеки на создание, на зарождение чего-то нового. Разочарованные и потрясенные свободой, которая на Кавказе приобрела столь отталкивающий облик, тамошние горцы стали все серьезнее опасаться, что их место на земле сжимается, вот-вот исчезнет.

Они еще помнили старую поговорку о том, что каждый человек имеет свою гору. Так хотелось в это верить, но они не могли уже найти дорогу к своим забытым горам.

— Кто мы? — без конца повторяли они.

Их сомнения окончательно развеяли славяне.

Объявленный великим реформатором Михаил Горбачев, последний властелин империи, нигде, кроме славянской ее части, не имел значительного числа сторонников. Необходимость прогрессивных реформ он провозглашал в Москве и России, но оставался глухим и бесчувственным к просьбам российских колоний на Кавказе и в Азии. Обещанная им свобода, была, таким образом, зарезервирована только для россиян, славян, белых. С этой точки зрения Горбачев ничем не отличался от своих предшественников. Полностью поглощенный амбициозными планами реформы империи, оглушенный аплодисментами Европы и Америки, он не имел ни времени, ни терпения для Кавказа и Азии. Его выводила из себя их медлительность, недоверчивость к новинкам, рабская привязанность к прошлому. Ему нужны были быстрые решения, быстрые результаты. Он не собирался путаться в лабиринтах, в сложных хитросплетениях. С типичной для революционеров высокомерной самоуверенностью считал, что прогрессивными указами сможет разрешить азиатские проблемы. Совершал ошибку за ошибкой, бестактность за бестактностью, тем самым ускоряя свое неизбежное падение.

Укротивший его высокопоставленный провинциальный чиновник Борис Ельцин, обещал всем свободу и, в конце концов, развалил империю только для того, чтобы самому занять место Горбачева в Кремле. Борясь за власть, подстрекал вассалов Горбачева: «Говорю вам, берите столько свободы, сколько сможете унести!» Однако, когда доверчивые чеченцы попытались испробовать свободу на вкус, Ельцин, будучи уже хозяином Кремля, послал против них войска.

Россия, для которой развал империи ассоциировался не с радостной и хоть и нежеланной, но свободой, а с унижительной деградацией, завистливо и мстительно сеяла войны среди недавних подданных. Свобода рождалась под аккомпанемент автоматных очередей и взрывов бомб. Войной платила Россия своим подданным за их неверность и непослушание.

Хаоса и пожаров избежали только ближайшие к Европе провинции империи: славянские Украина и Белоруссия, прибалтийские республики. Разжигаемые Россией гражданские войны опустошали и делили на не признающие друг друга клочья Кавказ и Среднюю Азию, а поддерживаемые Кремлем заговорщики свергали тамошних президентов.

— Вы никогда не были и не будете равными нам, — говорили россияне. — Но мы никогда не позволим вам уйти из-под нашей власти свободными.

Война, которую Россия объявила чеченцам в отместку за то, что они решили любой ценой добиваться независимости, излечила кавказских 37 горцев от комплекса

неполноценности по отношению к славянам. А вера в Аллаха, которую они так долго стыдливо прятали, неожиданно стала для них опорой. Они перестали беспомощно переминаться с ноги на ногу, мучить себя вопросом «Кто мы?».

— Мы — мусульмане, — гордо отвечали теперь они славянам. — Это значит, мы не такие, как вы.

Но молодые люди, которых отцы в соответствии с новой модой, возникшей во времена независимости, отправляли на учебу и в паломничества в Аравию, возвращались домой, и высмеивали не только родителей, но даже ученых мусульманских духовных.

— Вы молитесь не так, как надо, грешите на каждом шагу. Наши праздники, наряды и танцы — прегрешения против Священной Книги. Мы живем не по-божески, — без конца пеняли они старшим. — Вы не мусульмане, вы язычники.

Ислам, завезенный на Кавказ арабскими кочевниками, действительно с течением веков обрастал местными обычаями и традициями, давними верованиями, ересью. Долгие годы, не имея возможности отправляться на паломничество в Мекку, кавказские паломники ходили на поклон к святым горам, водопадам, могилам святых мужей. И не видели в этом ничего дурного. Не запрещали им этого и шейхи, духовные наставники, которых горцы беспрекословно слушались испокон веков.

Слушали, хоть не до конца понимали науки шейхов. Не все. Не всегда. Слишком много было в них мистицизма, таинственных слов, напоминающих заклинания, слишком много неоднозначности, свободы интерпретации, которая оставляла вольный выбор, заставляла делать усилия и не гарантировала правильности решения.

— Ищите Бога в себе, находите в душе путь истины, — говорили теперь шейхи переставшим ориентироваться в наступившей свободе горцам, плохо понимавшим, что делать с этим советом, и стеснявшимся расспрашивать. Шейхи же внушали, что важно не скрупулезное исполнение обрядов, а само стремление к Всевышнему и совершенству, внутренняя гармония и чистота.

Молодежь, вернувшаяся после обучения в Аравии, говорила совсем другое.

— Не знаете, как жить? Это же просто, — пожимали они плечами. — Читайте Святую Книгу, там все написано. Подражайте во всем Пророку Магомету. Поступайте, как он, даже одевайтесь, как он. И тогда истина восторжествует.

Ответ на все сомнения, вопросы и страхи должен был свестись к нескольким простым и ясным указаниям, как жить и как молиться. Эта необычайная деловитость нового учения, скрупулезно регулирующего мельчайшие детали повседневности, и тем самым освобождающего от мук выбора, показалась чрезвычайно привлекательной потерянными кавказским мусульманам. Здесь не было места диспутам теологов, мистической глубине, свободным интерпретациям. Жаждавшие ясной цели в жизни, они все охотнее прислушивались к пришельцам. Простота нового учения и готовые рецепты немедленного изменения судьбы к лучшему привели к тому, что кавказские горцы все чаще принимали его за свое собственное, не задумываясь о том, что была это вера моджахедов, фанатичных боевиков, кочующих по миру в поисках повода для священной войны и славных побед, или мученической смерти.

На Кавказ их привлекло вооруженное восстание чеченцев против России. Сюда тянулись ветераны почти всех битв священных войн — афганской, кашмирской, балканской, таджикской, арабских. Было их немного, мало кто в мире знал о маленькой, затерянной в горах республике.

Лозунги священной войны, джихада, оказались наркотиком для отчаявшихся, униженных, лишенных надежд горцев. Для растущей со дня на день армии голодающих бедняков. И, прежде всего, для молодых людей, для которых они стали не только духовным бегством от безнадежной вегетации, но и определяли цель жизни. Тем более, цель революционную. Они не учили ни умеренности, ни терпению. Наоборот, призывали к действию, к войне, к свержению дурных и несправедливых порядков. Джихад, однако, не вдохновлял на борьбу за власть в государствах, потому что само их существование считал

грехом, противоречащим учению Пророка, признающего только единое сообщество верных. Призывал начинать с основ, создавать живущие по законам Бога сообщества на уровне селений, районов, соседних поселений.

Джихад обещал не только избавление после смерти, но и приносил пользу в жизни земной. Пришельцы из арабских стран были лучше вооружены, что обеспечивало безопасность. Они сражались мужественно, а это обеспечивало им славу героев. В этих отрядах лучше всего платили, обеспечивая достаток. На их поддержку и помощь всегда могли рассчитывать верные, приходившие молиться в построенные арабами мечети. За свои деньги пришельцы возводили не только храмы, но и медресе и типографии, издавали книги и газеты, отправляли молодежь на учебу в известные своей благочестием академии в Саудовской Аравии, Египте, Йемене и Пакистане. Сами же они все больше оседали на Кавказе, где проводили моления в возглавляемых ими мечетях и обучали в школах, организованных при святынях. А во время каникул вывозили учеников в спортивные лагеря в поросшие лесами горы и обучали их владению всяческим оружием. Лучшие выпускники летних школ разъезжались потом по окрестностям, чтобы на какой-нибудь из войн пройти проверку боем, испытать на практике полученные навыки.

Для извечных, неизменных порядков они оказались большей угрозой и более трудной проблемой, чем демократия. В отличие от шейхов, видящих спасение в верности традициям, они ничего не хотели ни совершенствовать, ни спасти от гибели. Их учение гласило, что сначала нужно все разрушить, чтобы с основ начать строить новое сообщество верных, в котором все были бы равны перед Всевышним.

Такой эгалитаризм был на Кавказе шансом для людей из низших социальных слоев, которые не могли похвастаться происхождением из знатных родов, а значит, не имели права голоса ни в политике, ни в экономике. В Чечне революция была шансом для Шамиля Басаева, тогда как Аслан Масхадов твердо стоял на стороне традиции.

Бросая вызов вековому, священному долгу верности традициям и покорности родам, мусульманские революционеры на Кавказе создали угрозу не только всему тому, что составляло его идентичность, но и международному порядку. Они не признавали уз крови, национальной принадлежности. Не признавали ни государств, ни их правительств, границ, союзов, каких бы то ни было авторитетов — кроме слова Пророка. Если бы им удалось переделать Кавказ по собственной модели и убедить традиционно конфликтующие кавказские народы, что они действительно являются единым сообществом верных, горцы не позволили бы и дальше натравливать себя друг на друга. И тогда не было бы такой силы, которая смогла бы их покорить или удерживать в неволе.

Осознающие смертельную угрозу кавказские властители и шейхи, вместе с присланными из Москвы эмиссарами, сначала пытались договариваться с революционерами. Те, однако, остались глухи и невосприимчивы к расточаемым перед ними миражами богатств, привилегий и власти, а аргументам ученых теологов противопоставляли цитаты из Корана. Тогда власти прибегли к насилию и репрессиям.

Большинство кавказских революционеров сбежало в бунтующую Чечню, которая с рвением новообращенных, в поисках собственного пути, смелее всех экспериментировала с жизнью по законам Божиим. Другие поступили так, как поступали их предки под угрозой одного из бесчисленных набегов. Скрылись в горных аулах, чтобы в сторожевых башнях из камня ждать прихода врага.

В воздухе витало странное беспокойство, как бы предчувствие неуклонно приближающегося конца. Из расположенного внизу селения не доходило ни звука. Не слышно было ни лая собак, ни криков детей.

Неспокойными были бородатые мужчины, которые с автоматами в руках охраняли спускающиеся к селу дороги, останавливали машины, проверяли документы у приезжих. Разговоры не клеились, замирали на полуслове. Мужчины замолкали, вглядываясь то в долину, то в окружающие ее горные склоны, где женщины выгребали из земли картофель и бросали его в огромные, плетенные из лозы корзины. Кадарская долина, расположенная в

сердце Дагестана, на полпути между горами Кавказа и берегом Каспийского моря, давно славилась своим картофелем. Когда-то он приносил медали здешнему колхозу, носившему гордое имя Ленинского комсомола. Земля, почти такая же плодородная как на Кубани, из года в год давала урожаи дородной капусты и моркови, а под тяжестью фруктов деревья в здешних садах гнулись низко, как в благодарственных поклонах.

Потом, когда колхоз был распущен, здешние мужчины купили себе огромные грузовики и продолжали возить мешки с картофелем на базары в Ростов, Краснодар, Ставрополь и Астрахань, и даже за Урал. Самые большие смельчаки с машинами поновее добирались даже до Финляндии. Они возили на продажу не только капусту и картошку, но и помидоры, и яблоки, скупаемые у крестьян в Грузии и Азербайджана. Деревенские жители не хотели сами ездить в Россию торговать в страхе перед тамошней продажной милицией и известными своей жестокостью казаками.

В Кадарской долине грузовики были почти у всех. Огромные, как драконы, машины стояли в каждом втором дворе, служа символом статуса владельца, безопасности и зажиточности. Ибо людям в долине жилось 40 богато и славно. Улицы были чистые, дворы убранные, а упрятанные за огромными стенами и тяжелыми железными воротами усадьбы напоминали дворцы. Вокруг садов и огородов не ставили даже заборов, потому что в деревнях не было бедняков. Не было и воров. Когда в одной из деревень справляли свадьбу, на застолье могло собраться до тысячи гостей со всей долины. Огромные машины, послушно ожидающие своих водителей, перегораживали на время свадьбы всю околицу.

Именно водители, возвращающиеся из недалекого Буйнакса, привезли в долину пугающую весть о колоннах танков и грузовиков с солдатами, взбирающихся в высокие горы Кавказа, на запад, где мусульманские боевики вместе с чеченскими партизанами подняли вооруженное восстание.

Бородачи из Кадарской долины прекрасно знали тамошних бунтарей. Они не раз встречались с ними в Чечне, где добровольцами вместе с чеченскими повстанцами боролись против России. Видели их и в долине, куда чеченцы приезжали в гости, а также затем, чтобы учить дагестанских мусульман вере в Аллаха и военному ремеслу. Они стали не только боевыми товарищами, но и братьями. Жители долины даже отдали пятнадцатилетнюю Мадину в жены некоему Хаттабу, арабскому командиру, прибывшему на Кавказ из Афганистана, где он уже воевал на священной войне против неверных русских. В Чечне он прославился своей отвагой и изощренными способами устройства засад российским конвоям. Он командовал отрядом таких же, как он сам арабских добровольцев, мусульманских рыцарей печального образа, появляющихся везде, где приверженцы Аллаха вели войну с неверными.

К Хаттабу чеченцы, как ко всем чужим, относились поначалу недоверчиво, потом признали его своим. Шамиль Басаев нарек его даже другом и братом. Оба руководили набегом на дагестанский Ботлих, отделенный от Кадарской долины всего стокилометровой полосой поросших густыми лесами гор. На военную эскападу их подбил уроженец Кадарской долины, поэт, ученый и благочестивый мулла Багаутдин, который давно предрекал возникновение на Кавказе справедливого халифата праведных приверженцев Пророка. Махачкалинские власти признали его бунтовщиком и выгнали из страны. Багаутдин укрылся в Чечне у Басаева.

И вот вести из горного Ботлиха говорят о том, что восстание проваливается. Ни Хаттабу с Басаевым, ни даже Багаутдину не удалось повести за собой недоверчивых аварских крестьян из приграничных аулов, а российские вертолеты пригвоздили партизан к горным пещерам.

Теперь мужчины из долины Кадара боятся, что, подавив восстание в горах, россияне вспомнят и о них. Они уже давно были колючей занозой для преданных России дагестанских властей. Не только не признавали официальной власти, взбунтовались против нее и отказались подчиняться, но вот уже год, как, поддавшись уговорам Багаутдина, они провозгласили свои селения независимой мусульманской республикой, живущей не по

сочиняемым людьми кодексам, а в соответствии со Священной Книгой — Кораном. Они принимали у себя в долине таких же, как они сами, бунтовщиков. Главным образом с Кавказа, где только они, не таясь, дружили с враждебными России чеченскими командирами. Но все чаще и все большим числом навещали их приезжие из арабских стран, непонятые и отторгнутые у себя дома. 41

Так что бородачи из долины знали, что рано или поздно им придется сражаться. Ба, они верили, что конфронтация с режимом, который они считали греховным, необходима и неизбежна, чтобы на всем Кавказе восторжествовало Царство Божие, Дом Веры. Были готовы на мученическую смерть, ибо она должна была открыть для них врата рая. Повторяли это в мыслях и разговорах. Но теперь, когда час испытаний оказался таким близким, утратили уверенность, до сих пор сопутствующую каждому их шагу. Не знали, действительно ли уже пришло время? Та ли это минута? Они не хотели ее прозевать, но боялись и необдуманных решений и поспешности.

Так стояли они на своих постах и с горных вершин пытались высмотреть какой-нибудь не вызывающий сомнения знак. Лидеры деревенской революции — Халид, генерал Джарулла, Шамиль, Саид. Они пользовались только именами. И вовсе не из-за конспирации. Просто решили, что фамилии заставляют людей соблюдать родовую солидарность, отвлекают их от Всевышнего, что они противоречат учению Пророка, ибо он тоже использовал только имя — Магомет. В горах Кавказа, который свою идентичность строил на привязанности к родовым и племенным именам, к вековым традициям, обязывающим хранить и лелеять память о предках до девятого колена, бородачатых революционеров признали еретиками и смертельными врагами, поднявшими руку на величайшие святости.

Никто не знал, откуда они неожиданно появились в аулах и городках. Не было их в те времена, когда существовала Советская империя, не признающая никакого Бога. Никто, по крайней мере, не подозревал об их существовании.

— Мы не с неба упали. Мы тут всегда жили, — пожимает широкими плечами Джарулла, который вместо фамилии Могамедов, памятки из прошлой жизни, добавляет теперь к своему имени горделивые титулы генерала и хаджи, то есть того, кто ходил в Мекку. — Вере учили нас наши деды, которые не отреклись от нее даже во времена самых страшных преследований, когда за одну только молитву можно было потерять свободу. Мы никогда не верили назначенным чиновникам и духовникам. Подозревали, что это предатели, что они не несут нам правды, что нас обманывают. Наконец, по воле Всевышнего, времена эти прошли. Прогнали мы из мечетей продажных мулл, которые вместо того, чтобы быть нашими поводырями, оказались шпиками секретных служб. Мы напомнили людям их истинную веру. Но нам понадобилось целых семь лет, чтобы установить Божий порядок, да и то только в долине Кадара. Людям, которые так долго жили под властью обмана, трудно понять, где правда, где ложь, что хорошо, что плохо, кому верить и как распознать фальшивых пророков. Кто-то, просидевший много дней в темном подвале, выйдя неожиданно на свет, долго стоит на месте, прежде чем преодолет страх перед светом и привыкнет к нему.

В долине Кадара революция началась с того, что старые муллы запретили впускать бородачей в свои мечети. Бородачи стали молиться отдельно, а потом решили построить собственную святыню.

— Власти не давали согласия на строительство. Милиция следила от рассвета до заката, — вспоминает с гордостью генерал Джарулла, присев над придорожным, запыленным рвом. Он взял меня на обход постов на взгорьях вокруг долины, а теперь, проверив посты, мы ждали под покосившимся плетнем машину, которую Джарулла вызвал по радио. — Времени было мало, построили мы мечеть из дерева. Позже собирались обложить ее камнем. Когда рассвело, мечеть уже была готова. Чтобы не позволить ее разобрать, люди молились внутри день и ночь.

В деревянную святыню стало приходиться все больше и больше верующих. Они не только молились здесь и черпали надежду, но всегда могли рассчитывать на бесплатный

мешок муки или сахара и даже на финансовую помощь, ставшую возможной благодаря деньгам, привозимым тайно эмиссарами с Ближнего Востока. Такими, например, как Мухаммед Али из Иордании, который сначала преподавал в школе при мечети в Кызыл-Юрте, а когда власти закрыли школу, по совету праведного Багаутдина приехал преподавать и жить в долину Кадара.

Неизбежный конфликт между старым и новым вспыхнул прошлым летом. Поводом послужило подчеркнутое презрение, с которым бородачи относились к местной власти. Они без конца повторяли, что не признают никакой власти, кроме власти и законов Всевышнего. Не хотели слушаться даже духовных лиц, потому что, как они говорили, набожному человеку в контакте с Всевышним не нужны никакие посредники. Уже это подрывало авторитет местных чиновников. А бородачи к тому же сдержали слово: заставили соседских крестьян жить по их законам. Так, говорили, будет, как Бог повелел.

Продавцам в магазинах запретили продавать водку. Соседей, пойманных на пьянстве, среди бела дня бросали посреди дороги и секли плетью. Женщинам запретили выходить из дому с открытыми лицами. Объясняли людям, что они грешат, тратя состояния на свадьбы и похороны. Считали грехом танцы, песни и громкую музыку оркестров, приглашенных на свадьбу.

— Разве в Коране написано, что, выдавая дочку замуж, надо истратить все сбережения, чтобы потом на всю жизнь остаться нищим? — спрашивали они. — Или, что мое надгробие должно быть выше надгробия отца соседа?

Этих людей было легко распознать. Их женщины закрывали лицо черными хиджабами, а каждый присоединившийся к ним мужчина немедленно отращивал бороду, которую не разрешалось даже подстригать. Зато брил усы, считавшиеся на Кавказе гордостью и символом мужества. Ходили в брюках, заправленных в голенища сапог. Говорили, что делают так, чтобы быть похожими на Пророка и его товарищей. Не курили табак, не пили ни водки, ни вина. Не отдавали детей в сельскую школу, а посылали их в свои мечети, где муллы учили их писать и читать, а также говорить по-арабски, занимались с ними физкультурой, чтобы закалить и приготовить к боям за веру.

Запретили крестьянам засеять поля маком по указке приезжих из города. Когда слух об этом разошелся по деревне, а из Буйнакск на нескольких машинах в долину приехали вооруженные мужчины, бородачи вышли им навстречу и заявили, что в следующий раз поймают их и выдадут милиции. 43

В милицию донесли на третий раз. Но когда оказалось, что милиционеры, вместо того чтобы арестовать бандитов из Буйнакск, сердечно их приветствуют, бородачи прогнали из деревни и тех, и других. И с тех пор сами следили за порядком, а в мечети огласили, что пойманному на воровстве будут отрубать ладонь. И, честно говоря, в их селах сразу же стало спокойнее.

Хоть они были в долине в явном меньшинстве, люди их слушались. Не все нравилось крестьянам. Фыркали, что бородачи не позволяют им жить по-своему. Не соглашались с ними, но все-таки уступали их категоричности и фанатизму. Их боялись, потому что бородачи без колебаний прибегали к насилию, а людей, которые не соглашались жить по их законам, без зазрения совести изгоняли из деревни, из долины. В селе Карамахи из главной мечети выгнали муллу, потому что он оказался агентом секретных служб.

Не на шутку обеспокоенные власти решили действовать. Для начала стали настраивать людей против бородачей. В газетах, по радио, на собраниях и в обычных разговорах и даже в проповедях в мечетях перечисляли все их преступления и проступки. Они не соблюдали традиций, не навещая могилы предков, оскверняли их память, подвергали сомнению власть и мудрость стариков и старейшин. Мулла Зайнутдин из Кадара заявил, что бородачатый революционер хуже ста неверных, и кто его убьет, сразу попадет на небо. Даже сам муфтий Дагестана, Саид Мохаммед Абу Бакар убеждал в проповедях, что каждому мусульманину, убившему бородача-революционера, гарантировано место в раю.

Начались обыски, аресты. Милиция обыскивала мечети бородачей, искала якобы

склады оружия и укрывающихся там посланцев из арабских стран. На дорогах милиция останавливала большие грузовики, номера которых свидетельствовали о том, что они из долины Кадара. Подозрительно длинная борода водителя бывала часто достаточным поводом для того, чтобы бросить его в тюрьму.

— Сбрей бороду, тогда отпустим, — говорили милиционеры. — А если нет, пойдешь сидеть.

Отправляющимся в дорогу мужчинам женщины зашивали карманы в брюках и куртках, чтобы арестованным милиционеры не могли подбросить наркотики или автоматные патроны, что позволило бы обвинить их в контрабанде и даже терроризме.

Однако бородачи не позволили себя запугать, вступили в открытую борьбу. От пуль неизвестных стали гибнуть муллы и старосты. Бомба, заложенная в машину перед главной мечетью в Махачкале, в клочья разорвала муфтия Саида Мохаммеда Абу Бакара, объявленного бородачами предателем и продажным негодяем. В его убийстве обвиняли, в частности, и Джарулла, моего проводника и опекуна в Кадарской долине. Ни на шаг не отходивший от меня Шамиль, — единоличная охрана генерала, — вынужден был когда-то бежать из деревни за убийство старосты Карамахи, забитого камнями на дороге.

— Когда бандиты из Буйнакса первый раз приехали собирать дань с крестьян, мы вышли к ним с одними старыми охотничьими ружьями, — неспешно рассказывал Джарулла, пока сидящий рядом с ним на корточках Шамиль молча рисовал что-то палочкой на земле. — Люди, однако, быстро поняли, что если хотят жить спокойно, надо иметь оружие. В Махачкале мы продали пару грузовиков и на эти деньги купили у российских солдат автоматы. Хвала Всевышнему, что они такие падкие на деньги.

Наконец, бородачи, прогнав из долины старост, их чиновников и милиционеров, объявили деревни Божьим государством, в котором отныне единственным законом был Коран.

— Нас было меньше, но у нас были автоматы и мы умели сражаться. Многие из нас уже раньше воевали в Чечне, а некоторые даже в Афганистане и Таджикистане, — рассказывал Джарулла. — Мы легко победили.

Взбешенные власти Махачкалы приказали тысяче милиционеров окружить долину, или взять ее штурмом, или уморить всех голодом. Бородачи, под предводительством уже произведенного в генералы Джаруллы (муллу Мухтара Атаева из Карамахи объявили эмиром всей Кадарской долины, а ее саму — независимым сообществом верных) не впустили милицию в долину. Не позволили им даже забраться на окружающие долину горы, с которых можно было бы обстреливать из пулеметов разбросанные вниз деревни.

Весть о бунте бородачей долетела до самого Кремля, откуда в Кадарскую долину послали Министра внутренних дел, который приехал в Карамахи и встретился с самозванным эмиром Мухтаром. Министр привез в подарок лекарства для жителей деревень. Мухтар принял его обедом в своем доме, накормил, напоил, подарил бурку. Россиянин пообещал, что если бородачи сдадут автоматы и впустят в деревню изгнанных милиционеров, они смогут жить, как хотят, никто к ним не будет цепляться. Бородачи согласились, хоть никто и не думал сдавать оружие или открывать заново в деревне милицейские посты.

— Симпатичные люди эти фанатики, — сказал довольный российский Министр, рассчитывая, что за удачную миссию на Кавказе его ждет в Москве повышение. Действительно, вскоре так и случилось, и он стал Премьер-министром.

Двенадцать месяцев царило спокойствие. Бородачи в долине правили по своим законам. Перестали платить налоги, но и не требовали денег от столицы. Вместо старосты деревней управлял большой совет, шура, состоящий из мулл и вооруженных боевиков, моджахедов.

Исчезла старая милиция и судьи. Преступников теперь ловили патрули моджахедов, а наказание назначали духовные из мечетей. Напуганные призраком жестоких приговоров — отрубленная рука за воровство, смерть от руки кровника жертвы за убийство, побитие

камнями за насилие — преступники, не теряя времени, бежали из долины.

— С тех пор, как мы прогнали милицию, проблемы кончились, — вспоминает одетый в камуфляж Джарулла. — Исчезла коррупция, кумовство, пьянство. До сегодняшнего дня здесь не совершили ни одного преступления. Люди перестали бояться выходить вечером на улицу. Им вообще не приходится запира́ть двери своих домов.

Большой совет приказал вывесить на дорогах, ведущих в долину, зеленые флаги. При въезде в село Карамахи сняли таблицу «Колхоз имени Ленинского Комсомола», а на ее место прибили доску с кое-как нацарапанной надписью «Нет Бога кроме Аллаха». На каменных оградах усадеб 45 в селе появились арабские надписи, непонятные большинству жителей. Телеграфные столбы украсили зеленые хоругви.

На границах села выставили таблицы с объявлением «Внимание! Ты въезжаешь на независимую мусульманскую территорию», которые предупреждали приезжих, что, решаясь пересечь границу, они должны быть готовы подчиниться законам и порядкам Божьим. В обшарпанной, побеленной известью халупе на площади в Чабанмахи, где когда-то работал староста, теперь заседал напоминающий святую инквизицию трибунал ученых и праведников, которые на свои плечи взвалили тяжкую обязанность определения, что понравилось бы Всевышнему, а что бы его разгневало.

Женщинам Большой совет наказал одеваться в ниспадающие, закрывающие все тело и лицо паранджи, а еще лучше вообще без надобности не выходить из дому. И они безропотно исчезли. Кроме картофельных полей, где женщины работали, редко когда можно было встретить их в деревне. Вообще стало как-то тише и пустынной. Даже ребятишки, раньше с криком гонявшие по улицам, теперь играли во дворах.

Но, несмотря на такие перемены, на лицах жителей долины это не отразилось. Они продолжали оставаться пустыми и безразличными. На базарах, на площади, в полях люди разговаривали вполголоса; при виде иностранца отводили глаза. Революция произошла в их селениях, но как бы без их участия. Их мнения никто не спросил.

— У нас люди не любят разговаривать с чужими. Не то чтобы боялись. Просто, такие уж они есть, — объяснял Шамиль, ангел-хранитель Шамиль, не отступающий от меня ни на шаг. До революции он был водителем огромного грузовика, возил из долины картофель в Россию. Не хотел вспоминать те времена. Не хотел говорить и о том, как с двумя товарищами убил старосту. Рассуждал только о Всемогущем и о Царстве Божьем, которое должно было наступить в горах Кавказа.

— Многие еще нас не понимают и выступают против, не видя в нас своего спасения. Но это пройдет, — Джарулла отзывался все реже и тише. — Уже сегодня приходят к нам люди из других сел, из сорока сел были посланцы. Просят совета и помощи. Мы им отвечаем, что они сами должны навести порядок на своем подворье. Они все еще боятся министров, чиновников, милицию. Но чем больше их будут унижать, чем беднее будет их жизнь, тем смелее они станут.

На долину уже опускался вечер, а мы под забором, испещренным арабскими надписями, молча ждали машину, которой связной Хамзат собирался отвезти меня в Махачкалу. Затянувшееся ожидание явно смущало и раздражало Джарулла. Разговор не клеился. Все были утомлены. И прошедшим днем, и самими собой. Любопытство исчезло уже к полудню, теперь исчерпалось и терпение.

Джуралла и его боевики не согласились оставить меня в долине на ночь. Ничего даже не объяснили. Просто отказали и все. Еще в полдень, сам не зная, зачем, я упирался, настаивал на том, чтобы остаться переночевать. А вечером не переставал удивляться, как такое могло прийти мне в голову. Теперь я хотел одного — как можно скорее выбраться из долины. Мечтал остаться в одиночестве. И о сигарете, потому что ради хозяина-46 ев воздерживался от курения весь день.

Измученные пыльным пеклом дня, Джарулла, Халид, Саид и Шамиль шепотом переговаривались между собой. Мы все всматривались в сгущающуюся темноту в надежде увидеть огоньки фар, которые положат конец мучениям. Стало совсем темно, я мог спокойно

закрывать глаза, не опасаясь, что кто-то это заметит.

Нас поднял на ноги сигнал радиотелефона, зажато в руке Джураллы, и голос, с трудом пробивающийся сквозь металлические потрескивания. Поспешно бросая слова прощания, они велели мне ждать Хамзата и как можно скорее возвращаться в Махачкалу. Нервно перезарядили автоматы, вскочили в машины и помчались по каменистой дороге.

Не прошло и четверти часа, как появился Хамзат. Он был студентом, родился здесь в долине, и одним из первых присоединился к бородачам. А они позволили ему брить бороду, чтобы таким образом уберечь от ареста в Махачкале, где кроме учебы он занимался еще поддержанием контактов с местным мусульманским подпольем.

— Под Чабанмахи ни с того, ни с сего появились россияне и пытались разоружить наш пост. Но наши взяли их в плен. Четверых солдат и бронетранспортер. Теперь россияне придут за своими, — прошипел вместо приветствия Хамзат. Удлиняя путь, кружил по горным тропам, пока не решился съехать на шоссе в Махачкалу. Высадил меня перед гостиницей. — Если будет война, мы будем драться. Могут нас разбить, но тогда мы просто разлетимся, как раздавленная капля ртути. Будем везде и нигде. Нас нельзя победить. Нас будет все больше, а их дни сочтены.

Я уезжал на следующий день.

Россияне атаковали долину Кадара под конец лета. Окружили деревни, но даже не пытались их штурмовать. Днем над долиной кружили вертолеты, обстреливая дома ракетами. Стреляли, чаще вслепую, пулеметы и танки, расставленные на окружающих долину склонах.

Спасаясь от войны, десять тысяч жителей долины покинули свои дома в первые же дни окружения. Боевики Джураллы, который руководил обороной, днем прятались по подвалам и лесам. Выходили из укрытий ночью, стреляя из засады в русских солдат, пытавшихся под покровом ночи спуститься в долину.

Какое-то время защитникам помогала погода. Густые туманы и редкие в это время года ливни приковали к земле смертоносные и недоступные для партизан вертолеты. В конце концов, гору все-таки взяли российские войска, несравнимо более сильные и многочисленные.

Последней капитулировала деревня Чабанмахи, та, где мы ждали Хамзата. Джуралле, вроде бы, удалось вырваться из окружения и пробраться лесами в Чечню. Говорят, его видели потом в Урус-Мартане.

От разгрома долину не спасли ни Басаев, который, объявив, что идет на помощь бородачам, совершил очередной налет на Дагестан (на этот раз на Лакию), ни серия ужасающих — более двухсот пятидесяти погибших — таинственных взрывов в Москве, Волгодонске и Буйнакске, которые должны были повергнуть Россию в ужас перед угрозой кровавой мести.

Наоборот, россияне, вынашивающие до сих пор планы отгородиться от Чечни полосой вспаханной, заминированной земли, в погоне за джигитами Басаева ворвались на чеченскую землю. Они были твердо убеждены, что на этот раз им удастся сломить тамошних горцев и их непонятное сопротивление, которое вдохновило других бунтарей, породив у всемогущей России чувство бессилия и слепого гнева.

Осень

Они ждали, как мы договорились, у бетонных блоков, отмечающих границу между Ингушетией и Чечней. С автоматами в руках, празднично одетые в шелковые рубашки, жилеты и заглаженные в стрелку брюки. Мохаммед и Нуруддин даже надели по такому случаю черные шляпы, такие когда-то популярные на Кавказе. Военные формы, ставшие в последние годы такой же физической частью их самих, как волосы, усы или бороды,

показались им в Этот День неподходящей одеждой. В Этот День даже их машины сверкали чистотой, что на чеченских дорогах, серых от липкой грязи, было явлением редчайшим.

Они должны были меня охранять, заботиться о моей безопасности. Это ради меня их откомандировали из отряда и окопов над Тереком. Они с нетерпением ожидали меня, потому что Этот День должен был стать для них не только увольнительной с фронта, но и путешествием во времени, напоминанием о жизни до войны.

Мансур уже ждал на аэродроме в станице Слепцовская, в ветхом, изъеденном грибок бараке, промокшем от дыхания пассажиров. Я познакомился с ним раньше. И даже считал, что мы успели немного подружиться. Он приехал за мной в Ингушетию, чтобы опередить здешнюю милицию, настойчиво предлагавшую мне свою охрану еще во время паспортного контроля в аэропорту. Чеченец подкупил их деньгами, оставшимися от выплаченного мной аванса. Остальное он потратил прошлой ночью на оружие и боеприпасы.

Мансур был командиром моего эскорта. «Будешь делать, что я тебе скажу» — такое поставил условие, прежде чем взяться провести меня по Кавказу. Ради безопасности моей жизни он согласился рисковать собственной. Деньги взял за это немалые. Любил повторять, что «хорошая охрана — это главное» и что «хороший охранник скорее сам тебя убьет, чем позволит кому-то тебя выкрасть». Дорога в Грозный была практически непроезжей. Сотни машин, тракторов и грузовиков боролись друг с другом за каждый метр разбитого асфальта. В какофонии клаксонов, проклятий и причитаний продолжалось бегство из Чечни, подальше от российских самолетов, сбрасывавших бомбы на станицы и городки. Самые богатые из беженцев уже давно поселились с семьями в самых дорогих апартаментах единственной в Назрани гостиницы. Вдоль дорог в брезентовых палатках, разбитых на глинистой равнине, кочевали те, у кого не было средств на обустройство в Ингушетии.

Стоя на обочине, мы ждали Мансура — с нашими проездными документами он исчез в толпе, напиральной на окрашенную в белые и красные полосы будку таможенников. Дорога из Грозного в направлении Ингушетии текла полноводной, бурной рекой беженцев. В другую сторону, против течения, отправлялись только мы. Осознание этого тревожило, но в то же время пробуждало нетерпеливое желание действовать, радовало и даже вселяло надежду.

Опершись спиной о машину, подставив лицо осеннему солнцу, я присматривался к тем, в чьи руки отдал свою судьбу. С этого момента я был на них обречен и от них полностью зависел. Я добровольно пошел на это и даже заплатил им за то, чтобы они делали за меня выбор, последствия которого я неизбежно испытаю на себе.

Мансур производил впечатление озабоченного службиста. Остальные, кажется, прекрасно отдавали себе отчет в его недостатках, и все-таки беспрекословно подчинялись ему. Серьезный, задумчивый Омар, улыбающийся от уха до уха Муса, говорливый Мохаммед, Сулейман с бритым черепом и кустистой бородой, вечно подозрительный Нурруддин. Все были из одной деревни, расположенной на полпути между Грозным и скалистой цепью Кавказа. Они знали друг друга с детства. Ходили в одну и ту же школу, гоняли мяч на одном лугу, любили одних и тех же девушек.

Солдатами они стали пять лет назад, когда российские бронетанковые полки ворвались в Грозный, чтобы укротить чеченцев, размечтавшихся о независимости. Сговорились с другими парнями из родной деревни и создали собственный отряд. Командиром выбрали Алмана, ему доверяли больше всех. Тогда им было по двадцать с небольшим лет, и ноль жизненного опыта.

Асфальтовая, неровная дорога поначалу бежала по плоской зеленой равнине, потом, слегка свернув, нырнула в редкую рощицу. Обстрелянные, посеченные пулями, покалеченные деревья торчали серо и неподвижно.

Ехали молча. Мансур спал на сидении рядом со мной, Омар впереди, рядом с водителем, отсутствующий, задумавшийся, ковырял острием ножа в замке лежащего на коленях автомата, а Муса, сидя за рулем, бросал время от времени взгляд в зеркальце, чтобы проверить, не слишком ли отстает от нас едущий второй машиной Нурруддин.

На подъезде к Грозному мы сбросили скорость, чеченцы приоткрыли окна в машинах и выставили дула автоматов.

В теплом осеннем солнце даже лабиринты пожарищ и руин создавали иллюзию пробуждающихся к жизни, полных энергии и надежды. Только в сумерки, которые опускались быстро и как бы неожиданно, меня тональность и атмосферу всего окружающего, разрушенный город снова превращался в призрачное кладбище, погруженное в пугающий мрак, в котором, как видения, мелькали людские фигуры.

Грозный ничем не напоминал город, известный мне по прошлым поездкам. Беззаботный, горделиво задирающий нос и самовлюбленный, крикливый и куда-то вечно спешащий, он неохотно отходил ко сну, как 52 будто считал время, отведенное для сна, потраченным зря. Широкие, обсаженные деревьями улицы, кажется, никогда не пустели. Дети с визгом бегали вокруг плещущих фонтанов, а молодые пары скрывались в тени парковых аллей. Улицы и рестораны в центре города всю ночь шумели голосами и пульсировали музыкой дискотек, которая успешно заглушала голоса муэдзинов, призывающих горцев на молитву в мечети. Водка лилась рекой.

Война, прокатившаяся по городу, разрушила его и искалечила его жителей. Выжгла изнутри пожарами каменные дома двадцатых-тридцатых годов, а их стены изранила тысячами снарядов; ран было слишком много, чтобы они успели рубцеваться.

Город, хоть так не похожий на себя, пытался жить по-старому. Война убила все, кроме иллюзии; бессмертная, она остается единственным спасением и единственной возможностью бежать от действительности.

Рыская по дороге, объезжая бомбовые воронки, бесконечный поток машин струился среди руин своим привычным руслом. Под стенами закопченных, вымерших домов суетились перекупщики и лоточники, буквально выхватывая друг у друга из рук товары и деньги. Кое-как сколоченные из досок и фанеры шашлычные и забегаловки тонули в запахах жареного мяса, кислого пива и дешевого табака.

Когда мы подъезжали к мосту на проспекте Автурханова, Мансур велел Мусе притормозить. Толкнул меня в плечо.

— Тут я дрался... И тут тоже... в декабре, когда мы защищали город... Мы везде сражались, — поправился он. — А в августе девяносто шестого мы весь город заняли. Старая история. Мы были героями, а, Муса?

В голосе Мансура звучала грусть, тоска, сомнения и разочарование. Возвращающимся с войны мир всегда кажется слишком тесным, а их мысли убегают слишком далеко.

— Атутя когда-то встретил американцев, — продолжал Мансур, вдохновленный моим жадным вниманием. У него давно уже не было случая поговорить о тех делах, о тех прекрасных временах славы и смерти. — Они пришли ко мне, чтобы я их проводил к дворцу президента. Московское телевидение сообщило, что россияне его уже взяли. Так они, проводи, мол, чтоб можно было снять и показать в ночных новостях, это, мол, важно. Обещали заплатить. Я их проводил до дворца. Подвалами, канализацией можно было попасть почти в любое место. Мы жили как крысы. А вокруг ничего — только огонь и рвущиеся бомбы. Я их довел туда и обратно, ни с кем ничего не случилось. Они были очень довольны, — Мансур сделал паузу, почесал за ухом, как будто немного смутившись. — Тогда я первый раз позволил себя купить, — он покосился на меня, наблюдая за реакцией. — Не дешево проданся!

— Тебя мы тоже защитим, не бойся! — бросил Муса. Мы все рассмеялись.

Мансур тогда был командиром взвода в отряде Алмана. Умел стрелять, знал военную службу, но войну до этого видел только в кино.

Не было у них времени ни на обучение, ни на раздумья. Ни на колебания.

— Когда каждую минуту приходится бороться за жизнь, быстро учишься, как выжить. Большинство наших погибло как раз в начале вой- 53 ны, не успев научиться жить... как убивать, чтобы жить. Бывали моменты, когда я думал, что это уже конец, что я уже не выберусь. И иногда хотел, чтоб так и было, тогда не пришлось бы все это без конца

переживать заново.

Два месяца россияне бомбили Грозный. Из пушек, танков, самолетов, вертолетов. Мансур, Муса и Омар прятались по подвалам, но им приходилось выходить на поверхность, чтобы преградить россиянам дорогу в город. Все вокруг полыхало, дома валялись на их глазах. Несмотря на зиму, на улицах было жарко от пожаров. А грохот стоял такой, что из ушей текла кровь.

— Иногда я сам удивляюсь: а правда ли это был я? Действительно ли, я все это пережил? Вон там, под вокзалом, — Мансур показал пальцем в сторону вокзала, все равно неразличимого в темноте. — Россияне пробивались в центр города танковыми колоннами. Мы их пропустили, чтобы отрезать дорогу, окружить, уничтожить. Возле вокзала мы взорвали танк их командира, и вся колонна рассыпалась. Для нас, знающих город, подобраться к танку и уничтожить его было несложно. А они живьем попали в пекло. Метались на своих танках, как слепые котята. Они понятия не имели, где находятся, не видели нас в свои перископы, а мы целились в них с крыш и верхних этажей. Один удирал от нас часа два, пока его, в конце концов, не подожгли несколько сопляков. У меня до сих пор перед глазами те солдаты. Выползали из горящих танков и бронемашин, прятались за броней. Стреляли вслепую в воздух, пока не кончались патроны. Выли, проклинали, рыдали, кричали «мама!» Мы патронов даром не тратили. Жаль мне их было, но война есть война. Много российских танков попало тогда в наши руки. На ходу, совсем не пострадавшие. Мы их перекрасили в белый цвет, чтобы наши снайперы по ним не стреляли.

В исламе белый — цвет траура.

После Нового года площадь перед дворцом была так завалена сгоревшими танками и бронемашинами, что невозможно было пройти. Везде валялись горы российских трупов.

— Не знаю, сколько их могло быть, тысячи! За несколько дней мы перестреляли в Грозном целую российскую армию. Мы им говорили, чтобы они забрали свои трупы, а то собаки шныряют по улицам и жрут их. Попробовали человеческого мяса, и уже не убегали, поджав хвосты, на людей смотрели, как на охотничью дичь. Нам их потом пришлось отстреливать, чтобы они целыми стаями не нападали на прохожих.

Девятнадцатого января девяносто пятого года чеченцы приняли решение прекратить защиту президентского дворца. После трех недель непрерывных бомбардировок он был так разрушен, что пребывание в нем грозило смертью. Тяжелые бомбы, предназначенные для разрушения бетонных бункеров и взлетных полос аэродромов, выпотрошили изнутри многоэтажное здание, от которого остался только опаленный и посеченный остов. Бомбы пролетали сквозь этажи, как брошенные сверху камни и взрывались все глубже и глубже, в укрытых под землей подвалах. Защищать было уже нечего.

— Ночью наш командир, Алман, был вызван на совещание во дворец. Вернулся и сказал, что мы отступаем.

Стемнело, лицо Мансура выхватывали из мрака фары проезжающих машин.

— Сказал еще, что президент просил не беспокоиться, потому что его дворец, это только дом, такой же, как другие, только немного повыше. И что в Чечне каждая халупа — дворец президента.

Омар дремал рядом с водителем. Задумчивый Муса что-то напевал себе под нос, не обращая ни на кого внимания.

Лабиринты руин закончились в предместьях, а в лунном свете вырос неожиданно над городом скелет выжженного многоэтажного здания.

— Нефтеперерабатывающий завод, я там работал, — кивнул головой Мансур.

У Мансура были грандиозные планы. Он мечтал стать известным инженером-геологом, искать на Кавказе нефть, писать научные труды, ездить на международные конференции. На Кавказе нефть принесла состояние тысячам смельчаков, отважных и удачливых. Мансур считал, что у него тоже должно получиться. Хотел стать кем-то, мечтал о жизни не только зажиточной и достойной, но и интересной, можно сказать — на мировом уровне.

После войны он уехал из Чечни. Теперь думал только об одном — как вывезти отсюда

семью. Из-за этого, собственно, и вернулся. Предчувствовал надвигающуюся новую катастрофу. Знал, что страшная война возвращается, что она вот-вот начнется. Знал, что если останется, если не удастся уговорить семью бежать, ему снова придется воевать. А уверенности, готов ли он еще раз померяться силами с кошмаром, не было. При одной только мысли об этом, его охватывал ужас. Не признавался в этом ни перед Омаром, ни перед Мусой. Но когда мы бывали одни, он не стыдился своих сомнений и опасений.

После бомбардировок захваченный город был отдан на откуп солдатам-контрактникам. Они гарцевали по улицам на гусеничных машинах, сминая стоящие на пути киоски и автомобили. Были хозяевами жизни и смерти. Каждый взрослый житель города мог в любую минуту быть брошен в подполье, где его ждали пытки, унижения, а нередко и смерть.

— Во время войны за выдачу тел наших солдат русские требовали выкуп. Потом люди сами стали торговать живыми. На живых можно больше заработать.

Только после апокалипсиса город стал соответствовать названию, столетия назад данному ему русскими завоевателями и поселенцами. Сама крепость называлась «Грозная», город — «Грозный», то есть, страшный, ужасающий. Город бесправия и жестокого насилия. Город без учреждений, судов и милиции, где ничего абсолютно не работает, а его жители предоставлены только самим себе. Сами добывают еду, сами, с автоматами в руках, заботятся о безопасности и добиваются справедливости. Город, который видел столько жестокости, что в нем уже нет места сочувствию. Город с печатью смерти, где человеческая жизнь лишена какой бы то ни было мистики, свелась к категории товара.

Война висела в воздухе, отражалась в беспокойных лицах жителей города, в их нервных, резких жестах и движениях. Вот уже несколько дней приезжие рассказывали на столичных базарах, что крестьяне в горах стали распродавать стада, что всегда было безошибочным знаком приближающейся войны.

Российские войска без предупреждения пересекли границу Чечни и медленно продвигаются на юг, в сторону гор, занимая очередные станицы, дороги, мосты и высоты. Об этом говорил по телевидению премьер России Владимир Путин. «Естественно, что наши войска стоят в Чечне. А что в этом странного? Мы в своей стране. Неважно, находятся ли наши солдаты километром ближе, километром дальше. Чечня является частью России, нас не делят никакие границы, которые приходилось бы нарушать».

Но люди давно научились не верить телевидению.

Российских солдат видели под Бамутом, а их танки, бронемшины и артиллерия, говорят, стоят уже на берегу Терека, ждут очередных приказов. Все гадали, что они сделают дальше. Марш на юг казался столь же самоубийственным, как отступление на север. А может — думали чеченцы — россияне окопаются в горах над Терекком и проложат там новую границу? Заберут себе равнинные степи, это будет плата за свободу, а горные ущелья отдадут чеченцам, чтобы жили себе там, как хотят, только бы им не мешали.

Это отсутствие информации, свежая еще память о кошмаре недавно только закончившейся войны и страх совершить что-то непоправимое привели к тому, что пока что дело нигде не доходило до боев. Горожане, хоть и предчувствовали худшее, гнали от себя дурные мысли и сами себя уговаривали, что все как-нибудь обойдется, что должно же найтись какое-то решение.

Я был спокоен, доволен собой, уверен, что получится все, что я запланировал.

Большая война напознала как огромная черная грозная туча, а я успел до первых капель дождя. Пересек границу прежде, чем с началом войны ее перекрыли наглухо.

Я оказался в отличном месте, чтобы все рассмотреть с близкого расстояния. Почти на самой сцене. И в нужное время — прямо перед началом драмы. У меня был проводник, переводчик и опекун — Мансур и его команда. За оговоренную заранее плату они взялись не только охранять меня, но везде и ко всем водить, все облегчать, преодолевать преграды.

В Чечне, которую в течение одного дня можно проехать вдоль и поперек, кажется, все друг другу родственники, или, по крайней мере, знакомые. Только благодаря узам крови и дружбы здесь удавалось как-то выживать. Сегодня ты мне, завтра я тебе. На Кавказе горцы,

чтобы произвести впечатление на посторонних или превзойти соседей, обычно хвастают своими связями и влиянием. Мансур же соблюдал в этом умеренность, что вызывало доверие, а мне давало надежду.

Казалось, ничто уже не сможет помешать мне стать очевидцем истории, самому окунуться в нее, вместо того, чтобы узнавать обо всем только из чужих рассказов. Ведь это мое свидетельство и мой рассказ будут правдивыми. Самыми правдивыми.

В этом-то и было все дело. Быть как можно ближе, увидеть, что там, за поворотом, самому дотронуться, проверить, как оно есть на самом деле. Не затем, чтобы что-то пережить, с чем-то померяться силами, а просто испытать на собственном опыте, вжиться в роль, в чужую роль. А потом пропустить это через свое сознание. Как показать кошмар, если сам его не пережил? А страх? Триумф? Как описать тупик, если ты не видел его даже издалека?

Я нередко задаю себе вопрос, насколько ценен хороший рассказ, стоит ли ради него подвергаться опасности, рисковать жизнью, платить за него волнением близких.

Но, честно говоря, дело вовсе не в рассказе, а в правдивости и честности того, что ты делаешь. А это не поддается никаким расчетам. Порядочность по отношению к себе, по отношению к тем, кому ты будешь рассказывать, и может, прежде всего, по отношению к тем, о ком пойдет рассказ. Рассказ несерьезный, поверхностный, кое какой, выдает недооценку других и полное, презрительное безразличие, жалкое отсутствие уважения к самому себе, к своему делу, к собственной жизни.

Рассказ как далекая вершина, взбираться на нее вдохновляет уже само ее существование.

Если главная цель — правдивое описание происходящего, ее достижению необходимо посвятить практически все. Не считаясь ни с чем и ни с кем, броситься в самый центр событий, стихий, военных катаклизмов, исследовать их, пробовать на ощупь, жадно поглощать, и возвращаться только тогда, когда, насытившись ими и детально познав, ты готов написать хороший рассказ.

Но есть еще ответственность за других людей. Обязательства и ограничения, являющиеся результатом предыдущих решений и поступков. Сама мысль о последствиях удерживает тебя от действий, останавливает на ходу. Принуждает к компромиссу, к отказу.

Еще остаются вечные сомнения и колебания: будет ли твой отказ, своего рода жертва с твоей стороны, замечен и оценен, изменит ли он что-нибудь, исправит ли. Стоило ли? И какой ценой? Не рассказывать, а отказаться от рассказа.

Те, кто испытывает ответственность перед другими людьми, зачастую добровольно все бросают и никогда не познают радостного восторга, который всегда несет с собой привилегия прикосновения к правде.

Те же, кто не связан никакой ответственностью за кого-то, обычно страдают от одиночества.

Штаб чеченского президента размещался в многоэтажном здании в разрушенном центре города; будучи единственным отремонтированным домом в округе, он резко с ней контрастировал. На развалинах, среди руин и пожарниц больше всего была в глаза гладь выбеленных стен и тщательно выметенная улица перед домом, перегороженная пополам бетонными блоками.

Перед штабом все время что-то происходило. Выбегали и вбегали посыльные и часовые, поднимая облака пыли, подъезжала на машинах охрана важных командиров и министров. Из машин выскакивали бородатые, длинноволосые солдаты в живописных шляпах и платках, увешанные автоматами и гранатами. Окружали важнейшую из машин, готовые собственным телом прервать полет пули, прочесывали взглядом крыши и переулки в поисках возможных террористов и похитителей. После короткого, нервного ожидания, расступались, давая дорогу своему начальнику или командиру, за которого они были обязаны без колебаний отдать жизнь, так же как исполнять любые его приказы.

Не похоже было, чтобы солдаты и командиры, да и простые горожане, были напуганы

вестью о приближающейся войне. Солдаты производили впечатление закаленных в боях ветеранов, а гражданские готовились к войне как к чему-то неизбежному, но не обязательно катастрофическому. Так крестьянин готовится даже к самой суровой зиме, зная, что просто вынужден ее пережить.

Однако тут явно недоставало чего-то безымянного, мимолетного, но такого осязаемого — чувства единства и силы перед лицом смертельной угрозы. Это особенно бросалось в глаза тем, кто помнил начало первой войны.

Естественно, президент Масхадов объявил мобилизацию, в город ежедневно тянулись с гор новые отряды добровольцев, но не было во всем этом веры в победу, страсти, уверенности в себе. Создавалось впечатление, что чеченские руководители даже не пытались повлиять на ситуацию, они скорее ждали, чтобы россияне сами определились, сделали выбор, приняли какое-то решение.

Россияне и чеченцы напоминали сейчас двух готовящихся к новой схватке боксеров, которые провели уже много поединков и знают друг о друге все. А зная друг друга, зная все козыри и недостатки, ожидают первого движения соперника, чтобы именно он принял на себя смертельный риск первого удара.

Осман, хозяин маленького кафе на проспекте Автурханова, где мы просиживали, убивая время, каждый вечер слушал транзисторное радио, чтобы узнать, какие у России планы. Осман считал, что до войны вообще дело не дойдет, а если и дойдет, то закончится она поражением России. Никому в голову не приходило, что чеченские воины могут позволить россиянам безнаказанно захватывать их страну шаг за шагом. Атака на Грозный, утверждал Осман, означает неизбежность уличных боев, в которых вооруженные автоматами и гранатометами партизаны будут недосыгаемы для российских танков, зато сами станут смертельно грозным противником. Впрочем, говорил Осман, новый российский премьер не так глуп, как говорят, потому что вчера вечером снова сказал, что его войска будут избегать столкновений с чеченцами.

Столь же нетерпеливым и уверенным в себе был Апти Баталов, глава президентской администрации, в кабинете которого я не раз сиживал, ожидая аудиенции Аслана Масхадова. «Пусть уже, наконец, нападут, пусть уже все выяснится. Подождем в городе и устроим им тут кровавую баню», — повторял он, источая специфический чиновничий оптимизм.

Из окон президентской администрации даже в пасмурную погоду видны были горы, которые отделяли город от удаленной примерно на двадцать километров реки Терек. Россияне уже стояли над Терекком, а теперь их танки карабкались на окружающие город холмы. С их верхушек они могли уже спокойно обстреливать город.

Кабинет Баталова был огромный. Заставленный тяжелой, мрачной мебелью, он тонул в пыли и запахе старости. Понурую атмосферу канцелярии усугублял вечный полумрак, в котором, вероятно, любил пребывать Баталов. Темные шторы гнали из кабинета светлые, теплые лучи осеннего солнца.

Баталов, лысоватый, довольно плотный мужчина средних лет, без конца крутился возле телефона. Он уже несколько дней не мог связаться с Москвой, с Кремлем. Телефон Волошина, главы Администрации Президента России молчал, или трубку поднимала одна из секретарш, объясняя, что шефа нет, что она не знает, когда он будет, что она все ему передаст. Без ответа оставались отправленные по факсу заявления и предложения урегулировать конфликт, сочиняемые Асланом Масхадовым, который в своем стремлении избежать войны с Россией отмежевывался от дагестанской авантюры Шамиля Басаева и пытался добиться встречи или хотя бы телефонного разговора с Президентом Российской Федерации.

Болезненно чувствительный во всем, что касалось чести и достоинства, он боялся ехать в далекую Москву без приглашения, без уверенности, что будет там встречен и принят с надлежащим уважением. Многие уговаривали его сделать это, умоляли, чтобы он перестал думать о себе, чтобы спасал страну от войны. Масхадов, однако, продолжал ждать приглашения из Москвы, не хотел допускать даже намека на то, что он испугался и готов

бить России верноподданнические поклоны. Его соотечественники, как он считал, никогда бы ему этого не простили.

Российское молчание все больше беспокоило Апти Баталова. Оно напоминало ему историю пятилетней давности, когда российские войска тоже шли маршем на Грозный, а чеченский президент, Джохар Дудаев, не мог допроситься аудиенции Ельцина. Тогда тоже невозможно было дозвониться до Кремля, что-то определить, что-то выяснить. Войну предотвратить не удалось.

Накануне в российских теленовостях показали очередное выступление Премьер-министра Путина, который явно перехватывал у Ельцина кремлевский жезл. Старый Президент все чаще хвалил его за смелость и решительность, ему нравилось, что молодой Премьер-министр для достижения цели не остановится ни перед чем. Теперь Путин обвинял чеченцев и Масхадова в укрывании террористов, которые взрывали бомбы на территории России. Требовал их выдачи и добавлял: «может, тогда мы выведем войска из Чечни и вызовем Масхадова в Москву».

— Но ведь я вчера именно по этому поводу слал факсы в Москву, — от злости Баталов побагровел. — Мы заявили, что готовы впустить в Чечню зарубежных наблюдателей, из ООН, из Европы, из Америки, да хоть из Африки, чтобы они приехали и убедились, что у нас нет никаких террористов. По-моему, это честная постановка вопроса. Почему он об этом не сказал ни слова?

Баталов жаловался, что он покой потерял от мрачных мыслей. Известное дело, в балагане, царящем в Кремле, какая-нибудь секретарша могла затерять присланные из Грозного отчаянные послания Масхадова, могли они затесаться где-то среди других бумаг. Понятно также, что кремлевским чиновником, поглощенным вопросом преемника Ельцина, было не до кавказских проблем. А что если, — а такие мнения тоже 59 имели место, — война в Чечне является не результатом междоусобицы или чьего-то недосмотра, а результатом интриги, тщательно запланированной и реализуемой с холодной, железной последовательностью, интриги, ставкой в которой был Кремль? Если, упаси Боже, это так, тогда ничто, ничто на свете не спасет чеченцев от нового катаклизма.

Избавлением от нервных причитаний Баталова, темноты и пыли его канцелярии стал пронзительный, заставивший всех вскочить, звонок красного телефона на столе. На этот номер мог звонить только сам президент Масхадов из кабинета, находящегося тут же, за стеной. Баталов вытянулся за столом по стойке смирно, одернул помятую тужурку полевого мундира и дал рукой знак.

— Президент приглашает, — торжественно объявил он, провожая меня до огромных, обитых искусственной кожей дверей.

Он был прирожденным солдатом, совершенным, образцовым во всех отношениях. Даже россияне, когда-то друзья, приятели и товарищи по оружию, ставшие потом его заклятыми врагами, признавали, что таких офицеров, как чеченец Аслан Масхадов было в российской армии не больше полудюжины. Добрые старые времена, самые, может быть, счастливые дни его жизни. Прошло всего десять лет. Как одна минута, и в то же время — целая эпоха.

Солдатом он стал по воле отца и старейшины гордого племени алироев, много лет назад заселявшего ущелья кавказских гор. В завоеванной россиянами Чечне алирои были самыми непокорными. Чтобы держать их всегда в поле зрения, Кремль приказал переселить все племя с Кавказа на равнины на берегах Терека. Они расстались со своими аулами, но не расстались с сильнейшей от всего остального преданностью оружию, войне и рыцарскому кодексу чести.

Солдатская профессия всегда пользовалась уважением у всех кавказских народов. Солдат уважали, ими восторгались, к ним прислушивались, избирали на самые высокие посты. Генералам здесь не было необходимости совершать вооруженные перевороты для захвата власти. Люди сами им ее отдавали, особенно в трудные времена. Народ считал, что военные, в их глазах — почти аристократия, не только лучше всех обеспечат им безопасную

жизнь, но у них хватит разума и силы духа, чтобы править справедливо, избегать искушений, которые неминуемо несет с собой власть. Поэтому чеченцы выбрали себе в президенты сначала летчика, генерала Джохара Дудаева, а после него полковника артиллерии Масхадова, ингуши — генерала Аушева, карачаевцы — генерала Семенова. О генерале-космонавте Толбоеве тоже намекали, что он мог бы стать президентом Дагестана, если бы тамошним горцам приказали или разрешили выбирать себе президента. Лезгины и балкарцы, мечтая о собственных государствах, видели во главе их генералов Мугутдина Кахриманова и Суфьяна Беппаева.

Для покоренных россиянами народов Кавказа служба в имперской армии и бюрократическом аппарате была, чаще всего, единственным способом продвижения, карьеры, прорыва в большой мир. Но для вечных бунтарей чеченцев и этот путь был обычно недоступен. Кремль не доверял им и неохотно впускал на вершины пирамиды власти. Поэтому, будучи прирожденными солдатами, немногие дослужились в российской армии до генеральских лампасов. По иронии судьбы, генералом все-таки стал Дудаев, и именно он позднее возглавил чеченское восстание.

Масхадову же, этому идеальному солдату, которому воинская служба заполняла всю жизнь, не оставляя места не только на политику, но и вообще ни на что другое, солдату преданному, дисциплинированному, готовому выполнить любой приказ, генеральские погоны — его самая заветная мечта — не светили. В генералы его произвел только Дудаев, предводитель чеченского восстания. Но это все-таки было не совсем то.

По мнению его старого приятеля, полковника Василия Завадского, если кто-то в российской армии и заслуживал этого звания, так это Масхадов. Но он был чересчур безупречен, его идеальность колола глаза начальства и коллег. Не от мира сего человек, не из наших дней. Он скорее напоминал книжных героев, офицеров армий Александра и Бонапарта, а может и рыцарей Камелота. Он даже ругаться себе не позволял.

Уже во время учебы в военных академиях в Тбилиси и Ленинграде его называли странным, фанатиком. Аслан не участвовал в вечеринках, не развлекался. Не ходил ни на рыбалки, ни в театры, ни в компании. Вообще ничем не интересовался, ничем не занимался, кроме учебы и военной службы. Без конца только учился и учился. Читал только книги о великих полководцах, знаменитых битвах, или тактике действий артиллерии, теории ведения артиллерийского боя.

Он всегда был на службе. Другие солдатами становились, он им родился, армия была его жизнью, а его средой обитания — приказы, парадные мундиры, запах оружия, изнуряющие маневры, учения и походы. Каждая доверенная ему часть, будь то на реке Уссури, в венгерском Сегеде или в Вильнюсе, вскоре становилась лучшей в полку, дивизии, армии. И так было до самого конца.

— Когда Грачев был назначен командиром дивизии, в какой-то из газет напечатали фотографию, как он во время утренней зарядки бегает вместе с солдатами, — вспоминал Масхадов осенью девяносто девятого во время нашей предпоследней, а в его президентском кабинете в Грозном последней встречи. Он постоянно возвращался к тем старым делам, не в силах покончить с прошлым, таким, казалось бы, неважным по сравнению с сегодняшним днем. Российские войска уже подходили к городу. На севере они стояли на Тереке, а танковые колонны постепенно подходили с запада и востока, замыкая кольцо окружения. На улице перед президентским дворцом с рассвета собирались обвешанные оружием бородатые боевики. — У меня все так бегали — солдаты, сержанты, командиры. И я вместе с ними.

В декабре девяносто четвертого генерал Павел Грачев, уже став Министром обороны Российской Федерации, отдал своим войскам приказ идти на Чечню. Кремлевским начальникам пообещал покорить Кавказ в течение нескольких дней. После двух лет кровопролитной войны разбитые и опозоренные российские войска получили новый приказ — отступать. Их победителями стали кавказские горцы под командованием полковника Масхадова.

Когда его полк выходил на полевые учения, Масхадов собирал совещание, как будто

готовился к важнейшей из войн. Солдаты могли стоять на плацу два, три, четыре часа, полдня, если чего-то не хватало, если что-то было не так. Проверялось наличие всего необходимого — маскировочных сеток, котелков, саперных лопаток, полевых душей. Чего не хватало, он приказывал изготовить своими силами, но обязательно в размерах и цветах, предписанных армейским регламентом.

Полковник Завадский вспоминал в интервью одной из российских газет о передислокации полка на зимний полигон в Литве. Во время смотра оказалось, что нет белых брезентовых чехлов на автоматы, делающих их незаметными для противника. «На Балтике снег в феврале бывает редко. Аслан отдал приказ «разойдись!», вызвал меня и резко бросил: Где брезент? Я пробовал его успокоить. Где ты видишь снег? — спрашиваю. А он в ответ: А какой у нас месяц? Ну, февраль. А какое время года? Ну, зима. Значит надо вести себя так, как положено зимой. Сшили мы, в конце концов, эти чехлы из старых простыней. У Аслана все должно было быть по уставу. Страшный педант».

Им восхищались, ему завидовали. Не только талантам, но и тому, что всем достигнутым, он был обязан только себе, а не влиятельным родственникам или друзьям в верховном командовании. Каждое подразделение, которое ему поручали, в короткое время становилось лучшим, образцовым со всех точек зрения. Его солдаты проводили время на полигонах, спортивных площадках, в гимнастических залах. Солдаты из других отрядов после службы бездельничали или искали возможность выпить. А у солдат Масхадова даже свободное от учений время было заполнено бесконечными экзаменами, соревнованиями, беседами. Масхадов сам, на равных правах с солдатами, участвовал во всех конкурсах. Заставлял это делать и своих офицеров. Каждого солдата постоянно оценивали, хвалили за успехи, ругали за их отсутствие.

Казалось, у него не было недостатков. И за этого его не любили. Командиры других отрядов, которые постоянно проигрывали ему в различных конкурсах, оценках уровня подготовки, которые во всем ему уступали, не терпели его за это рвение, за то, что он постоянно повышал планку, вынуждал их делать лишние усилия.

Кляли его, на чем свет стоит, и собственные солдаты. Избавленные от убийственного в армии безделья, ощущения заброшенности и полной ненужности, они задыхались от его постоянной опеки, постоянного присутствия, постоянного контроля. Боялись строгих наказаний, которые на них сыпались не только за неподчинение, но даже за малейшую небрежность.

Возможно, именно это, бьющее в глаза, совершенство и отсутствие протекции, были причиной того, что он так и не достиг своего предназначения.

Однако тогда, в Венгрии, он чувствовал себя властелином мира, жизнь казалась прекрасной. Служба в одном из вассальных государств Советского Союза была наиболее престижной с точки зрения карьеры, да и просто приятной в смысле условий. Восточная Германия, Чехословакия или Венгрия — это вам не понурый гарнизон на Волге или Балтике. Там было тепло, богато, чувствовалось пространство.

Ему прочили блестящую карьеру. Даже когда из Москвы пришел приказ о переводе из венгерского Сегеда в Литву. Поедешь на какое-то время домой — предсказывали ему — только затем, чтобы вернуться в Венгрию, кто знает, может уже в качестве командующего артиллерией Южной группы войск.

Но в Венгрию он уже не вернулся. Не успел. Счастье, которое ему до сих пор до неприличия сопутствовало, отвернулось от него, как будто устыдившись. Покинуло оно и Советский Союз, который чеченец Масхадов привык считать своей страной. Тогда он еще не предполагал, что это только начало смуты, а он и его ровесники станут потерянными поколением сорокалетних, пришедших в мир слишком поздно, чтобы подняться в жизни на самый верх, и слишком рано, чтобы, не имея, что терять, просто стать героями.

Литва объявила независимость, а находящиеся на ее территории российские войска оказались за рубежом. Как это случилось раньше в Венгрии, Польше, Германии. Никому они там теперь не были нужны, никто их не боялся, никто ничего даром не давал. Со всех сторон

шли требования как можно скорее покинуть страну. Из Европы потянулись на Восток целые составы эвакуированных российских гарнизонов, которые разворачивались и распродавались по пути собственным командованием. Мощная, непобедимая российская армия возвращалась в страну в нищете и унижении. Дома ее никто не ждал, не приветствовал, не морочил себе голову проблемами солдат — что с ними будет, чем займутся.

Вильнюсскую дивизию Масхадова расформировали, а полк самоходных орудий, которым он командовал, перевели куда-то на болота под Ленинградом, теперь снова ставшим Санкт-Петербургом. Масхадовские артиллеристы вместе с семьями вынуждены были из теплых, удобных казарм в Вильнюсе переселиться в брезентовые палатки, разбитые где-то в лесной пустоши.

Масхадов, избранный председателем офицерского собрания, несмотря на трудности и тотальный балаган, как всегда требовал ото всех, и от себя в первую очередь, безупречности во всем. Его бесконечные вопросы и постоянные требования вызывали только раздражение начальства, беспомощного, слишком поглощенного своими собственными проблемами, своей судьбой, чтобы заниматься чем-то еще.

Во времена, когда правило бесчестие, совершенство и рыцарство Масхадова, всегда так раздражавшие коллег, стали невыносимыми. Неожиданно блестящая карьера чеченского полковника, для которого не существовало ничего, кроме совершенствования военного ремесла, была поставлена под вопрос. Начались претензии в отсутствие то одного, то другого, нарекания, вмешательство во все его дела.

Наконец, на одном из совещаний произошло то, что должно было произойти. Оскорбленный Масхадов подал рапорт об отставке. Он, вероятно, не верил, что армия не встанет на его сторону, что так вот просто избавится от него; в конце концов, ему не доставало одного только ордена до звания Героя Советского Союза. Обычно дела об отставке тянулись целыми месяцами. В случае Масхадова армейская бюрократия проявила, однако, исключительную расторопность. Ответ пришел через три недели: переведен в запас. На прощальный прием, который дало в его честь начальство, Масхадов не пришел.

Через несколько лет, когда он присоединился к чеченским повстанцам и стал шефом их штаба, кремлевские чиновники, желая очернить его, приписывали ему участие в подавлении бунта литовцев, вышедших в январе девяносто первого на улицы Вильнюса, чтобы еще раз потребовать независимости. В Москве распускали слухи, что Масхадов приказал своим артиллеристам стрелять в демонстрантов, собравшихся перед телебашней в Вильнюсе.

Масхадов, образцовый солдат, наверняка без колебаний выполнил бы каждый приказ, бывший для него всегда величайшей святостью. А как великолепный канонир разнес бы телебашню в щепки одним выстрелом. В действительности же полку Масхадова было тогда приказано охранять российский гарнизон в случае атаки бунтовщиков.

Его мир рухнул. Конец армии, жизни по уставу, по приказу. Конец мечтам о генеральских эполетах, которые достанутся теперь другим. А ему было уже сорок лет. Только сорок. Он еще был не слишком стар, чтобы перестать мечтать.

Каждый раз, когда я заговаривал с ним об армии и российских генералах, он не выдерживал и взрывался: Какие там они генералы! стыдно смотреть на эти пропитые, небритые морды! — с презрением и горечью выкрикивал он. — А это их славянство! Эта бессмысленная болтовня, пересыпаемая ужасными ругательствами! Недоученные, невоспитанные, жадные. И это командующие? Это великая армия? Когда-то было высочайшей честью стать российским генералом. А сегодня? О чем тут говорить?!

Масхадов решил вернуться в Чечню, хоть немного его с этой землей связывало, кроме сознания того, что он чеченец. Возвращался он в эту почти неизвестную ему Чечню еще и потому, что над ней нависла смертельная опасность. Он это чувствовал. Генерал Дудаев, которого Масхадов однажды встретил на полигоне в Тарту, провозгласил независимость Чеченской республики.

Масхадов возвращался на Кавказ с тяжелым сердцем. «Василий Иванович, — писал он

в письме Завадскому, — не понимаю, что происходит. Россияне выводят армию из Чечни, но оставляют целые арсеналы на разграбление. Все разворовывается: автоматы, пушки, танки. Дудаев кричит на весь мир, что это конец оккупации, что это свобода. Но я вижу только эти горы оружия, оставленные как будто специально затем, чтобы люди сами начали убивать друг друга».

Масхадов продал удобную квартиру в Вильнюсе, отправил семью в Грозный. Хотел построить себе дом с садом в пригороде. Писал Завадскому, что, как отец, на старости лет хочет заняться землей, отрешиться от всего, что было связано с прошлой жизнью.

«Друг мой, извини, но я сомневаюсь, чтоб у тебя это получилось, — отвечал ему Завадский. — Ты создан совсем для другого. Ты — солдат».

В Вильнюсе на прощальной встрече с товарищами по оружию, последний тост выпили за то, чтобы, если им доведется служить в разных, может даже вражеских армиях, им никогда не пришлось воевать друг с другом.

Война, которую все ожидали, в конце концов, грянула. И как всегда потрясла своей жестокостью и варварством. Грачев бахвалился, что ему хватит пару танков и несколько дней, чтобы раздавить чеченских бунтарей в их гнезде, Грозном. Российская атака, однако, увязла в закоулках города, вскоре превратившегося в кошмарное кладбище руин.

Накануне нового, девяносто пятого года, в разгар пьяного застолья Грачев отдал приказ, чтобы на штурм непокорного города бросили даже тыловые части. Российские полки, окруженные и выбитые до последнего солдата в городских переулках, стали кровавой гекатомбой, ненужной жертвой, брошенной на алтарь войны. Это была первая столь крупная экспедиция российской армии после неудачного нападения на Афганистан и первая битва в городе, в которую красноармейцы вступили со времен кровавого подавления венгерского восстания в Будапеште.

«С тех пор, как мы расстались в Вильнюсе, я потерял связь с Масхадовым. Знал, что его не интересует политика, но в Чечне началась война, я за него переживал, — вспоминает полковник Завадский. — Пока как-то не увидел по телевидению, как по заснеженным руинам Грозного проскальзывают чеченские партизаны, одетые в белые маскхалаты. Тогда меня осенило! Я вспомнил наши совместные походы на зимние полигоны в Литве. Аслан! — подумал я. — Это должен быть он. Наверняка, это он ими командует!»

Масхадов, укрывшись от града бомб в подвалах президентского дворца, действительно командовал обороной города. Сдал город только после двух месяцев уличных боев, когда дальнейшая оборона с точки зрения военной эффективности стала абсурдом. Он приказал своим войскам отойти в безопасные кавказские ущелья, а безлюдные руины города отдал россиянам.

Хотя он уже был тогда главнокомандующим армии чеченских партизан и широко народного ополчения, армии, ведущей войну с завоевателем, а значит, войну справедливую, Масхадов не мог избавиться от терзающих его душу сомнений. Никогда, ни до, ни после этих дней, этот почти идеальный солдат не был так близок к отказу исполнять приказ. Может показаться странным, что именно его охватили сомнения, да еще в ходе войны, то есть в наиболее неподходящий для солдата момент для раздумий, когда любое неповиновение равнозначно измене. Но Масхадов не хотел войны. И был в этом абсолютно одинок. «Дудаев обуревали эмоции, он упивался ими. Я же всегда считал, что мы не должны допускать и мысли о войне», — признался он через несколько лет. Его страшили последствия, жертвы, руины, пепелища.

«Битва за Грозный уже шла полным ходом, а я еще и тогда был готов не подчиниться Дудаеву, прервать войну. При условии, что российские генералы тоже будут готовы покончить с этим безумием, что во имя чести и чисто человеческой порядочности найдут в себе смелость сказать «нет» своему политическому руководству, — вспоминает Масхадов. — Тогда еще я верил, что нам, генералам, удастся то, на что не были способны гражданские политики. Я смотрел на российских офицеров, вспоминал их имена. Для меня они все еще были моими

товарищами».

В письме, переданном Завадскому из осажденного города, Масхадов писал:

«Василий Иванович! С первого дня штурма Грозного я звонил Бабичеву, Рохлину, Куликову, Квашнину. Призывал их: давайте остановим войну. Вопреки политикам. Я был готов на все. Но российские генералы думали только об орденах, наградах, повышениях, пенсиях, служебных квартирах. А сколько раз я предлагал им перемирие! Говорил: заберите хотя бы своих убитых, одичавшие собаки начинают их пожирать. Не поверишь, дорогой друг, но Бабичев, вместо того, чтобы поблагодарить, сказал, что согласится на перемирие, если я сдамся и вывешу белый флаг над президентским дворцом. Что я ему ответил? Не стоит повторять такие слова.

Василий Иванович! Если бы ты только видел этот цыганский табор, эти жалкие армейские колонны. Один грузовик тащит на буксире два других, потому что они сломаны, или солдаты продали бензин на водку. Ничего по-настоящему не работает. А солдаты! Грязные, обросшие, стоят на постах и выпрашивают кусок хлеба. Шастают по деревьям, воруют кур, гусей, ковры, прячут потом все в лесах, чтобы награбленного не отобрали сослуживцы. Ночами от страха стреляют друг в друга, дезертируют целыми взводами. Я не узнаю эту армию! Трудно поверить в этот разгул торгашества. Тут можешь достать все, что хочешь, были бы деньги. Продадут тебе танк и даже пошлют на верную смерть собственных солдат. Кроме денег российских генералов ничего не интересует.

Офицерская честь? Шутить изволите! Боже, если бы ты только видел эту армию! Помнишь? Когда наши войска отправили в Афганистан, солдаты, по крайней мере, знали, зачем они туда идут. Другое дело, правду они знали, или нет. А этих молокососов погнали в Чечню, как скотину. Даже не сказали им, куда и зачем их гонят! В теплушках, напуганных, везде балаган и хаос, тыловые колонны вместе с ударными частями, как попало. Эх, если бы ты только видел их! Как они выглядели! Не поймешь, то ли армия, то ли разбойники. Заросшие, нестриженные, одеты все по-разному. Вечно грязные и голодные. Когда-то солдат имел право и обязанность идти на смерть чистым. Перед каждым боем армия стриглась, брилась. А теперь? Достаточно посмотреть на этого Рохлина! Генерал, а сидит небритый, в каком-то растянутом свитере. И это должен быть пример для солдат?

Ведь в Афганистане солдаты каждый день получали колбасу. Мылись, сами делали себе походные бани. Невелика философия! А в Чечне армия Грачева питается помоями, а ее саму жрут вши. А ведь Чечня — это не Афганистан, тут не пустыня и не безлюдье, где трудно найти колодец. Тут есть и автомобильные, и железные дороги. Иногда мне кажется, что командование специально не кормит войска, не организует им мытье, чтобы было легче превратить их в варваров, готовых на любое преступление. Поверишь ли, Василий Иванович, они требуют им платить за каждый выданный труп, за каждого пленника?! Их полевые тюрьмы превратились в торги невольниками.

Когда эта страшная, одичавшая российская армия напала на мою страну, уничтожая все на своем пути, как ужасная мор, сам понимаешь, у меня не было другого выхода, как только с горсткой смельчаков оказать ей сопротивление. Я обязан был выполнить свой долг солдата. Я знаю, что ты меня понимаешь».

Беседы с Масхадовым были каторгой. Застарелая болезнь горла вынуждала его поминутно откашливаться, делать паузы, терять нить разговора. Он как огня избегал митингов и выступлений, они прямо-таки нагоняли на него ужас.

Говорил он с каким-то внутренним сопротивлением, неохотно, подозрительно. Невозможно было вытащить из него какой-то военный анекдот, фронтовую историю. Он предпочитал пользоваться избитыми, банальными и патетическими фразами.

Невысокий, крепко сложенный и подвижный, он так никогда и не избавился от манер командира-службиста, целиком поглощенного вопросами устава, дисциплины, боевой

готовности, привыкшего к жизни от сих до сих, к рапортам и приказам. Они никогда не позволял себе в беседе откровений, личных размышлений.

Во время разговора он тут же невольно начинал играть роль противника. Съезжился, настороженно замыкался, как будто ждал нападения, на вопросы отвечал быстро и решительно, как будто парировал удары. Каждое слово из него приходилось вытягивать как самую страшную тайну.

С педантичностью неопита заботился о мелочах, манерах и внешних проявлениях власти; скованный, смертельно серьезный, был подчеркнуто вежлив с гостями, метал убийственные взгляды адъютантам. Казалось, форма для него так же важна, если не важнее, чем само содержание, что обычно отличает людей несмелых, неуверенных в себе и своих аргументах, съедаемых комплексами. Сохранить достоинство! Это было главным. Ничего удивительного, что свою официальную биографию он велел озаглавить Достоинство важнее жизни.

Он боялся, что малейший ложный шаг сделает его посмешищем в глазах посторонних, и, что еще страшнее, — земляков. Похоже, он больше всего боялся показаться смешным. Это лишало его уверенности в словах и поступках, и столь типичного для чеченцев саркастического чувства юмора. Как же он должен был страдать от прозвища Вислоухий, которым его наградили за большие, оттопыренные уши, никак не соответствующие его суровому облику!

Подтянутый, полный достоинства, в чистейшем полевом камуфляжном мундире, он всегда сажал меня на один и тот же, выбранный им самим стул, стоявший перед огромным столом, где ждали своего решения стопы документов, уложенные в идеально ровные колонны и шеренги. Сам, поглаживая ладонью то седеющую бороду, то редущие пепельные волосы, усаживался в кресло напротив.

— С военной точки зрения дислокация войск на Тереке не имеет смысла. Сколько солдат и сколько денег потребуется на содержание такого кордона? И неужели россияне действительно верят, что будут в безопасности за рекой?

На первый взгляд казалось, что он просто серьезен, но чуть позже в голосе появились нотки усталости.

— Я вывел своих солдат из северной Чечни, потому что с одними автоматами на равнинах и степях у нас не было шансов против танковых колонн. Но там остались партизаны, которые уже сегодня организуют засады и отбивают станицы, занятые россиянами. Россияне хотят воевать с нами издалека, они предпочитают не вступать в ближний бой. Так 67 можно использовать самолеты и дальнобойные орудия. Кроме того, они нас не видят, а значит, не боятся. Это же проще, чем встать с противником лицом к лицу. Да и меньше угрызений совести, когда не видишь убитых женщин и детей. А наша тактика заключается в том, чтобы воевать с россиянами как можно ближе к их позициям. Мы стараемся подойти к их передовой линии. Тогда они не смогут использовать ни самолеты, ни пушки, ни даже танки из опасения перестрелять свою собственную пехоту. Что дальше? Пойдут ли россияне вперед, будут ли штурмовать Грозный и горы? Это может означать только их поражение. Я ни секунды не сомневаюсь, что Россия проиграет эту войну. По сравнению с прошлой войной у нас не только больше солдат и оружия, у нас, прежде всего, больше опыта. Мы прекрасно знаем, как драться с русскими. Пять лет назад наши солдаты боялись танков, сегодня будут на них охотиться как на зайцев. Немного, правда, опасаясь, что эти первые, видимые успехи опьянят российских генералов, и они все-таки пойдут дальше.

— А может, еще одумаются? Остановят войну и уйдут с Кавказа?

— Не затем они ее начинали, чтобы останавливать. Это война не только за Чечню, это скорее война за власть в Кремле. Кавказ, как это было всегда, только полигон, на котором российские политики делают карьеры, добывают славу, чины, набивают карманы деньгами. Ельцин болен, стареет, отходит от дел. А его свита любой ценой хочет удержаться у власти. Боятся за свои состояния, которые благодаря власти добыли. Война им нужна для того,

чтобы не допустить выборов, а может, и для того, чтобы посадить в Кремле своего фаворита. А генералы, пользуясь случаем, попытаются отомстить за прошлую войну.

У меня, однако, сложилось впечатление, что Масхадов не до конца верил в неизбежность войны. Наверное, он еще рассчитывал, что все закончится демонстрацией силы, угрозами, требованиями, ультиматумами. У него был свой посол в Москве, Майрбек Ваचाгаев, которому позже российская милиция подбросила в машину пистолет и арестовала по обвинению в нелегальном владении оружием. Как только Ваचाгаев делал какие-то заявления, давал интервью зарубежным газетам и телевидению, Масхадов звонил ему на следующий день и ругал за неуместную воинственность и неосторожность, которые, в конце концов, спровоцируют Россию на войну. Сам же он в Грозном объяснял немногочисленным журналистам, какие выгоды могла бы получить Россия, живя в мире с чеченцами. Как будто рассчитывал на то, что его слова они передадут в Москву, куда его секретари уже столько дней никак не могли дозвониться.

— Мы могли бы быть самыми преданными и верными союзниками на Кавказе. Если бы Россия договорилась с нами и позволила нам жить по-своему, если бы нас уважала, мы бы прогнали с Кавказа и арабов, и турок, и американцев, — Масхадов на пальцах перечислял, что россияне теряют, объявляя войну Чечне, а точнее говоря, искушал их возможной пользой. — Новая война? Она закончится так же, как все прошлые войны. Ненужными жертвами, пожарищами, морем крови. Кому это нужно? Кому принесет славу? Российская армия огромная и мощная, готова к войнам со сверхдержавами за главенство в мире. Российские военные должны сделать все, чтобы армия не подверглась новому унижению.

— А если войны не удастся избежать?

— Я этой войны не хочу. России придется взять ее на свою совесть. А мы будем сражаться, если такова воля Всемогущего.

В полуразрушенном городе, битком набитом живописными, дикими воинами, старавшимися как можно ярче выделиться среди других, не помышлявшими даже о подчинении кому бы то ни было, ужасающе не к месту выглядел Масхадов, обожающий церемониал, регулярность и железный порядок. Город, готовящийся к новой войне, был скорее стихией того, который войну на него навлек. Ее преданного слуги, всем ей обязанного, Шамиля Басаева.

Он был в городе.

Как ни в чем не бывало, вернулся сюда после своих неудачных военных походов в Дагестан. Вместе с отрядом бородатых забияк разбил лагерь в огромной усадьбе из красного кирпича, которую выстроил себе здесь среди руин после первой войны. Многие жители столицы надивиться не могли наглости молодого джигита: он подверг страну смертельной опасности, а теперь, наплевав на полные молчаливого осуждения взгляды земляков, разъезжает по Грозному со свитой вооруженных партизан на джипах, вздымающих тучи красной пыли! Он говорил, что вернулся в город, чтобы защищать его от россиян. Но многие подозревали, что Басаев, опасаясь мести россиян, специально окопался в безразличной для него столице, чтобы уберечь от бомбежек родное Ведено.

В первый же день Мансур послал одного из своих людей к Басаеву с просьбой принять меня. Ответ должен был прийти со дня на день. Накануне видели, как он, бритоголовый, с бородой до пояса, гневно, издевательски опровергал российские сообщения о том, что он, якобы, опять попал в окружение где-то над Терекком, что он приказал своим боевикам убить каких-то французских журналистов.

Беседуя с Масхадовым, я тянул с вопросом о Басаеве, чувствовал, что он может быть бестактным, неудобным для него.

Они были противоположностью друг друга, взаимным отрицанием всех ценностей, принципов, которых старались придерживаться. Мне казалось, что они должны были презирать друг друга, испытывать взаимное отвращение и отчуждение. Но они были обречены друг на друга. Один без другого ничего не значил, не мог удержаться, не мог одерживать побед, уходить от поражений. Это длилось уже долгие годы.

Не раз приходилось Масхадову терпеть обиды и унижения из-за Басаева. Во время первой войны, когда Масхадов вел секретные переговоры с российскими генералами по поводу перемирия, Басаев совершил дерзкое нападение на Буденновск. Уже тогда, соглашаясь на переговоры, россияне потребовали от Масхадова, чтобы он выдал им Басаева. Масхадов был бессилён. Даже если бы он мог арестовать Басаева, чеченцы никогда бы не простили ему сдачу Москве смельчака, который своей удачей заслужил имя героя и любовь всего Кавказа.

Годом позже Басаев повел партизан на самоубийственный, казалось бы, штурм занятой россиянами чеченской столицы. Операция закончилась неожиданным триумфом. Россияне согласились на перемирие и вывели войска. И хотя атаку на Грозный детально запланировал и координировал расчетливый стратег Масхадов, победителем был признан безумный вояка, разбойничий атаман Шамиль Басаев.

Они были отражением друг друга в кривом зеркале. У одного было то, чего другому не доставало. У Масхадова была мудрость, рассудительность, безупречная репутация и уважение земляков. У Басаева — смелость, сила и любовь, которой окружали его кавказские горцы. Без Масхадова Басаев зашел бы в тупик, растратил бы джигитскую славу, потерял войско, погиб. Без Басаева Масхадов был бы генералом без армии.

Когда Басаев совершил набег на Дагестан, его головы домогалась не только Россия, но и многие чеченские командиры, среди которых Шамиль успел нажать себе врагов. Первыми к Масхадову пришли рассорившиеся с Басаевым братья Ямадаевы из Гудермеса. «Теперь или никогда, — уговаривали они. — Он такой же наш враг, как и твой. Нападем на него. Когда он будет возвращаться из Дагестана, ослабленный, ничего не подозревающий. Сам напрашивается, покончим с этим раз навсегда». Масхадов не согласился. Говорили, он не был уверен, удастся ли ему разбить Шамиля, а пойти на риск поражения не мог хотя бы из-за своего положения.

Потом россияне напали на Чечню. Они требовали выдачи Басаева, если Масхадов хотел снять с себя вину за его набег на Дагестан. Интересно, как он должен был это сделать? Как мог удержать Басаева от чего бы то ни было? Приказов Шамиль попросту не слушал. То есть слушал, но только те, которые были ему выгодны. Так же бессмысленно было бы пугать его смертью, потому что смерти Басаев не боялся, а может, просто не верил, что она к нему придет. По крайней мере, не от Масхадова. Арестовать его? То же самое. Уж проще убить.

В конце концов, Масхадов вообще не выступил против Басаева. Не смог он этого сделать, что-то его удерживало. Конечно же, не страх.

— Почему же вы не предотвратили нападение Басаева на Дагестан? Ведь именно это дало России повод к новой войне.

— Восстание начали местные. Басаев поехал туда как частное лицо, как доброволец, а не как представитель чеченских властей. Сам так решил, знал, что это может быть ловушкой, а страну подставлять не хотел. Придумал, что в случае неудачи, возьмет все на себя. Да и трудно было бы его удержать. Я признаю, что со стороны Басаева это было крайне глупо и безответственно. Мы обвиняем его сегодня в том, что он дал России повод для войны, дал Москве все, что ей было нужно. Но мы заявляем, что осуждаем терроризм, готовы с ним бороться. Мы осуждаем нападение на Дагестан. Осуждаем чеченцев, которые участвовали в этой аванюре. Предлагаем создать российско-чеченскую комиссию, целью которой будет выяснение, как это произошло, как все было на самом деле. Чтобы не допустить новых инцидентов, мы создали северокавказские миротворческие силы под единым командованием. Мы можем допустить в Чечню международных наблюдателей, которые проверят, выполняем ли мы свои обещания.

— Одна из российских газет написала, что еще в июле Басаев встретился в Ницце, в доме саудовца Адхана Хашогги, известного во всем мире торговца оружием, с шефом администрации Ельцина, Александром Волошиным. Вы не спрашивали Басаева, зачем он ездил на Лазурный берег?

— Я сказал ему: если хочешь сохранить лицо и завоевать известность, которую ты так

обожаешь, расскажи людям обо всем, о чем вы разговаривали. Басаев мне ничего не ответил. Но думаю, война бы началась в любом случае, я был в этом уверен.

Вечерами мы возвращались в деревню. Мансур решил, что там мы будем в большей безопасности, чем в городе. Он тут знал всех, и главное — знал, что, похищая меня, бандиты объявили бы войну всей деревне. Я все-таки был гостем, а похищение гостя на Кавказе является самым страшным позором для хозяев. Это придавало мне большей уверенности, чем автоматы Мансура и его военные заслуги.

Но и дома Мансур не пренебрегал никакими мерами предосторожности. Даже в туалет во двор мне нельзя было выходить одному без сопровождения его младших братьев. Один охранял дверь в туалет, другой демонстративно прохаживался с автоматом вдоль забора. На ночь запирались изнутри, спали в сенях у печи, по очереди дежуря. А перед тем, как лечь спать, Мансур выходил на дорогу и следил за машинами, не проехала ли какая-нибудь из них перед его домом больше одного раза. Каждое утро соседи докладывали ему обо всех чужих, появившихся в деревне и в окрестностях.

Я любил возвращаться в деревню в сумерки, когда от усталости не хотелось даже разговаривать, а молчание было заслуженной и оправданной минутой отдыха, не смущало, не требовало поддерживать разговор. В открытые окна теплый ветер приносил запах опаленной осенью травы и влажных от тумана листьев.

После пыльных и душных дней в Грозном вечера в деревне дышали свежестью, смывающей усталость. Горы, днем далекие и едва видимые, вечером, казалось, становились ближе и набирали мощи. Воздух был прозрачнее и свежее, цвета чище и ярче, запахи и звуки более выразительными. Город олицетворял спешку, беготню, неуверенность, работу, беспокойство, угрозу. Деревня и даже сама дорога к ней, клали конец непрерывному, изнурительному напряжению, приносили чувство удовлетворенности от удачно прожитого дня, и радостное ожидание оставшихся, уже только приятных его мгновений.

Сама усадьба Мансура состояла из двух одноэтажных домов, объединенных бетонной крытой террасой. Именно туда, на большой деревянный стол, покрытый цветастой клеенкой, женщины подавали ужин — дымящийся плов, куски отварной баранины, бульон с зубчиками чеснока, молоко, сыры, яблоки. За ужин мы садились с Мансуром и его товарищами. Младшие двоюродные братья рассаживались на стульях под стеной. Женщины с детишками на руках стояли в дверях кухни, прислушиваясь к разговорам. Если в гости заходили старшие, Омар, Муса или Сулейман уступали место за столом. А им в свою очередь братья уступали места на стульях под стеной.

Каждый день приходил кто-нибудь новый. Им был интересен иностранец, новости из далекого мира. Спрашивали, что там слышно и что говорят о них, чеченцах. Недоверчиво качали головами, не переставая удивляться, что мир занимается и какими-то другими делами. Через несколько дней я научился отвечать так, чтобы их не разочаровывать.

Старики охотнее всего вели разговоры о горах. Это были истории, напоенные неизбывной тоской, как воспоминания о милой, но безвозвратно утраченной молодости и счастье, которые уже никогда не вернуться. Рассказывали о каменных аулах и зеленых пастбищах, которые когда-то были их домом, а теперь опустели, почти вымерли. Их мир постепенно уходил, и они вместе с ним.

Старики жаловались, что молодежь не нашла в себе выдержки и сил жить, как раньше. Бежала от изнурительной, но дающей гордое чувство собственной ценности, трудной жизни в горах. Молодые не видели ничего плохого в выборе легкого пути, не собирались преодолевать трудности, наслаждаться радостью от их преодоления, от вечной борьбы с ними. Они не собирались бороться с природой за каждую пядь земли, терпеть жару и жестокие холода. Не испытывали никакой радости от сознания собственной исключительности, не ощущали безопасности и уверенности, которые их предкам давала жизнь в их отрезанных от мира башнях из камня.

Соблазн удобств, свободы от суровых как сами горы обычаев и законов, вера, что их ждут неограниченные возможности и перспективы, гнали молодежь на равнины, в города.

Они продавали дома и свои клочки земли, или просто бросали их, и уезжали. Один за другим пустели аулы и хутора, а чем больше они пустели, тем меньше заботы и внимания проявляли к ним чиновники из столицы, вечно занятые дележом денег.

Все реже ремонтировались ведущие в горы дороги, электрические линии, телефоны. Не дождавшись зарплаты, сбегали деревенские учителя. Впрочем, зимой школы в горах и так закрывались из-за снега и морозов, а большинство вообще закрыли, потому что некому было в них ходить. Родители отправляли детей учиться в города, считая, что там им знаний дадут больше и лучше. Уехали и не получавшие зарплату и голодающие деревенские врачи, горцам оставалось только искать помощи у знахарей.

Старики, хоть сами уже давно не были в горах, рассказывали, что там попадаются вымершие аулы, в которых, как в лесу, слышно только пение птиц, и пастбища, на которых пасутся стада оленей. А волки, никем не тревожимые, так обнаглели, что нападают на скот у водопоев и даже на путников в горах.

Рассказывали старики и о российских самолетах.

— В полдень еще два прилетели. Сбросили бомбы на горку у леса. Видно, что-то попутали, там только овцы пасутся.

Резко распахнутая дверь отскочила от стены с неприятным треском. В закусную их ворвалось семь, может, восемь человек. Встали, направив дула автоматов в наши тарелки. Они появились так внезапно, что Мансур, Омар, Нуруддин и Муса не успели даже протянуться за оружием.

Мы замерли от страха, сжимая в руках вилки с кусочками баранины из стынувшего на столе плова.

Но выстрелы не прозвучали. Плечистый бородач, несомненно, командир, с каменным от напряжения лицом вглядывался в Мансура, как будто лихорадочно пробовал отыскать его в памяти. Мансур медленно поднялся со стула; теперь они стояли друг напротив друга, настороженные, недоверчивые, готовые стрелять и убивать.

Из-за грязных окон доносился шум улицы. Кроме нас посетителей в закусной не было, если не считать юношу в черном с элегантно подстриженной бородкой, присевшего к столу с чашечкой черного кофе. Выпил и вышел из зала, разговаривая приглушенным голосом по радиотелефону. Через минуту вернулся, снова заказал кофе, но на этот раз пил медленно, наслаждаясь его теплом и ароматом.

Молчание прервал Мансур.

— Ты Ахмед... Ахмед Абдуллаев...

Командир опустил автомат и крикнул что-то по-чеченски своим бойцам. Некоторое время они совещались с Мансуром, нервно поглядывая на улицу.

— О тебе уже знают в городе, — бросил мне через плечо Мансур. — Ахмед служит в президентской гвардии. Они подслушали по радиотелефону, как о тебе говорили, что ты сидишь в закусной и что у тебя только несколько человек охраны, — сказал Мансур. — Ахмед видел, как ты выходил от президента, прибежал тебя предупредить. Уходим отсюда! В этой стране иностранцы стоят немалых денег. Ваша жизнь еще ценится, наша уже ничего не стоит.

В тот день за ужином Мансур решительным голосом заявил, что если он и дальше будет охранять меня, мне придется заплатить больше. Намного больше.

— Или я тебя сегодня же отвезу на границу, и до свидания — сообщил Мансур, а сидящие с нами за столом Муса и Омар, как бы смутившись, отвернули головы. — Если хочешь остаться, плати.

— Я же тебе плачу.

— Надо заплатить больше.

— Что значит, больше?

— Больше значит больше.

Я ожидал этого. Рано или поздно такой разговор обычно происходил. Договора на организацию исследовательских экспедиций в мир кошмара подлежат пересмотру. Их

закрывают по одну сторону границы, но они становятся неактуальными, могут как угодно изменяться по другую сторону границы, темную. Это даже предусматривается в сценарии поездки, является одним из обязательных пунктов программы, одной из ее привлекательных сторон.

На своей стороне я диктовал условия, выдвигал требования, капризничал, выверял список пожеланий и ставил оплату в зависимость от их исполнения. Безопасно переправленный на другую сторону, я зависел уже только от нанятых мной проводников и опекунов, от их порядочности.

В наших отношениях всегда что-то скрипело, что-то жало, как в новом ботинке, какое-то непонимание, недоговоренность, претензии, завышенные ожидания.

Могло бы показаться, что сам риск и трудности поездки в страну, находящуюся под угрозой нападения более сильного врага, приближающейся войны, должны были освобождать визитеров от любых дополнительных расходов. Казалось, что, будучи добровольными и достоверными летописцами вершащейся несправедливости, мы, журналисты, должны быть желанными гостями, должны быть нарасхват. Естественно, мы были готовы платить за еду, крышу над головой, за арендованную машину и бензин, за личную охрану, водителя, проводника, переводчиков. Хозяева же добавляли к этому еще одну и самую высокую плату — за возможность увидеть кошмар и пожить рядом с ужасами.

Они никогда не понимали нас, точнее, мы никогда не понимали друг друга.

Они трактовали нас как участников дикого, варварского сафари. Были убеждены, что мы испытываем нездоровое, странное удовольствие, наблюдая за страданиями и страхом других людей. Постоянно старались показывать нам трупы. Как только узнавали о ком-то, убитом во время бомбардировки или даже просто умершем по болезни или от старости, тащили туда, зазывали: «Пойдем, труп увидишь». Всматривались в наши лица, проверяя, принес ли нам ожидаемое удовольствие вид умерших, чудовищно искалеченных, рыдающих людей и дымящихся пепелищ. Они действительно старались. И поэтому считали, что, раз возможность наблюдать с близкого расстояния их несчастья имеет для нас такую таинственную ценность, за нее можно требовать солидную оплату.

Отчасти они были правы. Не было у нас никакого общего, великого дела, которое склоняло бы их к солидарности, к лояльности. Мы не были безучастны, но они интересовали нас, прежде всего, как поставщики сюжетов, в лучшем случае, как герои историй, за которыми мы сюда приехали. Им нужно было только выполнить определенную работу — как можно быстрее освободить нас от необходимости пребывать по эту темную сторону границы. А она к тому же со временем становилась все более обыденной, переставала вызывать любопытство. Ее необычность была вызовом только тогда, когда оставалась для нас недоступной.

Они не видели в нас своих спасителей, своих сторонников. И хоть никогда не говорили об этом вслух, ничего от нас не ждали, не верили в действительную силу наших рассказов, нашего свидетельства. Мы их интересовали главным образом как источник дохода, облегчающий существование.

Момент истины наступал почти неизбежно, но облегчения не приносил. Падала с таким усилием поддерживаемая завеса внешних приличий и доверия. Люди, с огромным трудом подобранные и соответствующим образом оплаченные, которые должны были быть гарантией нашей безопасности и успеха, опорой и путем отступления, становились непредсказуемыми ключниками наших судеб. Мы теряли над ними контроль и становились их заложниками. Мы зависели теперь только от их каприза, желания или нежелания, порядочности или нечестности, жадности, неожиданного отказа. Нельзя было им верить. Но нельзя было и не верить им.

Требую изменений условий нашего договора, Мансур действовал, как опытный охотник. До сих пор он образцово исполнял все договоренности. Я получал все, что хотел. Значит, мог рассчитывать и на большее. Война все больше брала в тиски чеченскую столицу, запирая в ней всех, с кем я хотел встретиться и говорить. Им некуда было бежать от меня.

Мне же нужно было только время и помощь Мансура. Он это понимал, и, наверное, считал отличной наживкой.

Он понимал, что мне известно: отказываясь от нашей договоренности, он мог считать меня товаром, который можно выгодно сбыть кому-нибудь из действующих на Кавказе торговцев невольниками. Как-то, вроде в шутку, сказал, что за вычетом себестоимости и отката для разных посредников, на этом деле можно заработать чистых несколько десятков или даже сотен тысяч долларов.

Чеченцы испокон веков славились нападениями на дорогах и похищением людей ради выкупа. Загнанные агрессорами в суровые горные ущелья, лишённые плодородных полей и пастбищ, как афганские пуштуны, они грабили немногочисленные, пробирающиеся через кавказские горы купеческие караваны и неосторожных путешественников. Охотно совершали набеги в степи над Терекком и Сунжей, чтоб под покровом ночи грабить селения казаков, брать заложников.

Ян Потоцкий, который двести лет тому назад путешествовал по Кавказу и афганским степям, написал в своем походном дневнике: «На днях я видел чеченскую княжну, которую судьба забросила в Афганистан. Она недурна и по-своему образована. Однако не может избавиться от предрассудков собственного племени. Считает, что страна, где никто не грабит на больших дорогах, монотонна и скучна, а украденный платок доставляет ей большую радость, чем купленное ожерелье из жемчуга. Говорит, что князья из ее рода испокон веков грабили путешественников на дорогах, и что она ни за что бы не хотела, чтобы родственники и друзья узнали, что она вышла замуж за мужчину, который не живет разбоем». О кавказских пленниках и зловредных чеченцах, прячущихся в прибрежных камышах, писали Александр Пушкин и Лев Толстой.

Людей похищали ради выкупа, но и для работы, во временное рабство. Когда пленник уже отработывал свою определенную стоимость, ему не только возвращали свободу, но и позволяли, если он хотел, поселиться и жить среди своих преследователей, пользоваться такими же правами, как они, включая право основания собственного рода. Кавказская легенда гласит, что именно некий освобожденный из неволи аварец, которому позволили поселиться под Ведено на хуторе, основанном дезертирами из российской армии, положил начало роду Шамиля Басаева. Даже покоренные россиянами, чеченцы нападали на поезда, идущие через их страну в Баку, Астрахань и Махачкалу.

В разрушенной, искореженной прошлой войной Чечне, похищение людей ради выкупа стало единственным, наряду с контрабандой нефти и оружия, доходным предприятием.

Наибольшим спросом пользовались иностранцы, которые сулили надежду на самый высокий выкуп. Чаще всего похищали журналистов и сотрудников международных гуманитарных организаций, прибывающих на Кавказ помочь чеченцам залечивать военные раны и восстанавливать страну из руин. За каждого иностранца неизменно требовали от одного до трех миллионов долларов. Но похищали не только ради денег. За освобождение заложников часто требовали освобождения из тюрем своих коллег, чинов и продвижения по службе для своих приятелей, гарантий безопасности и неприкосновенности для себя. Еще во время войны заложники стали обменной валютой. Брали заложников все — и чеченцы, и россияне, чтобы выменять на своих, на оружие, на деньги, бензин, еду или водку.

Однако пышным цветом эта деятельность расцвела уже после войны.

Во время одной из моих следующих поездок на Кавказ я познакомился со скрывавшимся по деревням Мохаммедом Мохаммедовым, заместителем генерального прокурора, которому Масхадов поручил вести борьбу с торговцами живым товаром.

— Это россияне привили нам эту заразу. В отместку за проигранную войну, — утверждал прокурор. Мне он показался слишком мягким, добродушным и впечатлительным для человека, призванного вести победоносную войну с работоторговцами. — Обучили нас этому, выплачивая выкупы за пленных и даже за трупы. Мы пробовали с этим бороться, но не могли допроситься помощи от них. Наоборот! Их олигархи, выслуживаясь перед Кремлем, платили миллионы долларов выкупа, разогревали рынок, а Россия не позволяла

нам даже допрашивать освобожденных заложников. Надо, правда, признаться, что и нашим командирам часто не хватало твердости духа, чтобы побороть искушение легкого заработка. Мирное время для многих из нас оказалось труднее войны.

После войны появились настоящие концерны торговцев пленными, располагавшие специализированными подразделениями и субподразделениями.

Самим похищением занимались небольшие отряды. Вербовали их, часто на одну единственную акцию, среди безработных партизан. Цель указывали таинственные работодатели, которые перед этим пользовались услугами своеобразных аналитических и консалтинговых фирм, занимающихся поиском потенциальных жертв, изучением их привычек, состояний, семей, возможных слабых мест.

Похищенных людей принимали специализированные фирмы-перевозчики, которые контрабандой переправляли их чаще всего в Чечню, послевоенный оазис беззакония, где после падения старого российского порядка еще не успел возникнуть новый. Руки российских судей, прокуроров и следователей сюда уже не доставали, а власть чеченского правительства ограничивалось — и то не всегда — стенами президентского дворца и министерств.

В Чечне пленников принимали очередные посредники. Задачей одних было обеспечить безопасное укрытие заложников, другие устанавливали контакт с семьями и вели переговоры по поводу выкупа. Третьи — и эти обычно действовали публично и имели безупречную репутацию (то есть брали от торговцев заложниками оговоренный процент) — занимались исключительно обменом заложников на выкуп и передачей его заказчикам, которых они обычно не знали, так же, как и других участников всей операции.

Заложников брали в Москве, Санкт-Петербурге, Владикавказе, Черкесске или Астрахани, но прятали их в Чечне не только потому, что эта бунтующая республика давала гарантию безопасности и безнаказанности, но и из-за ее внушающей ужас репутации.

Торговцы невольниками быстро разобрались, что чем больший страх вызывало имя чеченского командира, которому они доверяли своих пленников, тем более высокий выкуп удавалось выторговать, и тем меньше было проблем и задержек с его получением.

Командиры, стяжавшие славу особенно жестоких — такие, как шальной Арби Бараев или шайка братьев Ахмадовых из Урус-Мартана, — тоже увидели дополнительный шанс легкого заработка, и за крупную сумму охотно признавались в похищениях, с которыми не имели ничего общего. Они просто позволяли использовать свои наводящие ужас имена, брали плату за использование так сказать «фирменного знака». Случалось, что заложника брали в Москве, там его удерживали и потом освобождали после внесения выкупа, а в Чечню только звонили, чтобы оговорить размер суммы.

О том, что очередная транзакция состоялась, безошибочно свидетельствовало появление на базаре в Грозном таинственных мужчин, которые меняли в обменных пунктах такие огромные суммы долларов, что это приводило к краткосрочному падению курса американской валюты.

Такая сложная структура работ торговли эффективно затрудняла борьбу с ней. Похитители немедленно передавали заложников другим людям, а сельских жителей, которые за гроши содержали невольников в своих землянках, трудно было обвинить в торговле живым товаром. Сложно было также определить, является ли ведущий переговоры об освобождении заложника посредник благородным героем, заслуживающим восхищения, или посвященным в заговор бандитом, которого следует бросить в тюрьму.

В торговле живым товаром обвиняли в Грозном всех — чеченских министров и даже вице-президента, безработных партизанских командиров, героев недавней войны с Россией, прокуроров, патрулирующих дороги милиционеров и даже командиров российских гарнизонов, которые продавали в кавказское рабство своих солдат, а тех, кто из плена бежал, объявляли дезертирами и наказывали. Охотились за людьми также милиционеры из Дагестана, Ингушетии, Кабарды и Северной Осетии, которые сами похищали людей и перепродавали их торговцам, или, соблазнившись вознаграждением, ловили по всему

Кавказу сбежавших невольников и отдавали их владельцам.

Атмосфера была до предела насыщена подозрениями, обвинениями и страхами, на что чеченцы реагировали саркастическими шутками.

Например, такой. Правительство России, чтобы узнать, что же на самом деле творится на Кавказе и кто там похищает людей, решило отправить в Чечню своего аса разведки, наилучшего и неподкупного шпиона, Штирлица, российского аналога Джеймса Бонда, чтобы он на месте все узнал и дал, наконец, достоверную информацию.

— С кого начать? С президента или его врагов? — размышляет сброшенный на парашюте Штирлиц, сидя в придорожном рве. — Начнем, пожалуй, с правительства.

Но, не успел он ступить на полевую тропинку, как из-за кустов выскакивает чеченский джигит и стреляет из автомата в воздух:

— Ты куда? — спрашивает.

— Ну, туда, где правительство, — говорит Штирлиц.

— Лучше не ходи туда, — говорит чеченец. — Знаешь, что там делают с такими, как ты? Бьют, раздевают, все отбирают и отпускают нагишом, как турецких святых.

— Ага, ценная информация, — думает Штирлиц и поворачивается в другую сторону, к оппозиции. Но только развернулся, как джигит снова стреляет в воздух и кричит:

— Туда тоже не лезь! Там таких, как ты, тоже сразу бьют, раздевают, все отбирают и отпускают нагишом, как турецких святых.

— Так куда же мне идти? — разводит руками Штирлиц. А чеченец ему в ответ:

— Никуда не ходи. Здесь раздевайся!

Я согласился с требованиями Мансура. Дело того стоило. Давясь от бессильной злобы и стараясь побороть дрожь в голосе, заявил, что на очередное изменение договоренностей я уже не соглашусь, денег не хватит. И добавил, что он своими новыми требованиями вынуждает меня сократить свое пребывание в Чечне, что из-за него, из-за его жадности, мне, может быть, придется уехать еще до того, как начнется настоящая война, когда такие как я свидетели будут Чечне особенно необходимы.

Он широко улыбнулся, как расшалившийся баловник, который не может дальше скрывать радости от своей удачной шутки. Протянул руку, как довольный ценой купец, желающий завершить сделку.

— Без обиды?

— Без обиды.

Деревенька Мансура широко и удобно расположилась у реки Аргун, катившейся с гор бурным, гневным потоком и только тут, среди невысоких пригорков и лугов, успокоенной и притихшей. Широкая, плоская равнина, отгороженная с севера зелеными холмами на Тереке, тут резко сужалась и поднималась, как будто внезапно привставала на пальцы, подавленная величием монументальных, скалистых гор.

Деревня производила впечатление зажиточной, и, похоже, такой и была. Во время недавней войны местные старейшины умудрились уговорить россиян не трогать деревню взамен за безопасный проезд по дороге, которая проходила через деревню в сторону гор. Соседи потом корили сельчан, что они, заботясь только о себе и пропуская россиян, облегчили им марш на горные районы и подвергли опасности тамошние аулы.

Как и другие селения, которыми пестрило все предгорье, деревня Мансура выглядела огромной, бесконечной. Но с главной, перерезающей ее пополам дороги казалась вымершей, безлюдной. Одноэтажные кирпичные дома с плоскими крышами прятались за мощными стенами и запертыми наглухо, тяжелыми, чугунными воротами, обычно окрашенными в зеленый цвет. Это за ними, вдали от посторонних глаз, шла настоящая жизнь, там скрывались все тщательно оберегаемые тайны. Пыльная грунтовая дорога, пронизывающая деревню, служила в лучшем случае только местом встреч, местным ареопагом.

Утром, когда мы отправлялись в новый поход, дорога была пустой и тихой. Только у некоторых придорожных лотков можно было встретить 78 девочек в цветастых платках, отправленных матерями за хлебом. За стенами дворов женщины разводили огонь, и сизый,

пахучий дым от горящих влажных веток, как туман полз по дороге.

Когда вечером мы возвращались, деревня угасала, как догорающая свеча. Одно за другим вспыхивали светлые квадраты окон. В вечерних сумерках, ловя последние минуты прожитого дня, одетые в черное мужчины заканчивали беседу или, присев на корточки под стенами, молча курили табак. Вырванные из оцепенения фарами проезжающих машин, с трудом пробивались взглядом сквозь наползающий мрак, чтобы разглядеть лица водителя и пассажиров, и если узнавали знакомых, медленно, с достоинством кивали в знак приветствия.

За деревней дорога, до этого прямая и ровная, начинала извиваться среди высоких, желтых трав над рекой. Минуя мост, разрушенный российскими самолетами, переправлялась на другой берег по бетонным плитам, которые жители деревни притащили с соседнего цементного заводика. Дальше дорога бежала среди полей до самого отмеченного старыми вербами края города, где присоединялась к скоростному асфальтовому шоссе, которое на ближайшем распутье разделялось на несколько дорог. Одна из них вела в Грозный, другая в Шали и дальше, до Сержень-Юрта и Ведено, затерянных в зеленых, поросших лесами горах, а еще одна вела ущельем Аргуна среди грозных, царственных вершин Кавказа к границе с Грузией.

Чаще всего мы сворачивали в Грозный. Втискивались в караван помятых, заляпанных грязью машин с потрескавшимися стеклами, похожими на паутину. Они медленно проползали одна за другой, скрипя от старости и непосильной поклажи.

По дороге в столицу, на самом краю изрешеченного снарядами асфальта, в голубом дыму выхлопных газов и пыли боролись за место под солнцем хозяева маленьких, пропахших луком шашлычных. Лоточницы совали в руки проезжающим сморщенные, неаппетитные овощи и фрукты, а мясники в палатках развешивали на гвоздях куски мяса. У придорожных хибар дети стерегли пирамиды огромных стеклянных банок, пластиковых баночек и канистр, наполненных желтоватым бензином, который получали домашним способом в садах и огородах из годами сочившейся из дырявых трубопроводов и скважин нефти, теперь пластом залегавшей под всей околицей.

Когда Мансур бывал в хорошем настроении, говорил, что когда-нибудь, когда не будет больше ни войны, ни торговцев живым товаром, ни торговцев наркотиками, я приеду к нему в гости, просто как старый приятель. Тогда мне не придется платить ни копейки за охрану. Он возьмет меня с собой в долину Аргуна, в горы, на озеро и приготовит шашлыки, такие вкусные и сочные, что я буду его проклинать до конца жизни, потому что ничего вкуснее уже никогда не попробую. И ничто не сравнится с красотой тех гор, ущелий, лесов, перевалов и водопадов.

Его деревня была воротами в долину Аргуна. Сразу же за разрушенным мостом горы как бы сходились, оставляя место только для того, чтобы могла протиснуться стремительная река. Сколько раз мы возвращались в деревню, столько раз Мансур показывал рукой на склонившиеся друг к другу горные вершины.

— Волчи Ворота, — таинственно шептал он, как будто именно там пролегла магическая граница между добром и злом, уродством и красотой, которую стоит только перейти, чтобы освободиться от забот, наслаждаться свободой, жить полной жизнью. Никогда он меня туда не отвез. Не могу поручиться, что и сам там когда-то был.

Еще обещал, что когда-нибудь, когда не будет войны, поедем высоко в горы, чтобы среди орлиных гнезд отыскать Город Мертвых, каменный некрополь, построенный по образу домов и башен горных аулов.

Башни из камня строили на Кавказе в качестве прибежища и сторожевой крепости для купеческих караванов. Завоевание турками Константинополя и открытие морского пути в Индию стали смертным приговором для Шелкового Пути. В покинутые караванами каменные башни вселились кавказские горцы, устраивая в них свое жилье. Со временем башни из камня стали символом, связующим звеном между прошлым и сегодняшним днем, боевым кличем, мифическим оазисом, в котором можно спастись от угрозы и гибели,

наслаждаться чувством безопасности, находить веру в будущее, гордится собственной самобытностью.

— Дед рассказывал мне, что когда-то в башнях вместе жили и люди, и скотина. Земли здесь всегда было мало, она не могла прокормить, люди пасли скот, — бормотал Мансур, время от времени бросая взгляд на внимательно слушавших его Мусу и Омара. — Пастухи загоняли на ночь стада в башни, чтобы уберечь от воров. Но когда подворачивался случай, сами нападали на соседние аулы и грабили их. Если успевали загнать украденных коров, овец или коз в башню и запереть ворота, стадо становилось их законной собственностью.

Самолеты появились на рассвете, когда мы допивали чай. Вылетели неожиданно из-за леса, направляясь прямо на деревню. Летели низко, над самыми крышами и верхушками фруктовых деревьев в садах. Казалось, достаточно протянуть руку, чтобы дотронуться пальцами до их стальных брюх. Когда они так стремительно приближались к нам, становясь все огромнее и страшнее, хотелось кричать пилотам, чтоб они подняли машины, иначе разобьются о проселочную дорогу.

От их рева зазвенели стекла в окнах, задрожала земля.

Исчезли за пригорком, чтобы через минуту вернуться. Мы стояли во дворе, задрав головы, вглядываясь в их темные силуэты, едва различимые в солнечном блеске. О том, что они приближаются, говорил теперь только нарастающий, пронзительный вой.

Ребятишки, выбежавшие на дорогу, чтобы лучше рассмотреть летающих чудовищ, теперь в смертельном ужасе прятались за заборами. Во дворе жена Мансура судорожно прижимала к груди заходящегося в плаче младшего сына. Прижимала головку ребенка, закрывая ему ладонями уши.

Во всей деревне люди замерли, задрав головы, пустым взглядом уставившись в небо. Стояли так беспомощно, стараясь не думать о том, что однажды бомбы упадут на их дома и сады.

После очередного, четвертого или пятого захода, самолеты исчезли за лесом. Через несколько секунд оттуда донеслись глухие отголоски взрывов.

Прошла еще минута и жители деревни пришли в себя. Некоторое время привыкали к внезапной тишине. Еще минута, и уже спорили, пытаясь угадать, куда попали бомбы. В мост на реке? Поляну над озером? Кирпичный завод в ущелье?

Мансур был уверен, что самолеты сбросили бомбы на Сержень-Юрт, недалеко отсюда. Мы вышли, по дороге расспрашивая о самолетах. Люди показывали руками горы, кивали головами. Мы взбирались все выше по извилистой лесной тропе, которая вывела нас на широкую поляну.

Деревня называлась Элистанджи. Никто здесь не выискивал в небе самолеты, никто их не ожидал.

Когда взорвались первые бомбы, самолеты уже исчезали в солнечном блеске за горными вершинами на границе с Дагестаном. Только когда стихли взрывы, а ветер развеял над деревней черный дым, люди бросились искать в траве, под деревьями сада своих близких. В тот день в Элистанджи погибло от бомб тридцать пять человек, в основном женщины и дети. Шестьдесят были ранены.

Большинство бомб упало на площадь, во дворы домов, рядом с мечетью, во дворе школы. Между улицами Сельская и Школьная не осталось ни одного уцелевшего дома. Стрелки часов в разрушенных домах остановились в 7.45 утра.

В это время мужчины как всегда собирались на площади, и неторопливо готовясь к молитве в мечети, обсуждали важные дела, а женщины выгоняли детей в сад, чтобы не мешали на кухне.

— Было очень тепло, солнце светило, как летом. Мне и в голову не пришло, что это прекрасная погода для бомбежки. Хоть бы я услышала подлетающие самолеты! Так нет, ничего не слышала. Чистила картошку, и тут вдруг страшный грохот, с земли поднялось облако дыма. Когда дым осел, я увидела на траве под деревом тела старшей дочери и сына. Самый младший, Саид Мансур, лежал в колыбели, весь в крови. Осколком ножку оцарапало.

— У нас в деревне никогда не было никаких партизан. Приходили разные люди, просили впустить их в деревню, граница с Дагестаном совсем близко, за горами. Мы не соглашались. А нас все равно разбомбили.

По всей деревне разлетелся стук молотков и топоров. Мужчины подправляли дома, которые еще можно было спасти. В изрытых бомбами садах голосили женщины.

— Чтоб их пекло поглотило! Чтоб вас всех пекло поглотило!

В машине Мансур слушал потертую кассету с песнями чеченских бардов о священной войне, мученичестве и свободе.

Отправляясь на бесконечные войны, чеченцы брали в свои отряды певцов и поэтов, создавать летопись их мужества, преданности делу, блестящих побед и героической смерти. Поэтам и певцам нельзя было ни воевать, ни гибнуть. Они должны были быть рядом с войной, чтобы лучше ее рассмотреть, хорошо прочувствовать. Но их задачей было выжить, в песнях и стихах собрать рассказы других и передать их потомкам.

Тогда, осенью девяносто девятого, Мансур, а вместе с ним и вся Чечня, слушали песни Имама Алимсултанова. Его любили, потому что он провел с партизанами всю войну, два года в горах, лесах, окопах и в схронах. Чеченские боевики берегли его как величайшее сокровище, как главного командира. Он не раз умолял дать ему автомат и разрешить драться. Они отказывали и объясняли, что своей гитарой и песнями он лучше послужит победе, чем сто вооруженных до зубов джигитов. Алимсултанов, искавший смерти на войне, нашел ее в мирное время, когда при нем не было заботливых телохранителей — партизан. Его застрелили в Одессе, где он записывал новую пластинку.

Российские солдаты, у которых не было в отрядах поэтов, покупали у чеченцев пластинки и кассеты Алимсултанова, хоть он пел — правда, по-русски — о священной войне, исламе и неверных. Наверное, старались не слушать слов. Видимо, их очаровывало само пение и мелодия, напоенная такой близкой им сентиментальностью и пафосом.

А молодые чеченцы так же восхищались песнями российского барда Владимира Высоцкого, особенно одной, о волках. Хоть сам Высоцкий давно умер, а стихи об облове на волков написал тогда, когда в Чечне никто и не помышлял о новом бунте, чеченские джигиты верили, что песня была именно о них. Они же сами говорили о себе: волки. Старого волка выбрали в качестве герба на знамени, девиза борьбы, отличительного знака. Откуда им было знать, что необыкновенный талант, которым добрый Господь благословил русского поэта, заключался среди прочего и в том, что, слушая его песни, каждый был убежден, что они говорят именно о нем.

Не на равных играют с волками

Егеря, но не дрогнет рука.

Оградив нам свободу флажками,

Бьют уверенно, наверняка.

Идет охота на волков, идет охота.

На серых хищников, матерых и щенков.

Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.

Кровь на снегу и пятна красные флажков...

Я спросил у Мансура, откуда у чеченцев взялась эта любовь к волкам.

— Волк? — мой вопрос его явно застал врасплох, никогда раньше он, похоже, об этом не задумывался. — А я знаю? Может, потому что он такой смелый, гордый, свободный. Говорят, он умирает молча.

Потом только рассказал мне чеченскую легенду о волке, а точнее, о волчице, которая спасла мир. Когда Бог завершил трудное дело сотворения мира, то вдруг понял, что все идет не так, что он теряет контроль. Хуже всех были люди, которых он так полюбил. Вместо того, чтобы быть благодарными и жить, как он велел, они на каждом шагу нарушали его наказания и запреты, тонули в грехе. Наконец, создатель не на шутку рассердился и решил уничтожить все, что создал. Наслал на Землю страшный ураган, который с корнями выворачивал деревья и валил дома. Люди и звери в страхе бросали свое жилье и бежали, закрыв глаза, от

страшной стихии, топча по дороге тех, кто падал от усталости. Они гибли, потому что бежать было некуда, не было спасения от урагана, ничто не могло помочь им. Только старая волчица не убегала. Она стояла, повернувшись мордой к ветру, телом заслонив волчат. Когда Создатель увидел, что кто-то ему противится, приказал урагану дуть еще сильнее. Волчица, однако, еще крепче упиралась лапами и продолжала стоять. Силы кончались, она умирала, но не поддавалась. Видя это, люди и другие звери тоже перестали убегать. Стали собираться за спиной волчицы, которая останавливала вихри. Когда Бог увидел это, он понял, что, какие бы страшные удары стихий он не посылал на землю, ему не удастся ее уничтожить, пока на ней будет жить хоть один волк, создание гордое и независимое, с такой огромной волей к жизни, с таким упорством и достоинством защищающее своих детей. Обрадовался Господь. «Это мое творение достойно жизни и уважения». И утихомирил ураган.

— У нас все знают эту легенду, — сказал Мансур.

Сам он чаще всего слушал песню о Байсан-гуре, кавказском бунтаре, жившем в девятнадцатом веке. «Лучше с честью погибнуть на священной войне, чем жить в унижении, — пел, а точнее выкрикивал хриплым голосом Алимсултанов под грохот рвущихся аккордов гитары, — пусть нам примером будет Байсан-гур»

Байсан-гур потерял на войне ногу, руку и один глаз, но продолжал сражаться и командовать. Когда его отряд шел в атаку, партизаны привязывали его к коню. А когда сам предводитель восстания, имам Шамиль, усомнившись в успехе дальнейшей борьбы с Россией, принял предложенные царем условия капитуляции и шел подписывать мир с российскими генералами, Байсан-гур кричал ему вслед, чтоб он повернулся, чтобы он мог его застрелить. Шамиль не повернулся, зная, что как человек чести Байсан-гур не выстрелит ему в спину. Байсан-гур не сложил оружия и боролся до самой смерти.

Пели в Чечне песни и о Шамиле Басаеве, особенно с тех пор, как он совершил свой дерзкий налет на Буденновск и стал идиологом всего Кавказа, обожающего смельчаков, браваурность и мужество. Завидуя славе Шамиля и пытаясь повторить и даже превзойти его подвиг, другие командиры также бросались в гибельные авантюры. Но ни один из них не сумел даже прикоснуться к легенде Басаева.

Мало было песен, героем которых был бы Масхадов, хоть это он командовал партизанами во время войны, и никто не мог отказать ему в мужестве и такой ценной для командующего рассудительности. О нем начали петь, когда он уже стал президентом. К тому же подозревали, что авторами посвященных ему песен были его чиновники и адъютанты, желавшие подольститься к президенту. Песни эти исполнялись в основном по государственному телевидению и на митингах сторонников Масхадова.

Больше всего песен было сложено о Джохаре Дудаеве, первом президенте, который, превратившись в сознании чеченцев в легендарного героя, был живым доказательством избирательности человеческой памяти, стирающей в защитном инстинкте события неприятные, и сохраняющие только приятные, причем со временем такие воспоминания становятся все ярче, сливаясь воедино с мечтами.

Джохара Дудаева я лучше всего запомнил по первой встрече в январе девяносто второго. Из Грузии, где заговорщики только что свергли президента Звиада Гамсахурдия, я решил возвращаться через Кавказ, заглянув по дороге в Чечню, куда лишенный трона грузинский президент собирался отправиться в изгнание. Минул сотый день власти Дудаева, которая скорее отдавала гротеском, чем пугала, и ничем не предвещала кровавой трагедии, войны, уничтожения половины страны и смерти ста тысяч людей. Уже тогда о Дудаеве говорили, как о человеке, которому абсолютно чуждо чувство страха. Никому, однако, не пришло тогда в голову, что памятником этой безрассудной смелости станут руины чеченской столицы, а самого Джохара будут считать национальным героем, святым и чуть ли не Посланцем Бога, пробудившим гордый народ от летаргического сна.

Честно говоря, собираясь в поездку из Тбилиси в Чечню через заметенный снегом, скованный морозом Кавказ, я не рассчитывал ни на какую драматическую историю; у меня

такая уже была готова — об уличной войне и вооруженном перевороте в грузинской столице. После визита в Чечню я просто собирался написать о заброшенном на краю света разбойничьем крае и его эксцентричном властелине.

Из первой встречи с Джохаром Дудаевым, я, пожалуй, больше всего запомнил насмешливый взгляд восьмилетнего Ахмеда, с которым я познакомился в президентской канцелярии, где ждал аудиенции и беседы.

Ахмед проводил там целые дни. Его отец был одним из охранников Дудаева и часто брал мальчика с собой на службу. Ахмед сидел в секретариате и играл автоматом. Например, с превосходством объяснял мне и собственноручно демонстрировал, как разобрать и собрать автоматический пистолет «Волк», производство которого президент поручил недавно одной из столичных фабрик. В будущем «Волками», до неприличия напоминающими израильские «УЗИ», должны были вооружить всю чеченскую армию.

— В магазин входит тридцать четыре патрона. Калибр девять миллиметров, такой же, как у «Макарова», — терпеливо объяснял мне Ахмед, молниеносно разбирая пистолет. — Стреляет на пятьсот метров.

Он не мог скрыть добродушного удивления, не понимая, как это взрослый мужчина может не знать таких очевидных вещей. И все-таки любил, когда я приходил. У других взрослых не было для него времени — они были заняты своими делами, в основном подготовкой к войне, которая, как они считали, уже стояла на пороге. У меня время было, а Ахмеду, как каждому восьмилетнему мальчишке, просто хотелось поиграть. Вот только его игрушкой был автомат.

Перед дверью кабинета Дудаева, вдоль длинного коридора, ведущего к президентским покоям, покорно стояли посетители. В тот день президент должен был рассматривать жалобы и просьбы.

Дудаев, в окружении на голову возвышавшихся над ним охранников, быстро вбегал по лестнице на пятый этаж, где находился его кабинет. Никогда не поднимался на лифте. Боялся террористов, покушавшихся на его жизнь. Минуя у дверей кабинета склонившихся в поклоне подданных, милостиво улыбался, пожимал протянутые ладони. Черные, коротко подстриженные усики, ледяной, насквозь пронизывающий взгляд, каменное лицо, длинное, застегнутое до шеи кожаное пальто, черная шляпа, повязанная белой лентой. Если бы он вдруг решил носить и гетры, выглядел бы, ни дать, ни взять, как крестный отец итальянской мафии из Нью-Йорка или Чикаго времен сухого закона.

Он давно уже не надевал генеральский мундир. Старался не носить его, чтобы не вызывать у людей ассоциаций с военной диктатурой. И так, достаточно было ему надеть такие популярные на Кавказе темные солнечные очки, как его противники начинали сравнивать его с южноамериканскими полковниками и генералами, военными диктаторами. Но при всем том, не расставался с пистолетом, который носил в кобуре подмышкой.

Не избавился он и от армейских привычек. Не разговаривал, а отдавал приказы, не отвечал на вопросы, а рапортовал. Выстреливал короткими, простыми предложениями. Подлежащее, сказуемое, дополнение. Точка. Продолжал командовать.

Во время российской войны в Афганистане он руководил ковровыми бомбардировками пуштунских и таджикских сел, а до того, как стать чеченским президентом, четыре года командовал отрядом стратегических бомбардировщиков в Тарту, в Эстонии. В случае начала третьей мировой войны самолеты Дудаева должны были забросать Европу атомными бомбами.

Любовь к пилотированию самолетов осталась у него до конца жизни. Будучи президентом, не раз садился за штурвал своего небольшого самолета и, никого не информируя, включая хозяев, застигал их врасплох, приземляясь без предупреждения в их столицах. Таким способом он посетил Вильнюс, Баку и Ереван, Бейрут и Амман.

Он был первым чеченцем, который в российской армии дослужился до звания генерала. Чеченских горцев, как извечных бунтарей и людей ненадежных, в армии не продвигали, старались их вытеснить. Замалчивали их боевые заслуги, не брали на парады

победителей.

В армию их призывали, но допускали максимум до младших офицерских чинов. Другое дело, что каждый офицер в российской армии мечтал, чтобы в своем подразделении иметь хоть несколько сержантов чеченцев. Сами они, правда, неохотно гнули спину перед начальством, зато своим присутствием умудрялись навести порядок и дисциплину в самом худшем, самом разболтанном подразделении.

Влюбленные в военную службу и мундиры, чеченцы очень переживали, что во всей российской армии никто из них не дослужился до чина генерала. Это было тем более обидно, что своих генералов имели почти все их соседи с Кавказа. Когда пришла весть о том, что Дудаев стал генералом, Чечня просто взорвалась безумным ликованием.

Честно говоря, его мало кто знал, немногие о нем слышали, и никто не мог практически ничего о нем рассказать. Всю свою взрослую жизнь он провел вдали от гор, в России, в Сибири, на Украине и на Балтике, в жены себе взял россиянку Аллу, дочь офицера, говорили, еврейку. Жил, как все россияне, пропитался их обычаями и культурой, вступил в коммунистическую партию, думал как они, чувствовал как они, лучше говорил на выученном русском, чем на родном чеченском языке.

Ему прочили карьеру в армии, но он все бросил, когда чеченцы попросили его взять их под свое покровительство. Предложение было для него неожиданным. На Конгресс Чеченского Народа он ехал в качестве гостя, а не претендента на власть. Ну что ж, такова была воля Аллаха!

Когда дошло до выборов руководящих органов Конгресса, начались распри. Ни одна из фракций, ни один из вечно конкурирующих кланов не хотел уступать. И тогда кто-то предложил Дудаева. Идея понравилась. Генерал был человеком извне, без клановых связей. В Чечне, где все друг с другом знакомы и все обо всех знают, никто даже не мог точно сказать, из какого он рода. Когда, наконец, это удалось установить, немедленно вспыхнули жаркие споры, можно ли его род признать благородным, чистым, и даже — действительно ли это род чеченский или только ингушский.

Так или иначе, в конце концов, все согласились на его кандидатуру. Решили, что незачем ломать копья в открытой борьбе, лучше подождать и потихоньку перетянуть желторотого птенца на свою сторону.

Чеченский Конгресс был одной из десятка организаций, неожиданно возникших благодаря столь же неожиданной свободе, которую слабеющая и смертельно больная великая империя не могла уже подавлять с прежней эффективностью. Как все они организации, чеченский Конгресс стал предъявлять властям, поначалу несмело и неумело, требования открыть правду, восстановить справедливость. Со временем стал требовать все больше и все смелее, не терпя возражений. И, наконец, протянул руку за властью.

После нескольких дней революции, митингов и уличных беспорядков, настроенные против власти жители Грозного вместе с призванными на помощь суровыми горцами с высокогорного Кавказа, выгнали из города секретарей, министров и депутатов. Несколько человек избили; один, увидев врывающуюся в здание толпу, выскочил с четвертого этажа и погиб на месте. Были открыты и разрушены тюрьмы, как это бывает практически во время любой революции. Выпущенные на свободу преступники присоединились к разрушителям старого порядка, а некоторых, которых в других условиях считали бы темными личностями, выдвинули даже в лидеры восстания.

Мало кому до тех пор известного генерала Дудаева объявили героем. Когда были назначены выборы президента, он их выиграл чуть ли не единогласно. Прославился не только на Кавказе, но и во всей России. В Москве, где разыгрывалась важнейшая битва между защитниками старых порядков и адептами новых, верх взяли последние. В чеченском генерале они увидели своего сторонника и друга. Поздравляли его с победой, связывали с ним большие надежды.

Был среди них и земляк Дудаева, чеченец Руслан Хазбулатов, который благодаря врожденной хватке и счастливому стечению обстоятельств, вскарабкался в те

революционные дни на самую вершину кремлевской пирамиды власти. После грузина Сталина (о котором, правда, говорили, что он был грузином только в детстве), Берии и Шеварнадзе ни один другой представитель Кавказа не поднимался в России так высоко.

Хазбулатову это, похоже, вскружило голову, потому что вскоре он попытался забраться еще выше — будучи председателем российского парламента, бросил вызов самому президенту.

С треском проиграл все. Президент разогнал парламент, а в депутатов, окопавшихся в здании парламента, приказал стрелять из пушек и танков. В очередной, разыгравшейся в самом сердце Москвы, битве за власть погибли сотни людей. Хазбулатов капитулировал, его бросили в тюрьму. Он никогда так и не смирился с поражением и разочарованием. Даже по прошествии лет, вспоминая о тех днях, не мог скрыть горечи и сарказма.

— Не думаю, что Дудаев появился случайно. Кому-то он был нужен. Кому? А вы только вспомните то время. Распадается Варшавский Договор, война с Афганистаном проиграна, империя разваливается, а ее великая армия целыми составами вывозится из Европы и Афганистана. Солдаты возвращаются домой, где их никто не ждет, никто ничего не может им предложить, — рассуждал Хазбулатов в своем, выложенном дешевыми деревянными панелями, кабинете университетского профессора экономики. Скалил в усмешке подпорченные зубы и без конца раскуривал трубку, ставшую его опознавательным знаком. — Я убежден, что Дудаева именно тогда придумали российские генералы. Им была позарез нужна «черная дыра», какая-то независимая от Кремля территория, независимый ни от кого коридор, через который они бы могли пропустить хоть часть вывозимого из Европы оружия, чтоб компенсировать свою сломанную жизнь и карьеру. А они ведь везли контрабандой не только оружие, но и все, что под руку попадалось. Нефть, наркотики. Вы помните историю того российского журналиста, Димы Холодова? Искал, копал, расспрашивал, разгребал, как все было на самом деле. И что? Получил пулю в лоб еще до начала войны в Чечне. Да и о войне говорили, что она вспыхнула, потому что генералы, опасаясь, что их поймают за руку, решили уничтожить доказательства своей вины, сжечь город, а с ним и все документы, архивы и свидетелей.

— Дудаев этого не понимал или соглашался на роль марионетки?

— Сначала не понимал, потом, однако, уверовал, что всех перехитрит. Да кто он такой, этот Дудаев? Никакой не политик. Обычный генерал, а их к интеллектуалам не причислишь. Я с ним встретился всего один раз, сразу после того, как он пришел к власти, я поехал в Чечню, сориентироваться, что там и как. Помню только его бегающие глаза. Он пообещал тогда, что не сделает ничего безрассудного. Не успел я уехать, он провозгласил независимость. Я ему позвонил и спрашиваю: «Как же тебе не стыдно? Ты дал слово не только как мужчина, но и как солдат». Извинялся, говорил: «Прости, так как-то вышло».

Из Москвы к Дудаеву слали эмиссаров, чтобы его прошупать, уговорить, соблазнить деньгами, привилегиями, чинами. Включая должность командующего всей российской авиации. Ездил в Грозный земляк генерала Хазбулатов, ездил вице-президент России, другой генерал авиации, Александр Рущкой, ездил известный своей изворотливостью Геннадий Бурбулис. Возвращались, как и Хазбулатов, с уверенностью, что договорились с чеченцем, сторговались.

В Кремле оглянуться не успели, а Дудаев в Грозненском драматическом театре в генеральском мундире и зелено-бело-красном шарфе, присягает на Коране отстаивать чеченскую независимость. Слыханное ли дело?!

В глазах Москвы Дудаев совершил не одно, а два страшных преступления — сверг имперскую администрацию в Грозном, распустил парламент и, не спрашивая согласия Москвы, взял власть. Просто так! Без единого выстрела!

Не то, чтобы Москву так уж беспокоила судьба старой администрации в Чечне. Но, если уж Дудаеву захотелось власти, надо было сначала приехать в Кремль, представиться, поговорить. Тогда — пожалуйста. Но так, по собственной инициативе сменить власть? Это ж чистой воды смутьянство. А что, если по примеру чеченцев, и ингуши, башкиры, татары или

буряты начнут избавляться от прежних властей, выбрасывать за руки — за ноги московских наместников и сами себе выбирать новых предводителей?

Но и это еще не конец. Чеченец вообще отказался подчиняться России и стал подстрекать других кавказских горцев. Распускал вести, что готов обсудить все с Президентом России, готов раскурить трубку мира, но только с самим Президентом Российской Федерации и только как равный с равным.

Ситуация начинала выходить из-под контроля. Уже не на шутку рассерженный Руцкой еще раз поехал на Кавказ. «Я привык называть вещи своими именами. То, что у вас происходит, это просто бандитизм», — сказал он Дудаеву. «Нет, это революция, на которую мы имеем такое же право, как все остальные», — ответил чеченец.

На этот раз Руцкой вернулся в Москву убежденный, что с Дудаевым нечего церемониться, все равно он слова не сдержит, что с чеченцами надо расправиться, пока не поздно, пока Дудаев не договорился с соседями, и не склонил их тому, чтобы вместе встать на тропу войны против России, пока мятеж не растекся по всему Кавказу.

В Грозном приземлились российские десантники с приказом арестовать Дудаева. На аэродроме их встретили тысячи вооруженных чеченцев. Тысячи других собрались на площади Шейха Мансура. На городских заставах появились баррикады.

Дудаев призвал горцев на священную войну против России. Призвал чеченцев во всем мире, чтобы в защиту своей родины, если возникнет такая необходимость, атаковали все, что принадлежит России — посольства, корабли, самолеты, фабрики, атомные электростанции. (В тот же день восемь чеченцев угнали в Анкару российский самолет со ста семьюдесятью восемью пассажирами, направлявшийся из Минеральных Вод в Екатеринбург).

— Каждая чеченская деревня, каждая улица, каждый дом станет неприступной крепостью, башней из камня, — грозил Дудаев. — Пусть никто даже не пробует с нами воевать. У меня пол миллиона людей под ружьем.

Известный своей неудержимой запальчивостью, он нередко перегибал палку. Учитывая, что вся Чечня насчитывала от силы полтора миллиона жителей, в его армии должен был воевать как минимум каждый третий чеченец, включая детей, женщин и стариков.

Дед Ислам Хасанов, родом из горного аула Шатой, тоже присоединился к революции, хоть признавался, что скорее из любопытства, чем из чувства гражданского долга.

— Я там в политику никогда не вмешивался. Но как по радио сказали, чтоб идти на площадь, потому что русские приехали свергать нашего президента, так я подумал — надо идти. А моя баба в крик. Такой старый, и такой дурной! Никуда не пойдешь! До сих пор справлялись без тебя, и теперь управятся! Тихо, старуха, говорю я, это мужское дело. Взял ружье и пошел.

Дед Ислам днем торговал на базаре заграничными сигаретами и жевательной резинкой. Вечерами подрабатывал таксистом. Днем зарабатывал деньги, впаривая мне привезенные контрабандой из Турции сигареты Лаки Страйк (каждый день обещал завтра достать Ротманс), ночью развозил меня на назначенные чеченскими министрами встречи в учреждениях и духанах.

— Здесь на площади было столько народу, не протиснешься, — Ислам показывал площадь рукой через открытое окно машины. Все его звали дедом, хоть ему только что стукнуло пятьдесят. Он и сам не знал, откуда взялось это прозвище. Назвали и все тут. — Говорят, президент выступал, да я его не видел. Просидел на площади всю ночь, хоть погода была паскудная. Утром, как объявили, что русское войско ушло восвояси, я домой вернулся. Так и кончилась эта моя война, — смеется Дед, сверкая комплектом золотых зубов. — Но если надо будет, опять пойду. Нам, чеченцам, война не впервой.

Москва поняла, что дело не шуточное, но поскольку она сама еще не была готова к войне — в Кремле продолжали править два президента, России и империи СССР, и неизвестно пока было, кто из них победит, — отозвала с Кавказа своих десантников. Вместо того, чтобы сломить дерзкого чеченца, унижить его, поставить на место, неудачная атака на

столицу его только раззадорила и возвысила в глазах земляков, которые увидели в нем новое воплощение знаменитых кавказских повстанцев и имамов.

Враги Дудаева, а здесь их всегда хватало, жаловались потом, что Россия из неизвестного генерала сама создала мифического героя. Он сам в этот свой врожденный героизм свято верил. Роль предводителя он пока только изучал, сочтя ее миссией, которую ему вверила судьба.

Страной Дудаев командовал как летным эскадром. Никого не слушал, не принимал никаких советов, подсказок. Лучше чувствовал себя в роли бунтаря, разрушителя, чем строителя, созидателя. Управление страной ему явно не удавалось.

Невысокий, очень худой, с мальчишеской фигурой. Мне запомнились его ладони, нежные и ухоженные, непохожие на сотни других мужских рук, шершавых, угловатых, крепких в пожатии.

Голос мягкий, лицо приятное, с правильными чертами. Загадочная, немного высокомерная улыбка, как у иллюзиониста, который заранее знает, что произойдет, и радуется самой перспективе увидеть изумление на лицах публики.

Умел и любил обольщать. Мог, например, в разгар беседы, ни с того, ни с сего, вставить, что высоко ценит знакомство с журналистами, потому что они люди культурные, вежливо слушают и не задают глупых вопросов. Разговаривая, не отводил глаз, впивался горящим взглядом в своего гостя, как будто хотел проверить искренность его намерений.

Взгляд у Дудаева как у дьявола, а нос как у орла — говорилось о нем в одной из песен.

Для начала я спросил, как он себя чувствует в роли президента страны, которую никто не признает.

— Обойдемся! — пожал он плечами. — В мире царит право сильнейшего, никто других законов не соблюдает. Чем больше страна, тем охотнее она присваивает себе закон джунглей. А если бы нас признали? Что бы изменилось? Чеченский флаг вывесили бы в ООН? ООН — это пережиток. Аллах нас признает, и это главное.

Кстати говоря, он требовал отставки генерального секретаря ООН, которого обвинял во всех войнах в мире, голоде и других несчастьях. А при упоминании высказываемых в его адрес упреков в диктаторских замашках, возмутился, удивленно вздернув брови.

— Недемократичные методы? Западные либералы не имеют права поучать нас, что значит быть демократом, а что — диктатором на Кавказе. Тут нет государств с многовековыми демократическими традициями. Зато есть наследство тоталитарного режима. Впрочем, излишек демократии заканчивается анархией. Кто вам дал право нас осуждать или смеяться над нашими обычаями? Мы, может, натерпелись больше других. Почему же литовцы или латыши могут иметь свое государство, а нам, чеченцам не позволяют этого? Мы добьемся этого права, нравится это кому-то, или нет! И устроим свое государство так, как сочтем нужным.

Что касается будущей войны с Россией, он был полон самых худших предчувствий. «Нападут на нас, будет война», повторял Дудаев, а за ним и вся страна. А может, было наоборот, и это он, прислушиваясь к опасениям земляков, поверил в ее неизбежность? Говорил, что не хочет войны, что готов вести переговоры, но, наверное, сам не верил, что спор между россиянами и чеченцами можно разрешить полюбовно. Его упрямство, обостренное чувство чести, порывистость, приводили к тому, что он с трудом шел на договоренности, уступки. С другой стороны, чтобы с ним сторговаться, избежать войны, хватило бы какого-нибудь эффектного, пустого, но очень пафосного по форме жеста со стороны России. Жеста, на который не мог решиться российский президент Ельцин, потому что ему самому как воздух был нужен такой же, он сам обязательно хотел доказать свою силу и решимость. Лучше всего кому-то более слабому, например чеченцам.

— Все, чего я хотел, это сесть за стол переговоров, как равный с равным, — говорил Дудаев и напоминал, что корона с головы российского президента не свалилась, когда он оказал такое уважение руководителям татар и башкир. Чеченец обещал, что если только Россия согласится на это, он откажется от своего поста, и будет сажать цветочки в саду. —

Россияне должны помнить, что им не найти лучших друзей, чем чеченцы, но они могут сделать нас и своими злейшими врагами. Мы никогда не смирится с порабощением. Такими нас создал Всемогущий. Нас легче убить, чем сломить.

Дудаев пугал россиян тем, что получил в свое распоряжение ракеты, способные нести атомные боеголовки на расстояние пяти тысяч километров, что брошенную в Чечне сотню учебных самолетов «Альбатрос» он готов приспособить к нападению камикадзе на Кремль, что в любую минуту может привести на Кавказ сто пятьдесят тысяч афганских моджахедов, закаленных в боях с россиянами и жаждущих мести.

— Я не хочу этой войны, потому что боюсь, что она может стать началом новой мировой, за которую я не хочу нести ответственность, — говорил Дудаев. — До этого не дойдет, пока я все контролирую.

Земляки генерала боялись, что он так вжился в роль нового кавказского имама, что осознанно провоцировал россиян на войну, чтобы иметь возможность повторить путь величайших героев чеченской истории.

А еще его посещали дурные предчувствия, он весьма критически оценивал ситуацию в мире. Предсказывал жалкий конец цивилизации.

— Весь мир постоянно нарушает законы природы. Все катаклизмы — это как раз результат отхода от природы, морального упадка. А сегодня все к тому идет, — размышлял он. — Вы только посмотрите, Европа собирается легализовать браки педерастов. Это конец, абсолютное дно, полная деградация. Все великие империи гибли, когда человечество отворачивалось от законов природы и морали. Римская империя — последние семь цезарей были гомосексуалистами, негодяями. И все понесли за это наказание. То же самое — Византия, Османская империя — все они пали, как только стали нарушать нормы морали. Сто тысяч раз Землю заливала вода, а океаны пересыхали и становились пустынями. Так будет и теперь.

Советники умоляли его сдерживать ораторский запал, больше следить за тем, что он говорит. Он, например, обещал чеченцам, что пригласит на Кавказ американских нефтяников, и у горцев скоро появятся золотые краны в ваннах, а из них будет течь верблюжье молоко. Собирался построить гигантский трубопровод, который доставлял бы на продажу в пустынную Аравию кристальную, ледяную воду с кавказских гор. И все время подстрекал другие кавказские народы на бунт против России. Предлагал ингушам, осетинам, черкесам создание Горной Республики, включающей весь Кавказ, от Черного моря до Каспийского. «Теперь или никогда. Вместе мы сможем», искушал он соседей. Он уже рассорился с Россией, ему терять было нечего. А им — наоборот. Они сдвигали на лоб бараньи папахи и в задумчивости чесали затылки. Было о чем поразмыслить. С одной стороны жалко упускать случай. Москва слаба и слишком занята своими проблемами, может, и вышло бы что. А с другой — пойдика, попробуй задираться с Россией!

Он обещал сделать Чечню мусульманской республикой, живущей по законам Божиим. С тех пор, как он стал президентом, пятница, а не воскресенье как раньше, была в Чечне выходным днем. О внезапной набожности президента ходили даже анекдоты.

— Мы самые примерные мусульмане в мире, — говорит на одном из митингов восторженный Дудаев. — Мы такие набожные, что молимся три раза в день.

— Нет, Джохар, не три, а пять, — тихо подсказывает вице-президент Зелимхан Яндарбиев, устыдившись, что его шеф, хоть присягу давал на Коране, понятия не имеет, что по мусульманским обрядам верные молятся пять раз в день.

— А кому нравится, тот молится и пять раз в день. Такая у нас свобода, — выкрикивает ничуть не обескураженный Дудаев.

Дудаев живет в сказочном мире, причитали чеченские противники президента. Но жизнь в Чечне все меньше напоминает сказку. Скорее уж, разбойничьи рассказы. Хоть российские солдаты давно уехали домой, по улицам Грозного продолжали расхаживать усатые боевики, обвешанные автоматами, гранатами и португезями. По ночам гремели выстрелы. Иначе и быть не могло, если одним из первых президентских указов Дудаев дал

чеченцам право на ношение оружия. Сам раздавал автоматы, призывая людей на штурм парламента.

Никого уже в Чечне не удивлял вид мужчины с автоматом на плече или пистолетом за поясом. У нас мужчины носят не только брюки, но и автоматы, говаривали чеченцы.

Люди ходили с оружием на работу (если, конечно, она у них была), на вечерние прогулки, на дискотеки. Покажи мне свое оружие, и я скажу, кто ты. Новый автомат Калашникова стоит дорого, а значит, его владелец относится к людям зажиточным. А вот уж наверняка богачом был кто-то, кто имел Кольт или Томсон, или особенно модный Стечкин. Человек без автомата мог быть только бедняком или пацифистом. Так или иначе, уважения не заслуживал.

Больше всего вооруженных мужчин можно было встретить на площади перед домом правительства. Первый кордон состоял из гвардейцев и полицейских. На каждом этаже правительственного здания были посты. Неразговорчивые мужчины в костюмах проверяли документы, расспрашивали, что и как, звонили, куда надо, или просто спали. С пистолетом за поясом приходили на работу министры. С пистолетом не расставался и сам Дудаев.

Он раздал чеченцам оружие, потому что ждал войны с Россией.

— Россияне ударят в самый неожиданный момент. Мы должны быть бдительны, сплочены, готовы, — часто повторял Дудаев.

— Будь бдительным! Враг не спит! Война не кончилась! Пусть люди не жалуются, что в магазинах пусто, что все дорого, везде нищета. Пусть не жалуются, что он руководит страной, как воинской частью, пусть не спрашивают о цене, которую им придется заплатить за свободу. Кто не с нами, тот против нас! Да здравствует революция!

— Мое дело правое, и я готов за него погибнуть, — повторял Дудаев.

Видно, не читал он Оскара Уайльда, написавшего, что не каждое дело свято только потому, что кто-то готов за него умереть. Не знал, наверное, и Вольтера, но, похоже, мог бы согласиться с его максимой о человеке свободном, который идет на небо той дорогой, какая ему нравится.

* * *

С этими чеченцами всегда были одни проблемы.

«Был только один народ, который вообще не поддавался психологии покорности — не отдельные личности, не бунтовщики, а весь народ...» — писал Александр Солженицын в «Архипелаге Гулаг».

Никто из покоренных российской империей народов так ожесточенно не защищал свою свободу. Российские генералы давно подчинили себе кавказских беев, шамхалов, азиатских ханов и даже польских королей, но не могли справиться с чеченскими горцами, которые бесконечно бунтовали, бесконечно сопротивлялись. С точки зрения количества вооруженных выступлений против метрополий, чеченцы, наверняка, входят в первую десятку колоний не только России, но вообще всех империй.

Победив грозные казанское и астраханское ханство, окрепнув и собрав силы, слабая до этого Россия с восторгом любовалась своей новообретенной мощью, а ее цари предались мечтам об империи, какой еще свет не видывал. Первые российские конквистадоры, поначалу несмело, не желая дразнить ни Турцию, ни Персию, появились на Кавказе в шестнадцатом веке. Опасаясь Европы, Москва решила попытать счастья на Юге. Апостолы российского империализма звали очередных царей в поход к южным морям.

«В Европе без войны никто не уступит нам и пяди земли, — писал великий пропагандист колониальных завоеваний генерал Алексей Ермолов, консул Кавказа, российский Писсарро, Кортес и Сесиль Родес в одном лице. — В Азии целые царства лежат у наших стоп». И российские войска двинулись на юг, на завоевания. Путь к величию и мощи преграждал Кавказ.

Россияне поначалу пытались обходить неприветливые, упирающиеся в небо горы, протискиваясь песчаными берегами Каспийского и Черного морей; потом открыли среди скал проезжую дорогу, которую назвали военной. Побеждая в войнах с персидским шахом и турецким султаном, Россия поглотила земли грузин, армян, азербайджанцев, а также дагестанских и кабардинских горцев. Но посреди этой огромной завоеванной территории все еще оставались непокорные, не признающие ничьей власти, земли доблестных чеченцев и черкесов. «Мы победили в войне турецкого султана, а он, признав превосходство московского царя, подарил ему весь Кавказ», — якобы объяснял некий российский генерал черкесским старейшинам. В ответ один из них указал пришельцу парящего высоко в небе орла: «А я тебе дарю эту птицу, — сказал он. — Она твоя, поймай».

Война с горами была только вопросом времени.

Она стала неизбежной еще и потому, что другого способа подчинить их не было. В отличие от кабардинцев, черкесов, аварцев или грузин, у них не было своих властителей, которых обманом, подкупом или угрозами можно было переманить на свою сторону, уговорить или заставить, чтобы они вместе со своими княжествами и всеми своими подданными приняли чужое господство. У чеченцев не было настоящих князей. То есть, они были, но давно, много веков назад; их изгнали, как своих, так и чужих, кумыкских и кабардинских, совершив кавказскую крестьянскую революцию, история которой, обрастая легендами, сохранилась не в документах, а в песнях и преданиях.

Укрывшись в горах в своих аулах и башнях из камня, они жили в свободных сообществах крестьян, пастухов и воинов, не рвущихся в другой мир и не считающихся с окружающей их действительностью, живущих по извечным неписанным законам.

У всех были равные права и одинаковые обязанности, и важнейшей из них была верность роду и племени. У них не было собственной армии (каждый взрослый мужчина был воином), учреждений (им всегда приходилось всего добиваться самим, они не могли ни на кого рассчитывать, отстаивали себя сами перед лицом любой несправедливости, учреждения считали выдумкой людей слабых, которые не могут постоять за себя), судей (все споры разрешали старейшины), полиции и тюрем (от преступлений лучше всего уберегал чир — святой долг кровной мести, который передавался до двенадцатого поколения; на Кавказе говорят, что стреляешь раз, а эхо сто лет повторяет выстрел).

В делах чрезвычайной важности — война, мир, месть, ссоры между родами или споры из-за межи — созывался Мехк-Кхел, великий совет старейшин. В случае вражеских набегов чеченцы оглашали всеобщую военную повинность и выбирали командира. Если он погибал, выбирали нового. Власть всегда была поручением, никогда — наследством. У чеченцев не было властвующего рода, уничтожение которого могло привести к гибели всех. В мирное время у них вообще не было ни правительства, ни предводителей. Нежелание, невозможность кому-то подчиниться, выслушивать чьи-то распоряжения, воевать по приказу отступали только перед стремлением выжить.

Мирное время не было, однако, на самом деле мирным. Чеченские роды боролись друг с другом за право быть самым достойным уважения, самым храбрым, самым гордым. Быть лучше других, вызвать восхищение — главная цель. Покрыть себя позором — страшнейшее проклятие. Поэтому чеченцы вечно соперничали в том, кто храбрее, кто сильнее, быстрее, мудрее и гостеприимнее, вернее всех традициям и этикету, кто дольше помнит и мстит за обиды, нанесенные ему самому или его роду. Даже сражаясь с захватчиками, соперничали между собой, кто проявит в бою больше мужества.

А в умении воевать они упражнялись из поколения в поколение, отражая нескончаемые набеги захватчиков: скифов, македонцев, хазар, монголов, арабов, персов, турков и, наконец, русских. В боях с врагами учились стойкости и храбрости, попутно перенимая от врагов разные подлые хитрости и излишнюю жестокость. Ибо агрессоры в своем стремлении покорить кавказских горцев со средствами не церемонились, прививая им веру в то, что достойная цель оправдывает любые средства.

Ничего удивительного, что даже соседи считали чеченцев разбойниками, людьми

дикими, жестокими, непримиримыми и не щадящими никого, даже самих себя. Их бравада граничила с безумием. Обид не прощали никогда. Предпочитали выйти на бой один против десяти, чем покориться, попасть в неволю и покрыть себя позором. Кому-то, кто оказался трусом, лучше было поискать себе другое место для жизни. У чеченцев никто не подал бы ему руки, на такого не взглянула бы ни одна девушка.

Вечно поглощенные собственными проблемами, они были замкнуты в своем кругу. Мнение своих значило все, мнение чужих — ничего. По отношению к чужим можно было совершать поступки, которые считались преступлением, если касались побратимов. Они не связывали понятие свободы с обязанностями или ответственностью, для них свобода была правом делать, что хочешь. В этом своеобразно толкуемом военном эгалитаризме их дополнительно укрепляла мусульманская вера, которая учит, что нет рабов и властелинов, что все равны перед Создателем, и никакой верный не может быть ничьим подданным, а тот, кто примет мученическую смерть в бою, попадет в рай, который кроется в тени сабли. Даже их пастыри, имамы, испытывали огромные трудности в поддержании дисциплины и послушания.

Россиянам, для которых иерархия, власть и подчинение были естественной средой обитания, это сопротивление чеченцев какой бы то ни было подвластности, эта граничащая с безумием непокорность представлялись непонятными, дикими, варварскими. Они пугали, побуждали к уничтожению, оправдывали самые страшные преступления.

Российские цари, один за другим, как зачарованные, погрязали в кавказских войнах, пытаясь сломить дерзких горцев, потому что само существование чеченцев считали угрожающим вызовом государству. Им не давало покоя то, что хоть владычество России охватывало половину Азии и четверть Европы, в империи продолжал существовать этот островок мятежников. Казалось, для российских царей покорение Кавказа и кровь, пролитая ради укрощения тамошних горцев, были своего рода помазанием на власть.

«Терпеть не могу этих каналий, имя, несомненно, заслуженное здешними горскими племенами, осмелившимися противостоять власти Светлейшего Государя», — писал с Кавказа приятелю Ермолов, для которого порядок был идентичен прогрессу.

Уже в начале двадцатого века, когда в России шла кровавая гражданская война, командующий «белой армией» генерал Антон Деникин с непонятным упорством повторял: «Если я не возьму Кавказ, не возьму Россию». И вместо того, чтобы воевать с красными, идти на столицу, Петроград увяз на Кавказе, губя армию и с треском проигрывая всю компанию.

По России прокатывались вихри событий, революции, войны, бунты и дворцовые заговоры, а цари, не считаясь ни с чем, боролись за Кавказ, пуская на ветер четверть государственной казны, держа в горах многотысячную армию. Один из хроникеров того времени писал, что Кавказ считался диким, непонятным краем, княжеством тьмы, куда шли армия за армией, и откуда никто не возвращался прежним.

Отчаянная, почти самоубийственная привязанность чеченцев к анархической свободе, их индивидуализм и эгоизм привели к тому, что практически на протяжении всей истории над ними витал призрак истребления. Они не терпели никакого командования, ни чужого, ни своего, родимого. Не соглашались терпеть власть, которую навязывали им чужеземцы, не хотели покорно принимать и свою.

Храбро боролись с агрессорами за свою свободу. Но на войне у них это выходило лучше, чем в мирное время, когда они эту свободу, отвоеванную, уцелевшую, проматывали в смутьянстве и склоках. Они наделяли властью только тех, кто умел воевать и побеждать, но понятия не имел о повседневных трудах правления.

Российский историк Дмитрий Фурман писал, что чеченцы сами стали причиной своих бед и собственным проклятием. Их недостатки были прямым продолжением их же достоинств. Одни и те же черты делали их страшными для врагов и для них самих. Борьба за свободу была для них борьбой за выживание. Не желая подчиняться, принимали бой, воюя — навлекали на себя погибель. «Все превращалось в собственную противоположность.

Фантастические победы предвещали неизбежную катастрофу».

А Лев Толстой, который, как царский офицер, тоже воевал с чеченцами, говорил, что Кавказ — странный край, где война и свобода, два абсолютно противоположные, казалось бы, понятия сливаются воедино.

Пока бледнолицые и светловолосые пришельцы из России только путешествовали по землям чеченских горцев, не вступая с ними в споры и предлагая дружбу, в горных ущельях и степных предгорьях царил мир. Война вспыхивала тогда, когда россияне начинали навязывать горцам свои законы и порядки. Поводом для первых вооруженных столкновений стали пастбища на берегах рек, которые русские поселенцы отбирали у чеченцев под свои станицы; налоги, которые они пытались собирать с горцев, принудительные работы на строительстве дорог, мостов и крепостей, возводимых по берегам рек, законы, запрещающие чеченцам нападать на купеческие караваны и похищать людей ради выкупа, а также кровавые российские карательные экспедиции в чеченские аулы.

Цели россиян казались самыми благородными — они хотели установить закон и порядок, основать школы, положить конец кровной мести и разбоям. Дело только в том, что все эти блага они собирались навязать силой, осчастливить дикие горские племена, предварительно заставляя их покориться. «Выбирайте: покорность или ужасное истребление», приказывал чеченцам генерал Ермолов, считавшийся в царской столице человеком прогрессивным, другом декабристов, российским Бонапартом. Он любил повторять, что, как человек рождается в крови и мучениях, так железом и кровью создаются мощные державы. Потом российские генералы объясняли, что заплачена уже слишком высокая цена, слишком много пролито крови, слишком много костей российских солдат отбеливают ветры и солнце в горах, чтобы забыть о Кавказе.

Ермолов выбрал жестокость своим любимым и самым эффективным оружием. «Я желаю, чтобы мое имя будило в туземцах ужас, и было равнозначно смертному приговору», — объяснял он своим офицерам, а чеченцев предостерегал: «Малейшее непослушание, одно вооруженное нападение, и я прикажу сравнять ваши аулы с землей, ваших мужчин вырезать с корнем и перевешать, а женщин и детей продать в рабство».

Ермолов приказывал своим войскам бороться с чеченцами огнем и мечом, захватывать их пастбища и стада, уничтожать посевы, пока «голод не достигнет всех и не заставит покориться», вырубать лесные заросли вдоль дорог, соединяющих русские фактории и крепости, чтобы лишить чеченцев укрытия и возможности устраивать засады. С тех пор для отправленных на Кавказ солдат рубка лесов стала повседневной частью службы.

Чего же достиг Ермолов, которого чеченцы прозвали Ер-мулла? Читая российскую литературу и исторические труды, можно было бы подумать, что он победил, что ему удалось покорить Кавказ. Нет ничего более обманчивого — предостерегает Дмитрий Фурманов. Жестокость Ермолова и его упорное стремление переделать Кавказ по образу и подобию Европы, которую он избрал своим идеалом, окончательно отвратили чеченцев от России, усилили сопротивление, объединили их, толкнули в объятия религиозного фанатизма и священной войны. Даже те, кто до сих пор жил плодами земли, бежали в горы, и их ремеслом стала война. Разбитые российскими войсками, изгнанные из своих аулов и долин, чеченцы убегали в горы, прятались в каменных башнях, скрытых в неприступных скалистых расщелинах, взятие которых унесло бы жизни тысяч солдат. И тут же начинали нападать на российские войска с тыла, как волки, кусали, рвали, проливали кровь, вынуждали к отступлению.

Ермолов хотел завоевать Кавказ и навсегда изменить его. Увы, он не предвидел, насколько Кавказ изменит его самого и всю его жизнь. На сопротивление чеченцев отвечал еще большим насилием и привычной ненавистью, которая сквозила даже в его официальных рапортах, полных проклятий, оскорблений и непристойностей в адрес горцев. Только отозванный с Кавказа с горечью писал он в конце жизни, что задача покорения Кавказа была невыполнимой. «Я уверен, они бы покорились, если бы только знали, как это делается».

Первая серьезная стычка между русскими и чеченцами произошла в начале

восемнадцатого века, когда джигиты под командованием некоего Айдемира разгромили российский отряд полковника Коха. Потом чеченцы вставали на сторону каждого, кто называл себя врагом России и шел на нее войной, — турок, персов и даже англичан, чьи эмиссары бродили по Кавказу с мешками золота и подстрекали горцев против царя, а горцы еще долго рассказывали потомкам о справедливой английской королеве, которая придет к ним на выручку.

Под конец восемнадцатого века чеченцы подняли первое крупное восстание. Взались за оружие, не желая больше терпеть навязанных русскими ограничений и участвовавших карательных экспедиций. Они совершали наезды далеко за Терек, устанавливая свою границу между миром непрошенных славянских пришельцев и миром горцев. Во главе восстания встал Ушурма из деревни Алды, объявивший себя шейхом и взявший имя Мансур. Россиянам потребовалось целых шесть лет, чтобы подавить восстание, затопившее весь Кавказ. Предводитель бунта Мансур был схвачен и выслан на Соловецкие острова, где вскоре умер.

Потом пришло время Бейбулата, дезертира из царской армии, и трех имамов — аварцев из дагестанского аула Гюмры: Кази-Моххамеда, Хамзат-бека и Шамиля. Они возглавили великое восстание, продолжавшееся половину девятнадцатого столетия. Это не был рядовой мятеж или месть россиянам, это была настоящая революция, которую к тому же объявили священной войной. Имамы боролись не только за свободу, но и за справедливость. Мечтали перевернуть мир, свергнуть господ и освободить поработанных, обычаи и традиции заменить законами Корана, а на всем Кавказе создать государство Бога, имамат.

Кази-Маххамед, захватив Аварию, Дербент и Кизляр, погиб, окруженный россиянами в ауле Ахульго. Хамзат-бек, не успевший прийти ему на помощь, уже став имамом, был заколот кинжалами в мечети предателем Хаджи Муратом и его братом Османом. И только под предводительством третьего имама, Шамиля, восстание стремительно набрало силу и разрослось.

Судьба одарила Шамиля необычайной мудростью, силой и магией обаяния. Его сравнивали с современными ему великими революционерами и провидцами — Джузеппе Гарибальди, Лайошем Кошутом, Симоном Боливаром, а еще и с Кромвелем, и Скандербергом.

Он создал первое и единственное кавказское государство с правительством, наибями-воеводами, администрацией, судами, налогами и настоящей армией, состоявшей из пехоты, конницы и артиллерии. Отменил привилегии тех, кто считал, что власть принадлежит им благодаря благородному происхождению. Дал свободу и землю крестьянам и невольникам — сделал их гражданами.

В пору расцвета государство Шамиля насчитывало почти миллион душ населения и охватывало земли аварцев и почти весь горный Дагестан, Чечню, часть Ингушетии и кумыкских степей и даже расположенные с южной, грузинской стороны гор, Хевсурию и Тушетию. Сторонники и ученики были у Шамиля и среди живущих на западе Кавказа кабардинцев, черкесов, адыгейцев и абхазов. Имам пробовал даже совершать набеги на Грузию, тем самым вынудив Россию держать в тифлисском гарнизоне значительные силы, которые такгодились бы царю на войне с Турцией.

Война Шамиля распаляла воображение и будила безумные надежды даже у революционеров и бунтарей в покоренной части Европы. В его повстанческие войска вступали участники разгромленных восстаний в Польше и Венгрии, русские революционеры, обреченные на изгнание за бунт против царя. Никогда ни до, ни после этого Кавказ так не интересовал и не волновал Европу, как во времена восстания имама Шамиля.

Силы, однако, были слишком неравны, и диспропорция росла с каждым годом длящейся уже четверть века войны. Военные пожары разоряли страну, чеченское население уменьшилось в половину. Сотни тысяч чеченцев бежали за границу, в Турцию и Аравию (в Турции сейчас проживает почти пять миллионов потомков кавказских беженцев). Дальнейшая борьба грозила полным уничтожением народа, да народ и сам был сыт войной

по горло. Не хотели больше воевать и революционеры, обросшие жирком и из благородных борцов за благо народа превратившиеся в новых угнетателей, озабоченных только собственным обогащением.

А русские со временем научились сражаться в горах. Научились также понимать горцев. Князь Александр Барятинский, новый царский наместник на Кавказе, отказался от карательных экспедиций и ермоловской методики огня и меча. Не жег аулы, а помогал восстанавливать те, которые уходили из-под власти Шамиля, тем самым опровергая его угрозы, что даже сложивших оружие чеченцев ждет со стороны России страшная месть. Измученные горцы не видели больше повода держаться имама, правление которого вместо обещанного царства справедливости принесло им только страдания и новую диктатуру. Жизнь победила революцию.

Покинутый всеми, загнанный в аул Гуниб, окруженный со всех сторон намного превосходящей его силы армией, Шамиль сложил оружие и сдался русским.

Он начинал это восстание безрассудно, не считаясь с реальностью. Закончил войну, подсчитывая ее последствия и сгибаясь под бременем ответственности.

Он отказал себе даже в героической смерти, его последний редут не пришлось брать штурмом. Не бросился грудью на русские пушки, чтобы погибнуть и спасти бессмертную славу джигита от позора неволи. Рассудил, что если за это должны будут заплатить жизнью оставшиеся в ауле женщины, дети и старики, будет честнее положить свою славу на алтарь долга перед соплеменниками.

Сдаваясь в плен, он ожидал унижений и казни, но вышло по-другому. Вместо того, чтобы заковать Шамиля в кандалы и бросить в темницу, русские встретили его с высочайшими почестями, как достойного противника. У него даже не отобрали саблю, а царь разрешил ему отправиться в последний поход, совершая паломничество в Мекку. Он умер и был похоронен на святой земле на кладбище Райская Долина.

Милости, неожиданно посыпавшиеся на Шамиля в неволе, оказались для него худшим испытанием, чем самая страшная кара. Они будили сомнения, не позволяли спокойно сомкнуть очи. После его смерти жизнь на Кавказе потекла по старому руслу. Так же как Ермолов, Шамиль хотел перевернуть Кавказ с ног на голову, а в результате Кавказ сам его сломил.

А Кавказ продолжал бурлить. Россияне подавляли одно восстание за другим, а через несколько лет разгоралось новое. Не помогали ни кровавые пацификации чеченских сел, ни погромы, депортации и экспроприации крестьян, земли которых отдавали славянским поселенцам. Не прекращались нападения на гарнизоны и казацкие станицы, похищения российских офицеров. Сигналом к новому бунту становилась каждая из войн, которую Россия вела с Турцией.

Восстание поднял и возглавил его даже великий шейх-суфист Кунта-хаджи, который до сих пор не брал в руки оружия, выступал против имама Шамиля и заклинал чеченцев не дать себя спровоцировать на войну с русскими, ибо это стало бы их концом. «Братья, перестаньте воевать. Разве вы не видите, что нас провоцируют на войну? Они хотят нас таким способом уничтожить» — поучал Кунта-хаджи, когда Шамиль призывал чеченцев идти с ним на священную войну. «Неужели вы действительно верите, что нам помогут какие-то воображаемые турецкие султаны и английские королевы? Научитесь жить с россиянами как добрые соседи. Даже если они будут заставлять вас идти в их храмы, в церкви, — идите туда, это только стены. Важно в глубине души оставаться мусульманином. Боритесь с Россией только тогда, когда она попытается отнять у вас ваши обычаи и язык, потребует, чтобы вы отреклись от самих себя. Только тогда восстаньте, бейтесь, и лучше вам всем до одного погибнуть, чем покориться».

Россияне схватили Кунту-хаджи и тоже сослали на Соловецкие острова, где он и погиб. Однако не все на Кавказе верили в смерть праведного мужа. Многие чеченцы считают, что Кунта-хаджи никогда не умирал и до сих пор бродит по вершинам и перевалам Кавказа, как те, которых называли абреками, появившиеся в горах после падения восстания Кунты-хаджи.

Это были дикие, вольные разбойники, они не признавали и не подчинялись никакой власти, грабили богачей, бесчестно наживших свои богатства, нападали на русских купцов и военных.

Кровь затопила Кавказ, когда в начале двадцатого века в России вспыхнула гражданская война, а в Петрограде свергли царя. Чеченцы, ненавидевшие царские войска и чиновников, вступили в союз с революционерами, большевиками, убившими царя. Зато они ожесточенно сражались с казаками и недобитой царской армией под командованием генерала Деникина.

Белых они знали, знали, что от них не приходится ждать ничего хорошего. Красные были новыми, обещали рай. Ленин заверял, что после победы революции они смогут, наконец, жить, как захотят, что они имеют на это право. И хоть сам не верил в Бога, соглашался даже, чтоб они жили по законам Божьим. Не то же ли самое обещал им потом российский президент Ельцин, когда ему нужна была их поддержка в борьбе за Кремль, когда он призывал чеченцев брать столько свободы, сколько они смогут удержать?

Они позволили себя соблазнить, попались в расставленную ловушку. Напрасно ждали награды за помощь в гражданской войне. После победы красные и не подумали исполнить свои обещания. Комиссары в кожаных куртках сменили царских чиновников. В остальном все шло по-старому. В Сибирь отправились новые эшелоны с чеченскими ссыльными — муллами и партизанскими командирами. И чеченцы снова начали бунтовать.

Еще не закончилась война между белыми и красными, а на Кавказе уже провозгласили независимую горскую республику, отправили послов в Париж, Берлин, Варшаву и Стамбул. Она, однако, быстро распалась в результате братоубийственных распрей, подозрений, давних обид, еще до того, как ее успела разгромить Россия. Никто не хотел идти в подчинение самым многочисленным и сильным на Кавказе чеченцам, так же, как черкесские князьки не желали в свое время слушать имама Шамиля, а через много лет кавказские президенты — Джохара Дудаева.

Не обескураженный падением республики горцев, о создании собственного эмирата объявил известный своим благочестием шейх Узум-хаджи, а когда его армия была разбита русскими, четвертым имамом провозгласил себя Наджмуддин, воевавший до тех пор, пока не попал в плен к россиянам и не был расстрелян.

Чеченцы не закончили еще оплакивать эмира и имама, когда новые бунты против россиян подняли их недавние союзники, чеченские коммунисты. Горько обманутые, отчаявшиеся и разгневанные, они взялись за оружие, чтобы смыть позор, потому что обещанный большевиками рай оказался истым пеклом.

Красноармейцы сгоняли их с гор в степи, что бы постоянно держать на глазах этих вечных бунтарей. Отбирали пастбища и уголья, реквизировали стада и урожаи, закрывали мечети, запрещали молиться и даже хоронить покойных по мусульманским обычаям. На руководящие посты в учреждениях ставили славян из России, Украины и Белоруссии, чеченским детям приказывали учиться в школах по-русски. Чекисты колотили по ночам в двери; десятки тысяч людей попали в тюрьмы или пропали без вести. Расстреливали мулл и даже тех, кто просто знал арабский язык и мог читать Коран. Наконец, безудержные чистки добрались и до самих чеченских коммунистов.

В мире шла уже вторая мировая война, Россия воевала с Финляндией, а потом с Германией, когда чеченцы, под предводительством коммуниста Хасана Исраилова и бывшего прокурора Шатоя, Маирбека Шарипова, создали в горах повстанческое правительство, предлагавшего дружбу каждому, кто освободит чеченцев из российской неволи.

Они не очень понимали, что такое фашизм, и из-за чего воюют европейские державы. Зато прекрасно отдавали себе отчет в том, что дальнейшее пребывание под властью России грозит им гибелью. А потому желали успехов каждому, кто бы мог Россию победить. Как индусы и персы желали поражения англичанам, арабы и африканцы — французам, а корейцы и китайцы — японцам. В походе на Баку, к сказочно богатым залежам нефти

Апшерона, немецкие войска были остановлены на Волге. И хоть поставили свои флаги на Эльбрусе, самой высокой вершине Кавказа, заняли Моздок, расположенный почти у самого Терека, но до чеченского края не дошли. На Волге потерпели фиаско.

Россияне окрестили чеченцев подлыми предателями. Они никогда не понимали этих их бесконечных бунтов. Считалось, что раз они захватили чеченские земли и доказали свое превосходство, вопрос снят раз и навсегда, и горцы должны теперь считать Россию своей родиной и лояльно служить ей. Кажется, они на самом деле верили, что после ста лет жесточайших войн, их ненавистные враги станут вдруг верными союзниками.

Несколько отозванных с фронта дивизий пехоты при поддержке авиации раздавили мятеж горцев. Потом войска окружили аулы. Была середина морозной, снежной зимы сорок четвертого. Людей сгоняли на площадь и гнали на ближайшую железнодорожную станцию. Там их грузили в вагоны для перевозки скота. Тех, кто сопротивлялся, расстреливали на месте, сжигали живьем, как в хуторе Чайбах, или топили подо льдом, сковавшим горные озера. В недоступные районы высоко в горы отправляли самолеты, ровнявшие с землей дома в аулах.

И снова, как во время кавказской войны, была истреблена половина чеченского народа. Умирали от отчаяния, голода, жажды, болезней и холодов, истощенные полуторамесячным путешествием в самой середине морозной зимы. Больше всего изгнанников погибло именно в ту первую зиму, когда их высадили из эшелонов посреди оцепеневшей от мороза степи. Пребывание на новом месте начали с устройства кладбищ.

Деду Исламу, который во время моей первой поездки в Чечню возил меня по Грозному на своей волге и травил контрабандными турецкими сигаретами Лаки Страйк, было тогда четыре года, так что я думаю, времена изгнания он знал больше по рассказам, чем по собственным воспоминаниям. Правда, он в этом не признался бы ни мне, ни самому себе. С годами он все больше верил, что видел собственными глазами то, о чем мог в лучшем случае слышать.

— В поезде умерли три мои брата и сестра. А вскоре после этого, уже в Казахстане, милиция забрала моего отца. Мы его никогда больше не видели.

Больше всего я любил беседовать с дедом Исламом, когда начинало смеркаться, и он неторопливо разбирал свой лоток.

— Жили мы в этом Казахстане в чистой пустыне, все время дул ветер, везде песок. Нам, чеченцам, запрещено было уходить из лагеря без разрешения властей. Если поймут дальше, чем за шесть километров от бараков, накажут. Будь то ребенок, женщина, молодой или старый, без разницы. Держали нас там как скотину.

После двенадцати лет ссылки Россия позволила чеченцам вернуться на Кавказ. Изгнанники возвращались в горы, везя с собой прах близких, умерших на чужбине.

— Выгнать целый народ — все равно, что вырвать растение с корнем. На другой земле может не прижиться. И даже если ты его посадишь на старое место, тоже может завянуть, — говорил дед Ислам, пакуя в багажник коробки с мятной жевательной резинкой и турецкими сигаретами. — Многие наши старики не пережили того изгнания. Вымерли. И унесли с собой в могилу всю мудрость. Вот и имеем теперь, что видишь. Молодые не уважают старших, не уважают традиций, не знают языка. Тьфу! Разве после всех этих войн, захватов, погромов и ссылок мы могли бы жить рядом с русскими и чувствовать себя в безопасности? Почему от евреев никто не требовал, чтобы после истребления они стали жить в Германии? Почему никто не удивляется армянам, что они, чудом избежав гибели, не желают жить вместе с турками?

Через много лет российские власти специальным декретом простили чеченцам вину, за которую они были изгнаны с Кавказа. В России, однако, укоренилось убеждение, что чеченцы, да и другие кавказские горцы, — убийцы, разбойники, предатели и друзья Гитлера, верить им нельзя.

Войны, ссылки, угроза уничтожения и постоянно окружающая их враждебность и подозрительность спасли, однако, чеченцев, не позволили им забыть, кто они, не позволили

превратить их в выведенного в большевистских лабораториях homo sovieticus.

Отторгнутые, лишённые доступа к житейским благам и чинам, лишённые возможности развития, они могли положиться только на свой старый мир традиций и извечных порядков, на свои башни из камня.

Но даже во времена ссылок, в почти обезлюдивших горах продолжали сражаться чеченские партизаны. Нападали на милицейские посты, жгли учреждения. Отряд деревенского учителя Хасухи Магомадова, воевал в течение тридцати лет и был разгромлен только в семьдесят седьмом году. Потом около пятнадцати лет все было спокойно. Потом появился Дудаев.

Когда я снова приехал в Грозный, город гудел от слухов. Ночью кто-то опять пытался застрелить президента. В чайных и парках мужчины разговаривали только о покушении.

«Это должно быть Беслан, — качали они головами. — Да, это наверняка он, кто ж еще».

Беслан Гантемиров был мэром чеченской столицы. Когда-то держался Дудаева. Однако потом их пути разошлись, а незадолго до покушения Беслан заявил, что не признает власти президента. Дудаев послал к горсовету войска. Взбунтовавшийся мэр был ранен в перестрелке и вынужден бежать из города на другой берег Терека. Туда власть президента уже не распространялась. С тех пор в городе его никто не видел. Но люди знали, что Беслан вернется.

Разозленный на изменника Джохар, заявил по телевидению, что весь род Беслана — трусы и рабы. Весной солдаты Дудаева застрелили двух двоюродных братьев Беслана. Над их могилой мэр поклялся отомстить.

Таких вещей не прощают. Таков закон гор. Поэтому люди знали, что Беслан вернется.

О том, что кабинеты Дудаева находятся на пятом этаже неказистого, серого здания, гордо именуемого президентским дворцом, в Грозном знали все. Свет в окнах горел там день и ночь. Однако никогда не было точно известно, то ли президент сидит над бумагами до поздней ночи, то ли его гвардейцы смотрят телевизор и играют в карты во время дежурства. А может, это горел свет в небольшом гимнастическом зале, где Дудаев два раза в неделю в полночь разминался, медитировал или тренировал приемы карате.

Нападавшие, видимо, знали, что той ночью Дудаев решил допоздна поработать. У Беслана в городе осталось много влиятельных друзей в Министерстве безопасности, в полиции и даже в президентской гвардии.

Ночные перестрелки в Грозном никого уже давно не удивляли. Они стали чем-то привычным, как ночной лай собак. Поэтому, когда в третьем часу утра со стороны площади Свободы долетели автоматные очереди, никто на них не обратил внимания. Но когда рядом с президентским дворцом ухнул гранатомет, даже старики поняли, что на этот раз это не полуночные забавы подвыпивших гвардейцев.

Террористы подъехали к площади на старом «Опеле» без регистрационных номеров. Выскочили из машины и из-за приоткрытых дверей открыли огонь по окнам на пятом этаже. Почти одновременно отозвался гранатомет с другого берега реки. Снаряд пролетел над президентским дворцом и взорвался во дворе одного из жилых домов.

Через несколько секунд стрелявшие вскочили в машину и помчались по главной, абсолютно пустой в это время, улице. Проезжая мимо Министерства безопасности, выпустили по окнам еще несколько автоматных очередей. И только их и видели.

У чеченцев есть поговорка, что достаточно пастуху повернуть стадо, и овцы, бывшие последними, станут первыми.

Чеченская революция, как любая другая, открыла для всех политическую сцену, ранее недоступную, присвоенную горсткой людей. В политике, годами запрещенной, все вдруг стало чудесным образом возможно. Революция, во главе которой встал генерал Дудаев, вынесла на вершину пирамиды власти множество людей, прозябавших до сих пор у ее подножья. Многие оказались людьми случайными, недостойными, а нередко обычными мошенниками, аферистами, темными личностями. Их неожиданное возвышение было ценой,

которую чеченцам пришлось заплатить за свободу.

Первым революционным Премьер-министром стал торгаш с базара, почуявший приближающуюся эпоху свободного рынка. Дудаев его вскоре выгнал за воровство миллионов долларов из государственной казны.

Беслан Гантемиров был до революции просто одним из безликой массы сержантов дорожной милиции, вымогающих взятки у водителей. Среди своих товарищей по счастью и несчастью Гантемиров выделялся тем, что мундиром пользовался еще и для того, чтобы проще было воровать машины и продавать их в Ставрополе и Краснодаре. Кстати, чеченская дорожная автоинспекция выдвинула из своих рядов неожиданно много революционеров. Один из них позже стал вице-президентом страны, другой — самым известным на Кавказе торговцем пленниками. Гантемиров, по кличке Бес, прославился во время революции тем, что одним из первых взял под свое командование ополчение горцев и оказал сопротивление российским десантникам, брошенным в Грозный на расправу с Дудаевым. Беслан стал любимцем генерала, который называл его сыном и доверил пост мэра Грозного. Отобрал он этот пост у алчного фаворита, когда тот пытался прибрать к рукам чеченскую нефтехимию и буровые. Обиженный Гантемиров перешел в лагерь оппозиции на другом берегу Терека.

В этом странном сборище затмевал всех стриженный «под ежика» великан Руслан Лабазанов. Революция застала его в грозненской тюрьме, где он отбывал срок за убийство. Позже он неохотно рассказывал, что действительно «заставил навсегда замолчать одного такого в Ростове». Говорят, не одного, а троих, к тому же милиционеров. Впрочем, великан (почти два метра роста, больше ста двадцати килограммов веса) большинство своих проблем всегда решал силой, которую начал тренировать еще в армии, где занимался боксом, борьбой и восточными боевыми искусствами. Достиг такого совершенства, что после выхода в запас, получил разряд мастера и стал лидером адептов искусства каратэ на всей Кубани. Неизвестно, то ли неумный темперамент, то ли скромная тренерская зарплата привели к тому, что в свободное от работы в спортивном зале время Руслан занимался разбоем.

Узнав о том, что в городе вспыхнула революция, великан Руслан вместе со своим другом Хожей Красавчиком поднял бунт в тюрьме. Во главе полутысячи заключенных взял тюрьму под свой контроль и попросился на службу к Джохару Дудаеву. Великан генералу понравился, он произвел его в капитаны президентской гвардии, а затем назначил шефом личной охраны и советником по делам борьбы с преступностью. Позже, однако, их пути разошлись. Дудаеву донесли, что придурковатый великан выслуживается перед российскими шпионами. Руслан смертельно обиделся, поклялся отомстить.

Уехал со своими бандитами из Грозного, окопался в родном Аргуне. Основал там политическую партию под названием «Справедливость». Его посещало множество журналистов, потому что Руслан, как хороший хозяин, никого не отпускал без подарка на дорогу, без новой разбойничьей байки.

На вопрос, чем он занимается, Руслан неизменно отвечал: «Помогаю бедным. Отбираю деньги у тех, у кого их слишком много, и раздаю тем, кому они действительно нужны. Можно сказать, граблю награбленное. Многие сегодня зарабатывают нечестным путем. Я восстанавливаю справедливость».

Он и не думал скрывать, что отбирать деньги у богатых приходилось силой. А кто бы отдал их по-доброму? Но он не считал это грабительством. «Грабеж — это когда берешь все себе». А он ведь все отдавал бедным и нуждающимся. Себе оставлял только на содержание разбойничьей армии. Была у него и собственная теория убийств. «Убийства бывают справедливые и несправедливые, — говаривал Руслан, уверяя, что сам совершал только справедливые. — Покажите мне хоть одного человека, которого я убил несправедливо, который сам не заслужил своей смерти».

Он считал себя политиком и утверждал, что Дудаев не должен ссориться с Россией. Вспоминал, что когда-то тонул в Кубани, а его спасла некая Таня из Краснодара, которую он с тех пор отождествлял с Россией. «Весь пляж на меня глазел, и только она одна мне помогла и вытащила из воды мои сто килограммов чеченского тела. Никогда этого не забуду». Руслан

придумал также, что парламент должен состоять из трех палат. Первая предназначалась для дебатов, вторая — для принятия решений, а третья — для критики принятых решений.

В Чечне он вызывал скорее веселье, чем страх. Говорили, что Руслан хоть и вспыльчивый, но в общем доверчивый, эмоциональный и не слишком мудрый силач, которого любой дурак мог переманить на свою сторону и использовать против своих врагов, обдурить. Ходило о нем множество шуток и анекдотов.

Приходит как-то Руслан в богатый дом убить хозяев, отобрать у них богатство и раздать бедным. Приказывает им стать к стене и приготовиться к смерти.

— Скажи мне на прощание, как тебя зовут, чтобы я знал, кого убиваю, — говорит Руслан хозяйке.

— Малика, — отвечает женщина.

У Руслана слезы набегают на глаза, он опускает изготовленный к выстрелу автомат.

— Значит, останешься жить. Так звали мою мать. Не могу я убить кого-то, кто носит такое же имя, как она.

Поворачивается и спрашивает хозяина:

— А тебя как зовут?

— В документах записано Сулейман, но меня все зовут Маликой.

До гибели во дворе собственного дома в последнем бою, Руслан участвовал в бесконечных перестрелках с джигитами Дудаева и получил в них столько ранений, что говорили, врачи не успевают вытаскивать из его тела пули и осколки.

При президентском дворе появились также таинственные личности с мешками золота. Мстительные россияне решили взять чеченцев голодом, прекратили всякую помощь, объявили блокаду. «В такой ситуации, — заявил Дудаев, — нам придется использовать нетипичные способы добычи средств». Чечня всегда была одной из беднейших и одной из самых отсталых провинций российской империи. Россия не видела необходимости строительства чего-то в стране, где постоянно вспыхивали мятежи и прокатывались войны. Нищета должна была стать для чеченцев наукой и карой на непокорность.

Жизнь в нищете, без каких бы то ни было перспектив, произвол московских чиновников привели к тому, что чеченские мужчины брали с собой сыновей и отправлялись в Россию за хлебом насущным. Каждый мальчишка, достигший тринадцати-четырнадцати лет, ехал с отцом на заработки в Поволжье, на Дальний Восток, в Сибирь. Большую часть года в республике оставались только одинокие, напуганные женщины.

Но тем, кто уезжал на заработки, тоже приходилось нелегко. Они получали самую тяжелую и низко оплачиваемую работу, которую не хотели делать русские. Жили в рабочих общежитиях, в атмосфере неприязни. Они были черными, пришлыми, иноверцами, чужаками. И к тому же, имели деньги. Русский заработает на стройке пару рублей и тут же приглашает друзей, празднует за бутылкой, растрогается, забудет все, что было, есть и будет. А чеченцы не гуляли с другими, откладывали деньги, везли их домой.

Враждебность окружения и традиционно крепкие родственные и клановые связи заставили чеченцев держаться вместе, помогать друг другу, охранять друг друга, защищать от милиции и всего, что им угрожало.

Так родилась чеченская мафия, родная сестра корсиканской и сицилийской. Она выросла на нищете, страхе перед смертью и такой неутолимой жажде жизни, что она оправдывала самые страшные подлости и преступления.

Чеченские мафиозные семьи действовали в Москве, Петербурге, Иркутске, но их базой был Кавказ. Тут жили родители и жены чеченских «крестных отцов» и их «бойцов», тут прятались их дети, и подрастало пополнение. Тут скрывались от российской милиции чеченцы, объявленные в розыск. Став президентом свободной Чечни, Дудаев объявил, что не выдаст ни одного, даже самого страшного преступника государству, которое не признает чеченской независимости.

Он сдержал слово. Мало этого, отправил в российские тюрьмы своих людей, переодетых милиционерами и конвоирами; размахивая документами с фальшивыми

печатами, они забирали с собой осужденных чеченцев и растворялись, как в тумане. Таким способом вырвался на свободу из тюрьмы на Амуре Хож-Ахмед Нухаев, глава чеченской мафии в Москве, назначенный позже вице-премьером и шефом контрразведки.

Нухаев, с которым я познакомился в Баку, где, в очередной раз перевоплотившись в банкира и предпринимателя, он строил планы кавказского Общего рынка, кавказской Ганзы, экономического союза городов от Ростова до Ленкорани, от Астрахани до Батуми, слова «мафия» не любил. Предпочитал использовать слово «организация». Чеченская организация, по его словам, возникла не ради того, чтобы обходить законы, наращивать богатство своих членов. Ее заботило благоденствие их горной отчизны. Будучи крестным отцом чеченской мафии в Москве, Нахаев сам обложил себя налогом в пользу республики, подавая пример родственникам и друзьям — Лысому Лече, Старику, Майеру, Слепому Хусаину.

В других странах мафия стремится подчинить себе политиков — министров, депутатов, сенаторов. В Чечне, задыхающейся в тугой петле российской блокады, мафия с благословения Дудаева взяла под контроль всю страну: Министерство нефтяной промышленности, торговли, приватизации, финансов, внутренних и иностранных дел, суды, полицию. Граница между государством и мафией постепенно стирались. Пока, наконец, не размылась настолько, что ее невозможно было уже определить.

Один за другим исчезали институты нормального государства. Закрылись школы, закрылись старые фабрики, которые никого не интересовали. Прекратилась выплата пенсий и даже зарплат. Лишенные работы люди или пополняли армию безработных, или шли в войска мафии. Перестал функционировать транспорт, автобусы и грузовики разворовали. На проезжающие через Чечню поезда начали нападать вооруженные банды.

С тех пор, как Дудаев дал своим гражданам право на ношение оружия, собственную армию имел каждый влиятельный чеченец — крестные отцы мафии, министры, бизнесмены, политики, муллы. Никому ненужные суды и прокуратура были немедленно разогнаны. Личные армии, — а в Чечне их было больше десятка — сами вершили суд. Вступил в силу закон кулака.

Милиционеры перестали выходить из управлений, а если и покидали их, то только затем, чтобы содрать пару рублей с водителей на въезде в город. Они согласились патрулировать улицы только тогда, когда решением родовых старейшин был введен особый закон, гласивший, что на милиционера, применившего оружие против преступника, не распространяется право вендетты.

Закон кровной мести должен был обеспечить биологическое равновесие и безопасность в Чечне. Дудаев запретил гвардейцам стрелять в своих врагов. Ба! Не позволил даже бросать противников в тюрьмы.

— Никто, проливший хоть каплю чеченской крови, не уйдет от сурового наказания. Человек, убивший чеченца, может считать себя живым трупом. Не завтра, так через месяц, через год, через десять лет, в конце концов, его настигнет месть родственников убитого, — объяснял Дудаев. — Зачем мне нужны убийцы в тюрьмах? Там их тоже настигнут мстители. Зачем мне эти трупы?

И, как не странно, поначалу это действительно подействовало! Преступность резко снизилась. Но это мирное сосуществование быстро закончилось. В условиях беззакония люди стали жить по законам криминального мира.

Независимая Чечня становилась государством мафии, черной дырой, в которой исчезали горы грязных денег, мостом, по которому перебрасывались за рубеж нелегальные товары и сырье. Такая ситуация устраивала не только чеченскую, но и все остальные мафии, действующие на территории бывшей империи. В Грозном можно было обстрелять любое дело, не опасаясь полиции и служб безопасности. Следовало только остерегаться конкурентов и платить «налог» в чеченскую казну.

Количество желающих делать бизнес в Чечне постоянно росло, все чаще доходило до конфликтов. Образовывались новые союзы политиков и мафии, возникали новые ориентации. Одни хотели вести дела с Западом, другие — с арабскими странами, а еще

кто-то — с Россией. Главенствовали деньги, а не политика. Первых называли в газетах партией прозападных демократов, вторых — мусульманскими радикалами, третьих — российскими лоялистами.

Кремль все туже сжимал петлю блокады, а в Чечню, благодаря предприимчивости «братков», текли сотни миллионов рублей. В независимой Эстонии после введения собственной валюты остались миллиарды ненужных рублей, которые российское правительство должно было выкупить. Москва торговалась с эстонцами, а те тоннами (сто двадцать долларов за тонну) продавали обесценившиеся бумажные рубли неожиданно появившимся покупателям из Чечни. Другие чеченские посланцы обращались в Центральный банк Москвы с фальшивыми авизо, по которым подкупленные российские банкиры выплачивали им очередные миллиарды рублей.

Экономику подменил черный рынок и контрабанда, а торговля полностью перенеслась на базары, куда за покупками съезжался не только весь Кавказ, но и половина России. Торговля шла круглосуточно, в будни и праздники, купить можно было дословно все. На базаре, в этом море нищеты, вдруг выросли оазисы богатства, великолепные дворцы, отгороженные от города высоченными стенами из красного кирпича. Их хозяева лишь изредка покидали свои крепости, а если и появлялись в городе, то разглядывали его из-за тонированных стекол дорогих машин.

С каждым месяцем правления Дудаева росла армия его врагов. Одни уходили от него обиженные, потому что рассматривали власть исключительно как трофей, причитающийся победителям, какими они себя считали. Другие, лишённые отваги и фантазии, считали генерала опасным безумцем, от которого следует избавиться, пока он не накликал беды на страну. Еще кто-то просто разочаровался в нем самом и олицетворяемой им свободе.

Они выступали против него не только из-за несогласия с ним, а скорее потому, что знали — слишком долгое пребывание вдали от власти, вне игры обесценит знакомство и дружбу с ними, их покинут и забудут. Таким образом, борьба с генералом была для них, в сущности, борьбой за существование, делом чести, а остальное было неважно.

Зато ему все еще верили бедные крестьяне с гор, которые съезжались в столицу по первому его зову, готовые за него дать себя порубить на куски и, главное, разорвать в клочья каждого, кого он назвал врагом. А он приглашал старейшин, советовался с мужчинами в бараньих папах, выслушивал их мнение. Особенно с тех пор, как он разогнал оппозиционный парламент, уже второй всего за два года своего правления.

Все конфликты между генералом и его врагами заканчивались кровопролитием, новыми, еще худшими оскорблениями и бранью. Стан мстителей рос с каждым днем.

Росла разделявшая их пропасть, и все труднее становилось находить мосты, на которых можно было встретиться, договориться. В конце концов, на другом, вражеском берегу Терека, староста станицы Надтеречная назвал Дудаева чужаком, всю жизнь блуждавшим по миру, а значит не достойным доверия. Староста сам себя провозгласил президентом, создал собственное правительство и армию, заявил, что силой возьмет столицу и выгонит из нее Дудаева. Первым же декретом, написанным авторучкой, объявил Дудаева в розыск и назвал изгнанником.

Генерал не озаботился бы мятежниками, разгромил бы их армию, если бы не то, что бунт поддержала Россия, с которой он давно уже был в конфликте. Староста-самозванец даже не скрывал, что получает от россиян все, чего пожелает — чемоданы рублей, оружие, бронетранспортеры, танки и даже вертолеты. Хвалился, что если захочет, получит даже подводные лодки и космонавтов.

Россия не сдавалась, хотя все вокруг ломали голову, за что она так взъелась на чеченского генерала, пусть высокомерного, но готового к примирению. Он хотел подписать с Россией трактат подобный тому, который она заключила с Татарстаном и Башкирией. Однако россияне отказались. Они утверждали, что чеченцы подают дурной пример другим, что если им уступить, за ними последуют ингуши, черкесы, калмыки, тувинцы, буряты, якуты и Бог знает, кто еще; что российское государство повторит судьбу российской

империи, распадется, перестанет существовать. Никто, однако, и не думал идти по следам Дудаева. Напротив, опыт чеченцев эффективно сдерживал тех, у кого в голове хоть ненадолго мелькнула мысль о бунте.

Не убедительными были и аргументы, что под управлением Дудаева Чечня стала угрожающим России и всему миру центром международного терроризма и преступных организаций. «Правда такова, что настоящие крестные отцы действующих у нас мафий заседают в Кремле» — утверждал Дудаев. Кроме того, в самой Москве совершалось больше преступлений, чем во всей Чечне, а по количеству покушений на политиков и склонности к использованию в политике насилия Чечню опережал хотя бы тот же соседний Дагестан. Наконец в Кремле постановили, что преступлением, за которое следует покарать чеченцев, является несоблюдение ими российской конституции.

Не удалась, однако, ни попытки запугать чеченцев, ни шантаж и интриги, ни экономическая блокада. Не удалось также втянуть их в войну. Дудаев не позволил себя спровоцировать ни тогда, когда по соседству осетины при участии российских десантников учинили погромы братьев чеченцев — ингушей, ни когда российские танки время от времени «случайно» заходили на чеченские земли.

Не удался также план свержения Дудаева кем-то из его чеченских врагов. Охотников объявилось множество. В Чечне росло число покушений на Дудаева, попыток военных путчей. Президент выходил, однако, из всех ситуаций живым, а его джигиты с легкостью отбивали очередные атаки.

Наконец россияне вынуждены были признать, что если они хотят избавиться от Дудаева, им придется все делать самим, никто за них это не сделает. Атмосфера в Чечне стала накаляться. Мужчины вывозили женщин и детей в горные селения, а сами возвращались в столицу защищать президента. Война стучалась в дверь, и даже кавказский закон кровной мести не в силах был ее отпугнуть. Тем более, что небольшая, но красиво выигранная война, нужна была российскому президенту для улучшения настроений в обществе и политического рейтинга. Генералы обещали ему взять Грозный в подарок ко дню рождения.

И в самой Чечне хватало таких, которые утверждали, что к войне с Россией слепо рвался Джохар Дудаев; вместо того, чтобы сдержать Россию, любой ценой избежать войны, он дразнил и провоцировал россиян. Говорили, что вместо того, чтобы уберечь народ от беды, он сам ее накликнул. Оказался никчемным руководителем, а его правление было катастрофой, и кто знает, если бы не российское нападение, не выгнали бы его сами чеченцы на все четыре стороны из президентского дворца. Его могла спасти — и спасла — только война, которая все перечеркивает, заставляет забыть обо всем, все отменяет.

Война взяла у него жизнь, и сделала своим должником. Как добрая фея, она отобрала у людей память, а его самого навсегда превратила из беспомощного, временами растерянного провинциала, вспыльчивого и странного, в мифического героя, каким он возможно и хотел стать, но понятия не имел, как и какой ценой. Когда он, наконец, все ясно и отчетливо осознал, было уже слишком поздно. Его жена, Алла, вспоминала, что в последние дни Джохар не боялся смерти и не прятался от нее, он знал, что она неизбежно придет, и устал от нее скрываться.

В свое время его считали воплощением безрассудства, человеком, который ни перед чем не остановится, рвется к недостижимому, ставит перед собой невыполнимые цели и задачи, абсолютно не считаясь ни с реалиями, ни с логикой.

А мне он казался довольно обычным и даже несколько провинциальным. Кроме горящего взгляда черных глаз не было в нем ничего от фанатика, если не принимать за фанатизм его врожденной горячности и болезненного честолюбия.

Ничем особым он не выделялся среди чеченских горцев, был таким же, как все. Может, именно поэтому они его так боготворили. Он был горячий и вспыльчивый как все, такой же, как все, сентиментальный, мечтательный, патетический и тщеславный.

Алла, его жена, любила искусство и сама немного рисовала. Мне говорили, что когда

Дудаева произвели в генералы, он велел жене нарисовать свой портрет в генеральском мундире. Он не сторонился развлечений и следил за модой. Еще на службе в российской армии ходил с женой на танцы и щеголял умением танцевать модный тогда в России фокстрот. Не избегал застолий и спиртного. Пил, правда, не водку, как другие офицеры, а какие-то портвейны. И то — рюмку, самое большое — две. Не из отвращения к пьянству или из утонченного вкуса, а для того, чтобы обратить на себя внимание, произвести впечатление своей оригинальностью. После пьянок в штабе другие офицеры тайком пробирались домой, чтобы избежать гнева жен. Дудаев же, красуясь перед коллегами, велел себя провожать, нарочито громко стучал в дверь и кричал: «Женщина! Где ужин?»

Был самовлюбленный, но не заносчивый. Обожал, когда им восторгались, сам, однако, не старался демонстрировать свое превосходство. Придавал огромное значение этикету и церемониалу, уважал давно указанные пути и предписанные традицией роли. Такое, по крайней мере, производил впечатление.

Впрочем, во время той первой встречи, он не слишком интересовал меня как человек, а почти исключительно как президент мятежной республики, которая за свою свободу готова была схватиться с противником в тысячу раз более сильным. Имея в распоряжении полчаса, я расспрашивал о текущих делах, о том, чего я пока не понимал, и удовлетворялся ответами, которые несколькими неделями позже тратили всякую ценность, значение и актуальность.

Не интересовало меня, каким он был, меня интересовала его позиция.

В погоне за событиями и новостями мне не раз приходилось приземляться в незнакомом краю, среди незнакомых людей с единственной целью — сориентироваться в ситуации и рассказать о ней. Постоянная спешка и нервы — успею ли? Доберусь ли до нужных людей? Удастся ли отправить репортаж?

Я мчался сломя голову в партизанские штабы, в министерские кабинеты, в офисы разнообразных партий, названий которых давно уже никто не помнит. Приставал к тысячам людей, чтобы узнать их позицию, получить их комментарии по поводу событий, провоцировал их на откровения, что должно было обеспечить мне первенство и эксклюзивное право на правду. Я заполнял записные книжки фамилиями, датами, номерами телефонов, цифрами, обозначающими количество убитых врагов и проценты голосов, полученных на выборах.

Больше всего я сердился, когда кто-нибудь из местных останавливал меня на бегу, мороча голову историями, которые мне тогда казались бессмысленными. Я вырывался, когда, хватая меня за рукав, они допытывались о сотнях разных вещей; выкручивался, как мог, когда приглашали меня к себе домой, чтобы похвалиться своими детьми, женой, а иногда просто щегольнуть перед соседями знакомством с иностранцем. Они не хотели понять, что у меня нет на них времени, что у меня есть дела поважнее, что я должен все узнать, рассказать обо всем.

Я объездил пол мира, был свидетелем большинства важнейших событий перелома столетий, видел, как распадалась одна из последних империй, видел рождение новых независимых государств, а также бесчисленные войны, в которые они немедленно погружались. Я был свидетелем покушений и выборов, упадков и рождения новых диктаторов, революций и революционных агоний.

Я встречался и разговаривал с людьми, бывшими главными героями исторических событий. Обычно, и это понятно, у них было не слишком много времени на разговоры. Однако, иногда, как мне казалось, они хотели бы сказать что-то еще, что-то большее, чем официальная прокламация, хотели хоть на минуту сбросить маску и выйти за рамки предписанной, часто навязанной им роли. На это, в свою очередь, не было времени у меня, замотанного, опьяненного важностью события. Мы прощались, обещали друг другу, что в следующий раз..., и расходились, каждый в свою сторону.

Остались от этих встреч обрывки записанных в тетради фраз, чаще всего уже обесцененных и ничего не говорящих, в памяти — смазанные лица, иногда фотографии, иногда глубоко запавшее в память первое впечатление. Поспешно сделанные наброски, мало

пригодные для того, чтобы на их основе создать о ком-то свое мнение, нарисовать портрет. Это напоминало кропотливую склейку разбитого на мелкие кусочки сосуда. Никогда не было уверенности, все ли частички удалось отыскать, все ли удалось сложить. А если даже изредка все идеально подходило друг к другу, все равно неизвестно, что изначально было связующим элементом.

Со временем новости и события, за которыми я так гнался, отчасти утратили свою ценность. Да, они все еще были важными, но теперь меня меньше интересовало, сколько врагов убил какой-то солдат, и больше — как чувствует себя человек, когда убивает. Менее важным было количество голосов, добытых каким-то политиком на выборах, важнее — почему он так жаждет власти, и как эта власть его меняет. События и новости не утратили значения, но обрели фон, насытились размерами, красками, иногда звуками, запахом, стали полнее и только теперь понятнее, стали действительно важными.

Достаточно было остановиться и прислушаться, как бесследно исчезало бывшее одиночество, с которым ты оставался один на один в гостиничном номере или в машине. Теперь у меня находилось время на разговоры, застолья и даже на бездействие.

Когда во мне проснулось любопытство и желание поговорить с Джохаром Дудаевым, узнать его не только как президента и бунтаря, было уже слишком поздно. Он погиб от взрыва российской ракеты, наведенной на сигнал его спутникового телефона во время ночного разговора на лесной поляне.

Я не корил себя за то, что, имея такую прекрасную возможность, я даже не попытался его понять. Так бывало с другими близкими или случайными знакомыми, политиками и солдатами, погибшими прежде, чем я разглядел в них людей. Я скорее испытывал обычную горечь от упущенной, неиспользованной возможности, от необратимости и бренности всего сущего.

Я искал и находил Дудаева — так, во всяком случае, мне казалось — в тех, что пришли после него, в Масхадове и Басаеве, его преемниках и наследниках. Если бы не война, вина за которую частично лежала на нем, Аслан и Шамиль, наверное, никогда бы не столкнулись, никогда бы не перешли друг другу дорогу, ба, может, никогда бы друг о друге не услышали.

Они принадлежали к двум взаимно презирующим друг друга мирам, таким разным, никогда и ни в чем не совпадающим. Масхадов воплощал собой порядок, предвидение, рутину, протоптанные дорожки, долг, готовность договариваться, ответственность за каждое слово и каждый поступок, осознание их последствий. Басаев был стихией и хаосом, воплощением отчаянной смелости, желания жить по-своему, иметь все, что пожелаешь, никогда ни перед чем не склоняться, ни в чем не уступать. Любой ценой. Эгоистичное безумие, которое плевать хотело на принятые когда-то, а теперь докучливые обязательства, зато сулило счастье и исполнение желаний. С другой стороны — ответственность и озабоченность последствиями, порожденные чувством долга и верности однажды сделанному выбору. Трудно представить себе большее несовпадение личностей, темпераментов, кодексов ценностей и жизненных позиций.

Но, будучи столь противоположными, они были обречены друг на друга верными и неверными решениями, сплетением случайных событий и непредвиденных обстоятельств. И главным образом, Дудаевым. Это он вплел их обоих в канву собственной жизни, а умирая, оставил в наследство свои недостатки и достоинства, две стороны своей натуры, так несправедливо разделив их, как будто хотел зло подшутить над своими преемниками.

Масхадов принял наследство по-своему. Серьезно и ответственно, внешне ничего не проявляя, ни разочарования, ни радости. Басаев злился, не скрывал, что рассчитывал на большее, рвал и метал в оскорбленной гордости и доводящем до бешенства бессилии, противился навязыванию себе ограничивающей его хоть в чем-то, чуждой ему роли.

Опутанные объединяющими их, но непримиримыми противоречиями, оба ссылались на одни и те же слова и события, понимая их каждый по-своему, часто толкуя прямо противоположно. Масхадов твердил, что Джохар, несомненно, вел бы себя так же, как он.

— Говорят, что я не мог сравниться с ним в смелости, — как-то сказал он мне. Он не

любил Дудаева. Впрочем, взаимно. Не похоже также, чтобы они относились друг к другу с особым уважением. Дудаев был горячий, вспыльчивый, часто безответственный, легко поддавался эмоциям. Масхадов же, даже в охваченной революционным безумием стране, оставался непоколебимо логичным, педантичным службистом. Дудаев жил в мире мечтаний, которые он нередко принимал за действительность. Масхадов твердо ступал по земле, не ходил на митинги, не участвовал в бурных дебатах, не поддавался эмоциям, не повышал голоса и даже не улыбался. — Храбрым, воинственным Джохар бывал только внешне, для публики. Только заняв его место, я понял, что он так же как я больше всего боялся войны, особенно войны братоубийственной, которая послужила бы России поводом для нового нападения.

Масхадов утверждал, что знал Дудаева лучше, чем кто бы то ни было, что они были слеплены из одной глины. На исключительное право знания истиной души Дудаева претендовали, Впрочем, все, кого с ним каким-то образом свела судьба.

— Помню, как летом девяносто четвертого враги Джохара стали вооружаться, готовиться к войне. Будучи шефом штаба чеченской армии, я ломал себе тогда голову: неужели Джохар окажется трусом? Почему он ничего не предпринимает? Приходил к нему и говорил: сделай что-нибудь! Люди уже над нами смеются! А Джохар, знай, твердит: подождем еще немного, поговорим со старейшинами, может, удастся договориться. О чем тут говорить — я ему в ответ — каждый день отсрочки только ухудшает нашу ситуацию. Только потом я понял, что Джохар делал все, чтобы оттянуть войну. Потом звонил в Москву, просил, умолял, чтобы ему позволили хоть десять минут поговорить с Ельциным. Без результата. Подчиненные Ельцина, наверное, даже не передавали ему, что звонил Дудаев. Джохара это ужасно расстраивало, он говорил, что в Кремле есть люди, которым нужна война. А когда война уже началась, он искал любую возможность ее остановить, — когда Масхадов рассказывал о Дудаеве, его лицо приобретало снисходительное, хоть немного скучающее выражение, а в голосе появлялась терпеливость, которую хороший учитель находит в себе, чтобы в тысячный раз объяснить не слишком прилежному ученику простую задачу. — Джохар был летчиком и генералом, он прекрасно знал, с какой силой нам придется столкнуться, какие бомбы будут сбрасывать на наш край. Сегодня говорят, что я слабак, потому что не расправился с Басаевым, когда он совершил свой набег на Дагестан. А я боялся не Басаева, а новой войны с Россией.

На Кавказе говорят, что если хочешь остановить дикого коня, ты должен вскочить на него и пуститься еще более диким галопом. Конечно, может случиться, что он тебя сбросит, и ты погибнешь под его копытами. Но если ты попытаешься сначала остановить коня, он точно тебя затопчет насмерть. Дудаев, наверное, пробовал бы вскочить на коня. Масхадов же пытался остановить его на скаку.

Встречу с Шамилем Басаевым откладывали со дня на день. Уже все было оговорено, назначено время и место, но каждый раз, когда мы собирались в путь, кто-то громко стучал кулаком в чугунные ворота двора Мансура, Мансур выходил на песчаную дорогу, минуту разговаривал с незнакомцем, потом возвращался, разводил руки извиняющимся жестом.

Я боялся, что Басаев уедет из города, окопается где-то в горах, а там я его не найду, не смогу ни о чем спросить. Каждый раз проезжая по городу, я просил Мансура проверить, не выехал ли он, и хотя бы заглянуть на улицу, где жил Шамиль (на постройку дома, как он сам хвастался, было истрачено четверть миллиона долларов). Через пару лет, когда россияне разбомбили усадьбу Шамиля, Басаев со свойственным ему бахвальством говорил: ну что ж, придется взять в плен пару русских, они мне мигом все отстроят.

Он не афишировал своего богатства, но и не скрывал его. На Кавказе деньги человек имеет не за тем, чтоб их прятать, стыдиться достатка. Наоборот, их выставляют на показ, чтобы другие, менее предприимчивые и удачливые, изумлялись и завидовали.

Когда чеченское правительство надумало собирать с чеченцев налоги, Басаев без ложной скромности объявил, что в первый год после войны с русскими заработал два миллиона долларов. Признался в том, что имеет четыре джипа, подаренные ему богатыми

заграничными приятелями. И добавил, что из заработанных и подаренных ему денег себе он оставляет максимум десятую часть, остальное раздает бедноте и нуждающимся, в первую очередь своим партизанам.

Он не раз повторял, что всегда мечтал жить солидно, на уровне, с шиком. Огромные деньги, золотые Ролексы, Мальборо, хорошие машины, красивые девушки. Он любил жизнь, а самым ненавистным врагом и страшнейшим кошмаром для него была скука, серая повседневность, анонимность, банальность. О том же самом мечтало большинство его ровесников, родившихся уже в собственной стране, куда чеченцам, наконец, позволили вернуться из ссылки в Сибирь и пустыни Туркестана. Может, именно поэтому они так отличались от своих отцов и старших братьев, которые, пережив угрозу уничтожения, с благодарностью принимали саму возможность существования, не смели ничего требовать, ожидать большего. Молодые знали насилие и смерть только по рассказам, а потому не испытывали такого пронзительного страха. Мечтали, хотели жить красиво, черпать жизнь полными горстями.

Красочные сны, великолепные планы и большие амбиции разбивались, однако, о вездесущие препятствия, стены запретов, громоздящиеся повсюду, как скалистые горы Кавказа. Бедность, безнадежность, унижение, отсутствие работы, отсутствие денег, отсутствие будущего. Такую жизнь вело большинство чеченцев в горных аулах. Немногим хватило сил и отваги, чтобы вырваться из этого заколдованного круга.

Молодой Шамиль тоже не подавал надежд, что станет смельчаком. Он был из низкого рода, что в привязанной к традициям Чечне, не сулило ничего хорошего. На свет Шамиль появился в хуторе на берегу реки, на противоположной стороне от Ведено, колыбели Чечни. Говорили, что его предки до того, как чеченцы признали их своими, были невольниками — аварцами, осетинами или даже русскими солдатами, взятыми в плен или сбежавшими из царской армии.

В детстве Шамиль ничем особенным не отличался, да и детство у него было не ахти какое. Так же как у трех его братьев и сестры. Не проявил себя ни в школе, ни в армии, где служил даже не солдатом, а просто охранником на аэродроме. Потом пас овец и вместе с отцом и братьями отправлялся в Россию на поиски заработка на стройках.

Старый Салман Басаев, хоть и был человеком низкого сословия, пользовался среди чеченцев уважением за свои твердые принципы и глубокую набожность. Он никогда не забывал ни об одной из предписанных пяти молитв и даже совершил паломничество в Мекку. Известен был так же на всем Кавказе и даже в южно-российских степях как отличный, солидный мастер-строитель. Он был из тех, о ком говорят, что такой из одного камня может построить целый дом.

Когда его четверо сыновей подросли и окончили семилетки, он, как и другие чеченские отцы, брал их с собой в далекие, на самую Волгу, поездки на заработки. Салман со своими сыновьями-подручными строил россиянам дома, коровники, амбары. В памяти жителей поволжских деревень старик Басаев остался, как человек строгий, мрачный, замкнутый, вечно занятый работой и сторонящийся людей. Ни к кому не ходил в гости, никого не приглашал к себе.

Его сыновья, однако, плохо переносили эти каторжные скитания, с их скукой, бесконечной работой с мастерком и бетономешалкой. Единственным развлечением в этих поездках были бесчисленные романы с деревенскими девчатами, свидания в парках под памятниками ветеранам мировой войны.

Первым сбежал Шамиль, самый непоседливый из четверки сыновей. Это отнюдь не было бунтом против воли отца. Именно старый Салман, причем его родственники никак не могли этого понять, утверждал, что его сыновья созданы для лучшей жизни и больших свершений, что они заслуживают большего.

Но Великий Город его мечты, Москва, тоже не принес Шамилю успокоения и исполнения желаний. В университет, где отец велел ему изучать право (чтобы стать милиционером и бороться с преступниками) его не приняли, из института, куда он поступил

на агрономический факультет, вскоре выгнали за халатное отношение к занятиям, лекциям и экзаменам.

Его это особо не заботило. Учеба нагоняла на него тоску. Он мечтал не о том, чтобы корпеть над книгами и вечно подрабатывать сторожем в шашлычных или механиком в троллейбусном парке. Не мог найти себе места, метался, хватался за разные дела, чтобы их тут же бросить, сочтя пустой тратой времени.

В Москве, однако, как раз наступали золотые времена для смельчаков. Агонии империи сопутствовало политическое потепление и революционные события. Сбрасывали с пьедесталов вождей, памятники и старые порядки. Наступали новые времена, переворачивая вверх дном все прежние устои, открывая невероятные возможности начать все заново. С этими новыми порядками, неизвестными, а оттого пугающими, легче и быстрее всего осваивались люди решительные, смелые, дерзкие. А Шамиль всегда считал себя смельчаком.

Он упивался свободой и новыми возможностями. Еще до того, как его вычеркнули из списка студентов, без колебаний бросился в неведомые лабиринты свободного рынка. Взялся за бизнес, занялся компьютерами, что-то покупал, чтобы прибыльно продать, крутился то тут, то там, знакомился с людьми.

Среди первых благодетельствованных новой, великолепной эпохой, оказались и короли полусвета, гангстеры, контрабандисты и спекулянты, которые из свободы сделали бизнес и навсегда изуродовали само понятие в глазах россиян.

Чеченцы, как обычно, держались вместе. Шамиль не раз пользовался защитой, помощью и советами земляков из московской диаспоры. Сам тоже вызывался добровольцем, когда дело доходило до разборок и войн за зоны влияния. Познакомился с Хож-Ахмедом Нухаевым, считавшимся крестным отцом чеченской мафии, и многими другими смелыми и оборотистыми юношами, которых надежда изменить судьбу привела с Кавказа в Москву, твердо верившими, что им удастся не потратить жизнь даром.

Шамиль старался не терять времени. Искал приключений, веселья, познал вкус женщин и вина. Заработал первые крупные, но не ошеломляющие деньги, наделал первые долги. Но все еще не имел никаких планов, даже приблизительных задумок на жизнь.

Скучающий, ищущий приключений Шамиль в августе девяносто первого пошел на баррикады, возведенные защитниками российского парламента и новых порядков, которым угрожали пытавшиеся повернуть время вспять стражи империи. Именно тогда он впервые испытал наркотическую силу политики и власти.

Осенью спаковал манатки и вернулся в охваченную революционной горячкой Чечню, провозгласившую, как многие другие российские колонии, независимость. Горцы как раз готовились к избранию своего президента. Не долго думая, Шамиль решил участвовать в выборах. Ему было тогда двадцать шесть лет.

Неизвестно, на что он рассчитывал. У него не было своей партии, благородного происхождения, похвастаться было нечем. Так что, вряд ли он руководствовался политическим расчетом. Скорее вечной потребностью острых ощущений, новых приключений, желанием испробовать что-то новое. Так захотел, и все! Трудно даже сказать, что бы он предпринял, если бы его избрали президентом. Выборы выиграл Джохар Дудаев, а Басаев с треском их проиграл. Похоже, особенно о том не жалея.

Вскоре после этого он впервые действительно прославился, его имя огромными буквами кричало с заголовков передовиц российских газет и телевизионных новостей. Из аэропорта в Минеральных Водах Басаев с приятелями угнал в Турцию самолет с почти двухстами пассажиров на борту. В Анкаре, прежде чем сдаться турецким жандармам, потребовал, чтобы Россия признала независимость Чечни и убралась с Кавказа. Обещал освободить всех заложников, если получит гарантию безопасного возвращения в Чечню. Вняв уговорам турков, желавших как можно скорее избавиться от непрошенных гостей, Россия неохотно, правда, но все-таки согласилась на его условия. Самолет с заложниками вернулся домой, а угонщики окопались в горах.

Никто ему не приказывал угонять самолет и требовать независимости Чечни. Ба! Если

бы такой человек нашелся, не исключено, что Шамиль поступил бы с точностью до наоборот. Нет, он никого не спрашивал, ни с кем не советовался, не просил ничего согласия. Даже Дудаева, президента. И впредь он всегда будет так поступать. Не просил разрешения Дудаева на нападение и захват заложников в Буденновске. Не просил согласия Масхадова на вооруженное нападение на дагестанский Ботлих. Делал то, что хотел, что считал правильным.

Упивающийся своей славой, он неохотно возвращался к истории с угоном самолета. Не то, чтобы стыдился. Просто ему это уже было скучно. Не о чем было говорить. Презрительно пожимал плечами, гримасничал, как капризный ребенок, которого заставляют делать что-то, на что у него нет никакой охоты, или предлагают вместо ожидаемого поощрения что-то привычное, а он отказывается.

За турецкую авантюру Шамиль не понес никакого наказания. Наоборот, его заметил сам президент Дудаев, который доверил ему пост командира одного из полков создаваемой в тот момент чеченской армии.

Шамиль имел все, что хотел. Свободу и независимость, деньги, славу и восхищение ровесников. Он стал для них воплощением их мечты о величии, их амбиций и стремлений. В Шамиле и его деяниях они видели себя такими, какими хотели быть — бесстрашными, готовыми на все джигитами.

Перед красным кирпичным домом Шамиля всегда было полно партизан с автоматами. Некоторых из них Мансур знал лично. Увидев его за рулем машины, они громко приветствовали его или махали руками. Другие продолжали молча всматриваться в проезжающие машины.

Мансур, с самого начала возражавший против прогулок мимо дома Шамиля, в конце концов, категорически отказал мне. Сказал, что будет лучше не светиться там без надобности.

— Он сам за тобой пришлет, когда придет время.

Басаева Мансур, похоже, недолюбливал. Может, завидовал. Они были почти ровесниками. Шамилю было тридцать четыре, Мансур — на два года моложе. Но он знал, что ему с Шамилем уже не сравняться, и это осознание предела своих возможностей угнетало его и настраивало враждебно против всех, кто сумел достичь большего.

Он часто говорил о себе — я нефтехимик, инженер. Обычно это случалось, когда на него накатывала волна обиды и сожаления, что жизнь сложилась не так. Искал виновников, потому что за собой никакой вины не чувствовал. И правильно.

Засыпал меня банальными на первый взгляд вопросами. Как живу, сколько зарабатываю, на какой машине езжу, а какую бы хотел иметь. Но в его вопросах не было никакой заинтересованности, похоже, он даже меня не слушал. Только и ждал, когда я закончу, чтобы самому начать говорить. Я — нефтехимик, я — инженер.

Он рассказывал мне о доме в родной деревне и квартире, которую купил в городе, демонстрируя этим свою современность и зажиточность. Рассказывал о мебели, о футбольных матчах, которые когда-то видел по телевидению, о том, что никогда так и не купил машину, не нужна была. Он жил рядом с нефтезаводом, на работу ходил пешком. Вспоминал, как они с друзьями озорничали в школе и как подглядывали за купающимися нагишом в ручье украинками, приехавшими в Сержень-Юрт отдыхать. Жили они в школе за деревней, разбросанной по зеленым склонам горы, одном из красивейших уголков, которые мне приходилось видеть. Потом в эту самую школу вселились бородатые моджахеды и основали в ней самую известную на Кавказе академию партизанской борьбы. Преподаватели были родом из Аравии, Судана, Алжира и даже Афганистана. А их учениками были юноши из кавказских республик, из Грузии, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и даже из китайского Туркестана. В зависимости от потребностей курс продолжался три (основной) или шесть (специализированный) месяцев. Каждый раз обучение заканчивалось практическим экзаменом — нападением на российский погранпост или взрывом склада боеприпасов.

Мансур начинал рассказывать о своем старом житье-бытье, о том, каким оно должно было быть, позволял воспоминаниям захватывать себя, дрейфовать вслед за мечтами, чтобы, в конце концов, разбиться на рифах беспощадной реальности.

Как-то вечером мы оба вышли из себя. Раздраженный покровительственным тоном, каким он разговаривал со мной, когда мы были не одни, и его рассказами, в которых прошлое переплеталось с сегодняшним днем, желаемое с действительностью, я бросил ему, что, может, он и был когда-то инженером-нефтяником, да перестал, и никогда больше, наверняка, не станет.

Война, на которой он был моим проводником, навсегда изменила его жизнь, хоть никто не утверждает, что она стала хуже. Просто жизнь ушла из-под его контроля, понесла его, как напуганный чем-то скакун. Уздечка выпала из его рук, и теперь он только пытался удержаться в седле.

Он тосковал по прошлому, хоть я подозреваю, что здорово его идеализировал. Повторял вечно, что он нефтяник, инженер, потому что не мирился со своим сегодняшним, единственно реальным воплощением. Похоже, он не до конца понимал, кто он. Взяв в руки автомат, он из инженера превратился в солдата. Но чувствовал, что, сложив оружие, он не вернется к своей старой ипостаси, а навсегда останется беззащитным, жалким скитальцем на этой однажды выбранной дороге.

Не один Мансур не любил Шамиля. У меня создалось впечатление, что у Басаева врагов было минимум столько же, сколько друзей. Ладно, может, друзей все-таки больше. Он был как великий игрок в покер, которым восхищаются и любят за мастерские розыгрыши, но ненавидят, потому что за его выигрыш приходится платить из собственного кармана.

Многие завидовали его везению и той легкости, с которой ему доставалось все, что другим стоило массу усилий и стараний. Шамилю буквально все удавалось, он получал все, чего только пожелал. Да еще и бахвалился своим фартом, множа вокруг себя завистливых недругов, клянущих несправедливость судьбы.

Поступив на службу в гвардию Дудаева, оваянный недавней славой бесшабашного джигита, Шамиль вместе с другими чеченскими добровольцами вступил в ополчение еще только зарождающейся, таинственной Конфедерации Народов Кавказа. Ее апологеты заявляли, что она возникла в результате договоренности кавказских повстанцев, решивших, наконец, объединиться и завоевать свободу для всех горцев. Враги же утверждали, что это сама Россия, при помощи своих агентов, породила эту разбойничью армию наивных мечтателей, искателей приключений, шалопаев, чтобы удержать в повиновении бунтующие колонии Кавказа.

Присоединяясь к конфедератам, Басаев, однако, не забивал себе голову политикой. Он решил стать конфедератом, потому что война его увлекала, искушала, его просто по-мальчишески тянуло к бурной и обещающей богатую добычу жизни кавказского атамана, бунтаря.

Он очутился в Абхазии, древней Диоскурии, решившей порвать с Грузией. Но до войны бы так и не дошло, если бы не Россия — Кремль постановил наказать Грузию, заправила мятежей в провинциях.

Басаев стал одним из командиров чеченского отряда. Не прошло и года с тех пор, как россияне объявили его в розыск и поставили вне закона за угон самолета из Минеральных Вод, а он из изгнанника и врага превратился в их союзника и товарища по оружию. Прежде чем по горным тропам через кавказский перевал Карачай, без препятствий со стороны российских войск, Басаев со своим отрядом чеченских добровольцев добрался до Абхазии, они прошли ускоренный курс военной переподготовки, на котором преподавателями были офицеры из России.

Неожиданный союз России с чеченцами ничего абсолютно не значил. Он был результатом простого расчета, сиюминутной необходимости, интриг. Они продолжали считать себя врагами, но отложили в сторону взаимную неприязнь, прикинув, что в данный

момент выгоднее каждой из сторон. Для россиян было важнее наказать Грузию — поражение грузинской армии в Абхазии едва не закончилась гибелью президента Эдуарда Шеварнадзе в окруженном, пылающем пожарами Сухуми, распадом грузинского государства и новым подчинением его Москве.

Чеченцы же, учитывая то, что им самим придется оказывать сопротивление России, в абхазской войне увидели шанс опробовать себя в боях, подучить своих солдат, а при случае — обогатиться, поживиться на абхазских складах оружия, оставленного российской армией, отозванной с Кавказа по приказу Кремля.

Не на священных войнах, а на войнах за деньги и ради денег, грязных и запутанных, учился военному делу Шамиль Басаев. На войнах без всяких правил, во время которых резня, погромы и грабежи случались значительно чаще, чем боевые сражения, а захваченные города отдавались на три дня в руки победителей на разграбление.

Военные бури часто возносили на политический Олимп людей случайных, авантюрных, обычно не осознающих того, что они только пешки в чьей-то большой игре. Иногда, правда, случалось, что безвольные, казалось бы, марионетки внезапно оживали, выходили из-под контроля и превращались из послушных кукол в весьма самостоятельных чудовищ.

Хотя по рекомендации самого Дудаева Басаев стал командиром всего кавказского ополчения и даже заместителем Министра обороны в повстанческом правительстве Абхазии, он занимался в основном переброской через горы новых добровольцев, контрабандой оружия и добытых трофеев для себя, своих солдат и Дудаева.

Воевал немного, хотя на Кавказе со временем стало появляться все больше легенд о его ранах, храбрости, жестоких выходках и алчности при разделе трофеев. Сами абхазы, благодарные ему за помощь, не забыли, однако, как он, не желая рисковать жизнью своих солдат, отказался пойти на выручку окруженному грузинами и уничтоженному почти полностью отряду осетин и кабардинцев.

Да и командир из него был никакой, одно название. В ополчении конфедератов воевали, прежде всего, ненавидящие грузин осетины и состоящие в родстве с абхазами черкесы, кабардинцы и адыгейцы. Они и не думали подчиняться приказам Басаева, а к чеченцам, как всегда, относились подозрительно и неприязненно. Сами же чеченцы своим командиром считали не занятого трофеями, контрабандой и бумажной работой Басаева, а командовавшего ими в боях Хамзата Хункарова. Только когда он погиб от пули уже в Чечне, ветераны абхазской войны признали своим командиром Шамиля.

Но Басаев и так привез из Абхазии новую славу, и жену. А еще он познал войну, все ее стороны, включая и ту скрытую, коммерческую. Попробовал фронтовой жизни, показал себя как солдат и командир, видел смерть, почувствовал дрожь страха, наркотическую мощь насилия и абсолютной власти.

Овеянный зловещей славой и обогащенный трофеями, Басаев из Абхазии отправился воевать в Азербайджан, где в Нагорном Карабахе, при поддержке российских войск, местные армяне вели гражданскую войну против азербайджанцев. В Карабахе потерпел поражение. Азербайджанцы, известные своей нелюбовью к риску и жертвам, рассчитывали, что он их выручит взамен за деньги и военные трофеи. Оставили его одного с отрядом против армянских партизан, лучших солдат на всем Кавказе. Басаев пустился в бегство.

Из Баку отправился напрямик в Афганистан, где в затерянном в горах местечке Хост три месяца отрабатывал военное ремесло под наблюдением афганских моджахедов, которые не покорились российской армии во время агрессии и после десятилетней войны заставили ее отступить.

Когда Шамиль вернулся на Кавказ, чеченцы уже отсчитывали дни до начала войны, надвигавшейся неотвратимо, как мрачная, суровая зима. Аслан Масхадов, профессиональный военный, не познавший до того войны, поспешно создавал чеченскую армию по-своему, с уставом, дисциплиной и муштрой. А у Басаева, воспитанника и любимца войны, была под командованием армия похожих на него головорезов, для которых смерть не

была ни чем-то новым, ни пугающим.

Оба служили одному и тому же делу, одному и тому же президенту. Шамиль, хоть всегда держал сторону Джохара Дудаева и всегда был ему лоялен, руководствовался скорее инстинктом, чем разумом.

Он сам был джигитом и задирой, к тому же наделенным харизмой и с безумными амбициями, а потому подсознательно искал себе подобного. Ему казалось, что в Дудаеве он нашел родственную душу. Возможно, поскольку он сам еще не был готов командовать самостоятельно, ему нужен был наставник и руководитель, духовный отец. Просто удивительно, как эти два лидера, оба не терпящие никаких возражений, ни разу не поссорились. Шамиль, как послушный чеченский сын, не смел критиковать Дудаева, даже если с ним не соглашался. Исполнял его приказы, а злость и бунт, закипавшие в душе, молча гасил в себе. И только Дудаева он так слушался. После его смерти Шамиль не признал уже ничего превосходства и даже воле большинства подчинялся только тогда, когда считал нужным и выгодным для себя.

Масхадов хоть отличался от Дудаева нравом и взглядами, хоть ему были чужды фантазии Джохара, оставался рядом с ним из врожденного и закаленного жизнью чувства долга. В каком-то смысле он тоже видел в нем родственную душу. По его убеждению, человек, взявший на себя роль предводителя, мог сделать это только из-за свойственной ему заботливости и ответственности за людей. А они были важнейшими пунктами соотношения в его собственной жизни.

Я спрашивал и Масхадова, и Басаева о дне и обстоятельствах, в которых они впервые встретились. Ни один из них этого не помнил. Мало того, ни один даже не захотел копаться в прошлом, чтобы восстановить этот момент. Совершенно очевидно, ни тот, ни другой не считали это событие особо важным. И, наверное, не думали, что оно каким-то образом повлияло на их дальнейшие судьбы.

Джохар Дудаев, может, и был легкомысленным, может, и был сумасбродом, но глупцом не был никогда. Масхадов мог его раздражать своей педантичностью, своим отсутствием воображения, но у него не было под рукой лучшего офицера, которому можно было бы поручить создание чеченской армии с основ. Трудно себе вообразить, чтобы Масхадов мог предать президента, подчинить себе доверенную ему армию. Он не представлял никакой угрозы, потому что как к политике, так и к извечным кавказским родовым раздорам относился с высокомерным презрением.

Однако создать полноценную чеченскую армию ему не удалось. Чеченцы, неисправимые индивидуалисты, не собирались ни отдавать ему свои автоматы, ни признавать верховенство главнокомандующего над старейшинами их рода или аула. Когда началась война, солдаты Масхадова разбежались под крыло своих деревенских командиров, а те соглашались сотрудничать и выполнять чужие приказы, только тогда, когда это не угрожало их собственным интересам и доброму имени. А Дудаев поручил Масхадову командовать этим ополчением смутьянов.

Иса Мадаев командовал тогда партизанским отрядом из своего родного Чири-Юрта.

— Не знаю, удалось ли ему выспаться хоть один раз за всю войну. Сколько я его видел, он или сидел над картами и что-то чертил карандашом, или проводил совещания с командирами низшего ранга. К нему можно было войти в любое время дня и ночи. Всегда за работой, всегда невозмутимый, гладко выбритый, в чистом, наглаженном мундире. Я его тогда часто ругал из-за того, что он не хотел выдавать мне столько оружия или денег, сколько мне было нужно, или запрещал проводить какую-нибудь операцию. А теперь я думаю, что у него было ангельское терпение и лошадиное здоровье. Сколько таких как я приходило чего-то требовать от него, грозилась, ругались, проклинали, на чем свет стоит. Мы думали о своих отрядах, своих участках фронта, своих аулах. Мы понятия не имели, что происходит в других местах. А он, сидя над этим своими картами и выслушивая рапорты, все планировал.

Ему приходилось справедливо распределять не только оружие и деньги для отдельных

отрядов, но и боевые задания для командиров, так чтобы одних не обременять военными поражениями, а других не возвышать боевыми победами. Малейшая ошибка грозила взрывом бунтов в стане добровольцев, его распадом, или еще хуже, кровопролитием в извечных, безысходных междоусобицах.

Он, однако, не совершил ни одной ошибки. Труднее всего ему было убедить командиров, что они должны держаться как можно ближе к наступающим россиянам, чтобы напрасно не рисковать своими моджахедами. «Будьте всегда поблизости, не позволяйте им вздохнуть, — говорил Масхадов. — Чем ближе вы подойдете, тем безопаснее. Не будут же они сбрасывать бомбы на свои войска, не будут стрелять из пушек по своим».

Оставаясь в тени, он готовил планы самых известных партизанских операций. Они принесли бессмертную славу полевым командирам, которым он поручал их проведение, а среди них были и Шамиль Басаев, и Хункар-паша Ибрапилов, Руслан Гелаев, оба Асланбека, Большой и Малый, братья Хайхароевы, Турпал-Али Атгериев.

Шамиль Басаев в начале войны абсолютно ничем не выделялся. Командуя одним из лучших отрядов, ничем особенным не отличился. Никто о нем не слышал, мало, кто его знал. Был просто одним из многих партизанских командиров.

Воевал под Бамутом, где россияне когда-то держали в шахтах ракетные установки. В московских газетах и новостях сообщали, что Бамут защищали тысячи партизан. А на самом деле их было немногим более ста, в основном местные крестьяне, торговцы, трактористы, ветеринары, деревенские учителя и их ученики. Бойцами они стали только тогда, когда война пришла на их подворье. Превратили убежища и бункеры в неприступные крепости. Подземными коридорами пробирались прямо под российские окопы или незаметно уходили в поросшие густым лесом горы, исчезая бесследно как призраки.

Басаев быстро ушел лесами в безопасные горы. Казалось, что война все-таки напугала его, была ему не по силам. Растерял где-то былую браваду и залихватскую удачу. То и дело впадал в сомнения, терялся, не знал, что делать, совершал ошибки. Под Ведено Шамиль позволил россиянам заманить себя в ловушку, и они разгромили его отряд. Узнав о потере своего лучшего войска, Джохар Дудаев от злости рвал на себе мундир. Если бы ему удалось тогда дорваться до Шамиля, он бы его, точно, прикончил.

Побитый джигит зашился в лесных дебрях, глотая стыд, зализывал раны. Обдумывал, как вернуть себе доброе имя и славу, выискивал подходящую оказию.

Стотысячный Буденновск, названный так в честь славного маршала, атамана казачьей конницы, расположен на холмистых степных просторах Ставропольского края, почти в двухстах километрах от Чечни. Его жителям казалось, что это достаточно далеко, чтобы можно было не бояться войны, которая к тому же близилась к концу. Российские войска занимали последние чеченские аулы в высокогорном Кавказе, а генералы готовились объявить об окончательной победе.

Тем большим был шок, когда жарким июньским полднем на площадь Буденновска выехали огромные грузовики, из которых посыпались одетые в камуфляжную форму люди и открыли огонь. Застигнутая врасплох милиция поначалу вообще была не в состоянии оказать сопротивление.

Напавшие заняли городской совет и вывесили на нем зеленый чеченский флаг. К вечеру, когда к городу стянули войска, партизаны укрылись в городской больнице. Там забаррикадировались, захватив около тысячи заложников: пациентов, среди которых было много беременных женщин, врачей, случайных прохожих с городских улиц и даже пассажиров автобусов, которые, проезжая в тот день через Буденновск, сделали остановку у автовокзала.

Командир захватчиков назвал свое имя — Шамиль Басаев.

И заявил: если правительство России не согласится прервать войну в Чечне, вывести войска и начать мирные переговоры с руководством чеченских повстанцев, он убьет всех заложников, а потом взорвет больницу вместе со своими бойцами.

Басаев сообщил также, что приказал расстрелять нескольких обнаруженных им в

больнице российских офицеров, раненных на войне в Чечне. Чеченские командиры обычно щадили взятых в плен солдат-срочников, но были безжалостны к российским летчикам и солдатам-контрактникам, пошедшим на войну ради денег. «Они же сами согласились убивать и умирать за деньги», — говорили чеченцы.

Прежде чем начать переговоры с Басаевым, россияне дважды посылали войска на штурм больницы, где он засел. В беспорядочной стрельбе и пожаре погибло полторы сотни заложников, большинство от российских пуль.

Наконец россияне согласились на переговоры. Сначала за освобождение заложников Басаеву предложили самолет и столько денег, сколько он потребует. Басаев отказался. Характерно, кстати, что кавказские террористы никогда не требуют денег, освобождения родственников и друзей из тюрем, самолетов, согласия на выезд за границу. Зато всегда требуют прекращения войны в Чечне, вывода российских войск с Кавказа, подписания мирного договора между Россией и Чечней.

После провала предложения с выкупом в кабинет директора больницы в Буденновске — именно там устроил свой штаб Шамиль — из Москвы позвонил лично премьер Виктор Черномырдин (президент Ельцин был это время в Канаде).

Басаев начал торг, требуя провести во всей России референдум о статусе Чечни. «Исключено, — ответил Черномырдин. — Сегодня вы требуете референдума в России, завтра начнете диктовать условия всей Европе». Наконец, после многочасовой торговли и попыток обмануть противника, российский премьер, разговаривая с Басаевым перед телекамерами, отдал войскам приказ прекратить боевые действия и обещал начать мирные переговоры с чеченцами.

«Прошу отпустить женщин, детей и больных, — говорил премьер, а его соотечественники ломали голову над тем, как чеченцам удалось с такой легкостью проникнуть вглубь российской территории и почему Черномырдин разговаривает с чеченским головорезом, главарем террористов, а Ельцин не находит возможности встретиться с чеченским президентом. Возможно, если бы такая встреча состоялась, удалось бы избежать и войны, и трагедии в Буденновске. — Сейчас, когда нас видят и слышат миллионы людей, я отдаю приказ остановить боевые действия в Чечне и начать мирные переговоры».

Басаев пошел на соглашение. Часть заложников освободил еще в Буденновске, остальных — в горном Зандаке, куда он привез их (вместе с группой российских журналистов и восемью депутатами, которые вызвались добровольно заменить заложников) в качестве живого щита, в качестве гарантии безопасности.

Среди добровольных заложников был российский правозащитник и давний диссидент коммунистического режима Сергей Ковалев. Позже он так вспоминал поездку с Басаевым из Буденновска на Кавказ: «А я помню, что, когда мы с заложниками и боевиками Басаева ехали автобусами из Буденновска, на всем пути по Кавказу — в Дагестане тоже, не говоря уж о Чечне, — нас с энтузиазмом приветствовали толпы людей. Басаева, который захватил две тысячи безоружных заложников, убил множество гражданских на улицах города и расстрелял семерых пленных в больнице... этого Басаева приветствовали как национального героя».

Шамиль добился своего, изменил ход войны, (хоть выторгованные им мирные переговоры были сорваны через полгода) стал настоящим героем, его сны обрели реальность. Теперь он был известен не только в Чечне, не только на Кавказе. О нем заговорил весь мир.

Нападение на Буденновск убедило чеченцев и самого Шамиля в том, что цель оправдывает средства. Ведь это не давление зарубежных правительств, не внезапное просветление российских властей привели к тому, что была приостановлена война. Этого добился сам Шамиль, который, прибегнув к террору, крайней форме насилия, добился мира.

После вооруженного нападения на Буденновск — а Басаев похвалялся, что планировал дойти до Москвы, и только алчность российских милиционеров и военных привела к тому,

что деньги на взятки закончились еще в ставропольских степях, и ему пришлось занимать первый попавшийся город — с ним уже никто не мог сравниться. Даже другие командиры, завидующие его славе, не склонные к похвалам, не скупилась в выражениях признания и восхищения, стараясь не замечать восторга, с которым о Басаеве говорили их собственные бойцы.

Шамиль становился живой легендой.

В Чечне, например, ни с того, ни с сего начали появляться слухи, что под российскими бомбами погибла вся семья Басаева (в действительности же на время войны Басаев вывез семью в Абхазию и Азербайджан), и что нападение на Буденновск было порывом доведенного до бешенства джигита, ищущего смерти, жаждущего мести.

Партизаны из отряда Басаева не могли нахвалиться строгим (в своем отряде он не терпел мародеров, наркоманов, извергов, случалось, что виновных в преступлениях и неповиновении лично расстреливал на месте), но справедливым командиром, бесстрашным и расчетливым, таким, который ради собственной славы не будет рисковать понапрасну жизнью своих бойцов.

Минимальные потери в отряде Басаева обеспечили ему постоянный наплыв новобранцев. Семьи партизан прославляли его как благодетеля, чуть ли не полубога, ведь отправляя сыновей в партизанские отряды, отцы и матери прощались с ними навсегда, не надеясь больше с ними увидеться. А тут, благодаря Шамилю, они возвращались живыми после каждой, даже самой дерзкой операции. Семьям погибших, таких, впрочем, было немного, Басаев платил возмещение, раненных за собственные деньги отправлял на лечение на черноморские курорты Сухуми или Пицунду в Абхазии.

Шамиль Второй — стали говорить о Басаеве в Чечне и на всем Кавказе, сравнивая его с имамом-мятежником девятнадцатого столетия.

О Масхадове не слагали песен и не ставили его в один ряд с величайшими кавказскими героями. Но после смерти Дудаева, разнесенного в клочья российской ракетой, естественным было, что именно он возглавил государство.

Его все уважали и признавали. Но не любили. Ему досталось уважение, а любовь — молодому сорвиголове Шамилю, который с отчаянной отвагой бросал своих моджахедов в самые дерзкие авантюры. И всегда выходил из них живым.

Масхадов считал нападение на Буденновск чистым безумием, смертным приговором лучшим бойцам, потому что только таких взяли на операцию. Он сопротивлялся ее проведению, но был не в состоянии удержать Шамиля. Он думал о последствиях. А Шамиль не морочил себе этим голову. И именно он стал героем.

Масхадову осталось только подписать с россиянами навязанное им силой перемирие и молча проглотить горький стыд, которому подверг его джигит. Он вынужден был признать преступлением и осудить нападение Шамиля на Буденновск, а также пообещать россиянам личный контроль за тем, чтобы Басаев был пойман и передан российским следственным органам, которые вновь объявили его в розыск. Наверняка, ему дорогого стоило не показать своего унижения и злости. Тем более что Шамиль, планировавший укрыться в горах, бесследно исчезнуть, меж тем и не думал отказывать себе в удовольствии наслаждаться славой. Встречался в лесах с журналистами, рассылал через своих гонцов послания и даже диктовал условия договоренностей с россиянами.

— Волос с моей головы не упадет. Хотел бы я посмотреть на того, кто попробует меня выдать, — потешался Шамиль. — А тому, кто заключит мир с Россией, отказавшись от независимости Чечни, я лично пушу пулю в лоб. Никто не имеет на это права.

Масхадов возглавлял почти все чеченские делегации на мирных переговорах с россиянами. Подписал практически все российско-чеченские соглашения. Включая и самое главное, о прекращении войны. Российские генералы не могли им нахвалиться.

«Хоть он и враг, с ним можно разговаривать».

Масхадов встречался с ними при любой возможности, явно и тайно. Чаще всего в Старых Атагах, в одноэтажном доме из красного кирпича, принадлежавшем Ризвану

Лорсанову, человеку зажиточному, влиятельному, со связями. Именно из-за этих достоинств с первого же дня войны россияне и чеченцы наделили его неблагодарной ролью посредника и курьера между своими вражескими станами. Встречи Масхадова с российскими генералами держались иногда в такой величайшей тайне, что о них не предупреждали даже самого Ризвана, сходявшего с ума, когда в его дворе вдруг появлялись повстанческие лидеры или половина командования российской армии на Кавказе, ошеломляя хозяина и соседей.

А как-то раз, когда переговоры затянулись до поздней ночи, Ризван на своей «ниве» сам отвозил российского генерала Лебеда в Грозный. Генеральский визит следовало держать в величайшем секрете, чтобы никто ни в Москве, ни в горах, не смог торпедировать почти состоявшейся сделки. И хоть он ехал с выключенными фарами, чтобы не привлекать внимания солдат на ближайшем посту, те услышали шум мотора, а неосвещенная машина только усилила их подозрения. Рванулись автоматные очереди. Ризван съехал в ров, выскочил на дорогу, заорал:

— Не стрелять! Не стрелять! Это я, Ризван!

Его тут все знали, и россияне, и местные. Стрельба прекратилась.

— Ризван? Жить тебе надоело? Тоже мне время для прогулок выбрал!

— Лебеда везу, — крикнул в ответ Ризван, забыв, что солдаты не имеют понятия о секретной миссии генерала с фамилией птицы.

— Ризван! Ты, похоже, совсем спятил! — помолчав, крикнул в ответ солдат. — Война вокруг, комендантский час, а этот ночью, не включая фар, лебеда на машине возит!

В тот день, когда Масхадов и российский генерал Лебедь должны были подписать в доме Ризвана мирный договор, чеченец тоже едва не поплатился жизнью. Сначала ему пришлось несколько часов развлекать генерала разговорами и играть с ним в шахматы, потому что сильно опаздывали недоверчивые чеченцы, не принявшие приглашения на борт российского вертолета. Когда Масхадов, наконец, появился, российский генерал так увлекся партией шахмат, что и не подумал ее прерывать. Поздоровался только с чеченцами и вернулся к игре. Масхадов молча, как будто просто приехал на званый обед, обмыл руки и уселся за стол. Договор подписали только под конец ночи, которую Ризван, смертельно напуганный призраком провала переговоров, провел, не сомкнув глаз.

Масхадов был убежден, что необходимо любой ценой прекратить войну. Шамиль считал войну не худшим вариантом. Он не хотел разговаривать с россиянами, считал, что сам факт соглашения отдает предательством. Вместо того, что бы договариваться с Россией, — рассуждал он, — надо как можно скорее ударить, причинить ей кошмарную боль, повергнуть в ужас жестокостью мести.

Джохар Дудаев, как будто охваченный каким-то предчувствием неуклонно приближающейся смерти, войне уделял все меньше внимания. Отдал все на откуп Масхадову и джигитам, оставляя за собой роль символа, знамени. Когда он погиб, появились опасения, что немедленно начнется братоубийственная война между Масхадовым и Басаевым за наследие Джохара.

Чеченцы, однако, не только избежали распрей, но и отбили у россиян свою столицу, пользуясь тем, что самоуверенные российские генералы бросили почти весь столичный гарнизон на преследование партизан в горах. Операцию взятия города запланировал Масхадов — а кто же еще? — а исполнителем стал Шамиль Басаев. Дерзкий штурм увенчал джигитскую славу Басаева. Молниеносная атака застала россиян врасплох и довела до сознания хозяев Кремля, что они не выиграют эту войну, что ее нужно прервать, а к следующей подготовиться значительно лучше.

Эта война вошла в историю как одно из постыднейших поражений имперских армий. Масхадов, фактический победитель, возглавил временное повстанческое правительство, которое должно было осуществлять власть в Чечне до выборов нового президента.

Уже тогда говорили, что в мирное время Масхадов был бы идеальным президентом. Был спокойным, никогда не раздражался, не позволял вывести себя из равновесия, был покладистым и в то же время решительным, справедливым, порядочным. Против выбора

Масхадова не протестовала и Россия. Как раз наоборот, в Кремле сочли, что с бывшим полковником российской армии, воспитанном в духе послушания, преклонения и страха перед Россией, будет проще договориться, и кто знает, может, даже выбить из его головы несбыточные мечтания о независимости.

Басаев после войны решил навестить Москву, в которой не был пять лет, и где его уже дважды объявляли в розыск. Потом хвалился, как он прогуливался по московским бульварам, и никто его не останавливал, не проверял документы, хоть он не маскировался и даже бороду не сбрил. «А раньше, — вспоминал Басаев, — каждый постовой при виде моей кавказской морды тут же приказывал предъявлять документы и обшаривал карманы».

Завоеванная известность крепко ударила ему в голову. Он решил, что ему и только ему одному принадлежит слава победителя в кавказской войне. Без всяких сомнений и колебаний выставил свою кандидатуру на президентские выборы. В победе не сомневался.

Масхадов долго колебался, прежде чем согласился участвовать в выборах. И сделал это не из жажды власти, не из вызывающей раздражение уверенности политиков, что только они знают, как изменить мир к лучшему. Президентом он решил стать из чувства долга.

— Я вообще бы не выставлял свою кандидатуру, если бы не знал слишком хорошо всех тех, кого потянуло в президенты, — признался он во время нашей последней встречи.

В его личном, старомодном кодексе чести президентство, царство, власть духовная принадлежали избранным. Демократические системы правления, отдающие власть в руки любого ее пожелавшего, лишь бы его поддержало большинство, казались ему ужасающей профанацией института верховной власти. Среди дюжины претендентов на пост чеченского президента любой казался ему необразованным выскочкой, самонадеянным узурпатором, чье правление могло закончиться для страны позором и катастрофой. Он сам, может, и не разбирался в политике и правлении, но, по крайней мере, знал, что не опозорит поста президента. Одному Богу известно, до каких скандалов могло бы прийти под властью дикого атамана Басаева или поэта-неудачника Яндарбиева, который на старости лет открыл в себе божественное призвание и возжелал называться имамом. А потому Масхадов решил, что единственным спасением будет выдвижение собственной кандидатуры.

Его последние сомнения и страхи развеяли сами россияне. Они твердили, что не сядут за стол переговоров с Басаевым, считают его банальным бандитом, зато готовы пригласить в Кремль Масхадова, которого они называли надеждой Чечни, прагматичным, умеренным, разумным кавказским Ататюрком, ориентированным на светскую Европу, а не на мусульманский Восток, мостом над бурным потоком, на котором встретятся и примирятся заклятые враги. Когда он победил на выборах, россияне объявили, что для них это приятная новость. Нашлись среди них и такие, кто утверждал, что Масхадов был бы прекрасным Министром обороны в правительстве России, и жалели, что теперь он, наверное, не согласится принять эту должность.

На выборах Масхадов получил две трети голосов, наголову разбив всех своих соперников. Выиграл, хоть не ездил по стране, чтобы завоевать расположение сограждан. Заигрывание на митингах, соревнование в пустых обещаниях представлялись ему ниже его офицерского достоинства. Когда, не дожидаясь объявления о победе, журналисты допытывались, кого он пригласит в правительство и что собирается делать, Масхадов явно смущался, но не скрывал удовольствия, когда журналисты называли его «господин президент».

Шамиль, опьяненный славой победителя России, уверенный в себе и своей счастливой звезде, выборы с треском проиграл. Ему отдала свои голоса только четвертая часть избирателей. У измученных чеченцев Шамиль ассоциировался с войной. Они выбрали Масхадова, дающего им надежду на мирную жизнь.

Шамиль долго не мог поверить в то, что проиграл. К тому же, фиаско на выборах в парламент потерпел его брат, которого в родном Ведено победил какой-то местный учитель. Как будто мало было всех этих горьких поражений, председателем парламента был избран фаворит Масхадова, а не поддерживаемый Шамилем его товарищ по оружию Большой

Асланбек, соратник по нападению на Буденновск. Когда во время торжественной присяги Масхадова Басаева спросили, что он думает о результатах выборов и каким видит будущее страны и свое собственное, он в ответ смог только тяжело вздохнуть: «Аллах Акбар — Бог велик!»

Он не был готов к разочарованиям, которые принесло ему мирное время. Болезненно переносил проигрыш Масхадову, обвинял президента, что тот отобрал у него ореол славы кавказского героя, не знал, куда деваться со своим унижением и позором. Вел себя, как капризное дитя, привыкшее к исполнению любых желаний, которое злится и топает ногами, когда впервые получает отказ.

Демонстративно выехал из столицы в Ведено, заявил об уходе из политики. Рассказывал, что поставит пасеку или займется нефтедобычей, будет заочно изучать право или торговать компьютерами, а может, откроет охранную фирму со своими бывшими соратниками.

Но долго в тени не удержался, испугался забвения — вернулся в большую политику, когда расчетливый стратег Масхадов в поисках союзников, нейтрализуя противников, поручил ему пост вице-премьера и фактически своего заместителя.

Впрочем, создавалось впечатление, что, если бы только была такая возможность, если бы хватало постов, Масхадов всех взял бы в правительство, всех сделал министрами, директорами, председателями, генералами. Он хотел угодить всем, всем что-то дать, чтобы всех перетянуть на свою сторону. Как будто боялся иметь врагов. Сначала предложил посты в правительстве Басаеву и Удугову, своим соперникам на президентских выборах. Он прибавлял собранные им голоса к тем, что получили Басаев и Удугов, и выходило, что восемь из десяти чеченцев должны поддержать его правительство.

Чтобы обеспечить себе благосклонность диких горцев, все еще оплакивающих Дудаева, Масхадов сделал их земляка вице-президентом. Быстро сообразив, что таким образом он вызовет недовольство Басаева, который ненавидел вице-президента, он сделал его вице-премьером. Потом одним махом наделил должностями почти всех своих соперников по президентским выборам. Удугов стал Министром иностранных дел, Закаев — Министром культуры, Гелаев — Министром обороны. Таким образом, в чеченском правительстве оказались практически все, друзья и враги, герои и предатели, ученые знаменитости и безграмотные выскочки.

Ожидалось, что, став президентом, Масхадов скорее окружит себя бывшими чиновниками, с которыми его связывало и воспитание, и образование, и биография. Наверняка у него было с ними больше общего, чем с молодыми партизанскими командирами, с которыми судьба его свела случайно. К тому же теперь, когда нужно было восстанавливать страну из руин, ему большегодились бы люди старого режима, инженеры и чиновники, а не партизаны-недоучки. Однако именно им отдал Масхадов первенство при назначении на правительственные должности.

Коммунистов и коллаборационистов допускал в правительство только тогда, когда действительно был вынужден это сделать. Говорил, что может они и умеют управлять, но наверняка не имеют на это морального права. Масхадов не скрывал, что министерские посты даются командирам не за их знания и умения, а за военные заслуги. Похоже, он верил, что в мирное время сможет командовать так же, как во время войны.

Ему выпало управлять страной, которую до основания разрушила война, и людьми, которых она развратила. Страной, где свобода была всегда важнее независимости, свобода, понимаемая как ничем неограниченное право вершить как добро, так и зло и даже определять, что есть добро, и что зло. Ему пришлось управлять людьми, которым смерть кажется пустяком по сравнению с оскорбленной честью, а всяческие конституции, предписания, уставы, законы и даже Коран уступают первенство древнему кодексу чести.

Ему пришлось управлять страной, из которой оккупационная армия, правда, ушла, но оставила при этом в каждом ауле по дюжине агентов и диверсантов — они должны были сделать так, чтобы Чечня никогда не выбралась из трясины бандитизма, раздоров и нищеты.

Страной, где люди говорят: тебе я верю, но ни на грош не доверяю тому, кому доверяешь ты.

Неизвестно было, с чего начинать. Все казалось срочным и неотложным. Что раньше восстанавливать: дома, школы или нефтезаводы? Вести переговоры с россиянами или разоружать джигитов, которые так привыкли к автоматам, что никак не могли с ними расстаться? А ведь их было около ста тысяч, и они ничего кроме стрельбы не умели, или попросту не хотели делать. Пытаться перетягивать врагов на свою сторону или начать, в конце концов, с ними бороться? Ни на что не хватало ни времени, ни сил. Все валилось из рук.

Кроме того, ни на что не хватало денег. В разрушенной войной стране государственная казна была пуста. Рубли, выделяемые во время войны назначенными Кремлем управляющими, были разворованы до копейки. Когда во время официального визита в Москву, куда он приехал на подписание мирного договора, Масхадов заговорил о деньгах, которые, якобы, широким потоком текли в Чечню на восстановление хозяйства, Ельцин развел руками: «А черт его знает, куда они подевались. Но я проверю».

Масхадову оставалось только сделать вид, что он принял обещание за чистую монету. Он старался любой ценой избежать конфликтов и даже мелких недоразумений с Москвой. В Чечне действовали российские агенты и провокаторы — Масхадов предпочитал делать вид, что ничего не замечает. Отказался от официальной поездки по странам Европы, боялся, что Москву это может задеть. Похоже, он действительно верил, что достаточно лояльно выполнять принятые на себя обязательства, чтобы Кремль также держал слово. Да и что ему оставалось, кроме веры?

Россия же о своем слове быстро забыла. Легко рассталась с призрачной надеждой, что Масхадов сам от имени чеченцев отречется от независимости, что хотя бы из любви к мундиру и красным звездочкам прибудет в Кремль и принесет присягу на верность. Когда же стало ясно, что Масхадов во власянице не появится под стенами Кремля, российские власти отложили дела Чечни в долгий ящик. Ни у кого не было ни желания, ни времени заниматься Кавказом, когда накопилось столько более важных и срочных проблем — как побороть экономический кризис, как противостоять растущей мощи Америки, выхватывающей у России, как рыб из садка, одну за другой ее бывшие колонии и протектораты, что делать с хлещущим водку президентом, и как найти ему наследника престола? Кто бы там морочил себе голову Чечней!

Не зная, что предпринять с Чечней, Кремль решил, что достаточно удержать ее, отягченную бесконечными проблемами, чтобы она не сбежала слишком далеко, чтобы была под рукой, когда у России появится какая-нибудь идея, время и силы, чтобы снова заняться Кавказом.

На помощь Америки и Европы Чечня рассчитывать не могла. Слишком дорога была им дружба с Россией, чтобы причинять ей ущерб из-за каких-то кавказских горцев, к тому же симпатия и сочувствие к чеченцам уменьшались с каждым очередным похищенным ради выкупа иностранцем. Соседскую помощь предложил Азербайджан, но Москва тут же наказала его экономической блокадой. Хотели протянуть руку грузины, но российский Министр внутренних дел предупредил: «Осторожно, у вас будут из-за этого одни проблемы, поверьте мне».

Только однажды российские власти предложили Масхадову помощь: «Если нужно, пошлем тебе немного оружия», — позвонили ему из Кремля, когда в Чечне назревал братоубийственный конфликт, а враги Масхадова готовились совершить вооруженный переворот. Масхадов уже почти согласился, но агенты донесли ему, что такую же помощь в виде автоматов и пулеметов россияне предложили его противникам. Просто они хотели, чтобы чеченцы вырезали друг друга, а потому с удовольствием-130 ем подсовывали кинжалы обеим сторонам конфликта.

Агенты также донесли Масхадову, что россияне настраивают против него мусульманских революционеров. «Вы проливали кровь не только за свободу, но и за веру, — распускали по деревням слухи российские провокаторы, — а теперь этот Масхадов не хочет

вам разрешить жить по законам шариата». Российский Министр внутренних дел поехал в Кадарскую долину в Дагестане, встретился с бунтарями, принял от них подарки. Вернувшись, рассказал обо всем Ельцину, а тот заявил по телевидению: «Молодцы! Пусть живут там, как хотят, даже по этому их шариату». «Видите, — продолжали сеять сомнения и подозрения российские агенты, — даже этот Ельцин, хоть водку пьет, а против ислама ничего не имеет. Зато Масхадов не хочет объявить Чечню халифатом верных». Когда Ельцин выгнал премьера Степашина, тот от злости или из зависти (он ведь рассчитывал, что будет назначен следующим президентом, а проиграл провозглашенному военным героем Путину) заявил во всеуслышание, что решение о вводе войск в Чечню было принято за полгода до того, как Басаев с боевиками напал на Дагестан.

Радостное, беззаботное упоение победой в войне уступало место все более болезненному и горькому разочарованию. У Масхадова ничего не получалось, все шло не так, он везде запаздывал. Отправлял людей на поиски похитителей заложников, а в это время кто-то грабил банк. Преследовал воров, а в городе кого-то убивали. Трудно поверить, но ограбили даже его собственный президентский кабинет. Воры вынесли компьютер.

Если он был мягким, от него требовали суровости. Если был суровым, обвиняли в тирании. Когда просил, предостерегал, заклинал, ему смеялись в лицо, называли слабым, бессильным. Когда грозил, стучал кулаком, поднимался стон — Масхадов диктатор. Убийцы, грабители, торговцы невольниками, уверенные в безнаказанности, наплевав не только на уголовный кодекс, но и на Коран и извечный долг кровной мести, спокойно расхаживали по улицам разрушенного города. От Масхадова требовали, чтобы он навел порядок в стране, но земляки никогда бы ему не простили и не забыли, если бы он прибег к насилию. Он даже не мог никого арестовать. Никто бы ему добровольно не сдался, не обошлось бы без применения силы, а если бы преступника удалось, наконец, бросить за решетку, его родственники не успокоились бы, пока тот не оказался на свободе.

Привычному к военной дисциплине Масхадову все труднее было сдерживать ярость, когда его подчиненные сомневались в его решениях или вообще отказывались их выполнять. Воспитанный в мире команд, уставов и приказов, он не выносил критики, особенно со стороны тех, кого он превосходил по своему положению.

А его вдруг стали критиковать практически за все.

Что бы он ни сделал, все вызывало протесты и возмущение. Когда-то всех восхищало, что перед тем, как принять какое-то решение, он долго размышляет, обдумывает, взвешивает возможные последствия. Тогда говорили, что он предусмотрительный, теперь — что нерешительный, что медлит, что у него нет никаких идей, никаких планов. Если он пробовал договариваться с Россией, бывшие полевые командиры обвиняли его в предательстве великого дела. Когда он срывал переговоры, Кремль называл его банальным главарем лесных боевиков. Когда по требованию мусульманского духовенства и боевиков он объявил, что в Чечне высшим законом будет Коран, его земляки возмутились, заявляя, что не готовы еще жить по законам божьим. А когда попытался смягчить правила Корана, его проклинали все. Бывшие товарищи по оружию когда-то с гордостью говорили о нем «российский полковник», теперь дарили только презрением. «Он же всего-навсего российский полковник, да еще штабист, из тех, кто воюет только на карте, — говорили они, — что можно от такого ждать?»

Все чаще вспыхивали бунты и взрывались бомбы, закладываемые его врагами вдоль улиц, по которым он ехал каждый день в президентский дворец. Он вышел живым из дюжины покушений. Как-то ему пришлось выскакать из горящего автомобиля, в другой раз бомбу подложили на кладбище — он должен был погибнуть во время похорон.

Он становился голым королем без власти, которую у него растащили разбойничьи главари, раздирая страну на куски. У них были деньги, чтобы достать оружие, и оружие, чтобы достать деньги. Во время войны они слушались его приказов как подчиненные. Теперь подчинялись его власти только тогда, когда им было это выгодно. То воевали друг с другом, то мирились, становились союзниками. Раз были на его стороне, другой раз выступали

против него, готовые отобрать у него власть.

Отчасти именно из-за них, в страхе перед ними, Масхадов взял в правительство Басаева и даже назначил его своим заместителем, когда сам отправился на паломничество в Мекку. И надо признать, что в роли управляющего небольшого чеченского государства, Шамиль проявил себя не худшим образом. Во всяком случае, он старался.

Вместе со своими соратниками, которых он именовал теперь министрами, Басаев пытался поставить на ноги экономику, обуздать бандитизм и торговлю живым товаром, как чума охватившими Кавказ (сам он похищением людей ради выкупа никогда не занимался). Он действительно серьезно трактовал свою функцию, роль премьера и политика затянула его, как наркотик. Теперь он жаждал славы доброго и мудрого канцлера. Не мог только смириться с тем, что Россия абсолютно игнорирует и его, и президента.

«Я понимаю, меня они ненавидят, считают преступником, но что они имеют против Масхадова? — бесился он, когда оставался наедине со своими ближайшими друзьями и мог не скрывать своих сомнений и эмоций. — Ведь пока мы действуем вдвоем, никто и не пикнет. Все может получиться. Надо только помочь».

Он злился, что россияне видят в нем только шального бандитского атамана, а он в своей мятущейся душе видел себя уже в ином воплощении. И, наконец, он понял, что таким изменившимся он России вообще не нужен. Напротив, россиянам Шамиль был нужен таким, каким был раньше. Им не нужна была нормально управляемая, спокойная, безопасная Чечня. Поэтому они игнорировали Масхадова и отнюдь не желали ему успехов. И Шамиль решил, что дальнейшее премьерство — пустая трата времени, что из трясины нищеты, бесправия и насилия нет никакого выхода. Потеряв ко всему интерес, он отказался от поста премьера. «Примешь ты мою отставку, или нет, меня уже не касается, — написал он Масхадову. — Я ухожу, и ничто меня здесь не удержит».

Пост премьера, который начал было приносить ему такое удовлетворение, оказался очередным горьким разочарованием. Победоносная, героическая Чечня превращалась в склочный базар. Бессильный и разочарованный Шамиль мог только наблюдать, как страна катится в пропасть, а бывшие военные герои грязнут в интригах друг против друга, берут взятки и обрастают жирком, как стирается память о военном героизме и героях, а через черный ход возвращаются давние родовые устои. Как бездарно растрачивается великая победа.

Кроме всего прочего, Шамиля никогда не устраивала второстепенная роль человека для черной работы. Подчинение кому бы то ни было, чему бы то ни было противоречило его характеру. Раз не мог быть первым в государстве, решил, по крайней мере, стать первым в оппозиции президенту Масхадову. Возглавил союз непокорных и разочарованных полевых командиров, которые, как он сам, не нашли себя в мирной жизни. Басаев дал объединению название «Конгресс народов Чечни и Дагестана» и заявил, что отныне его целью будет не только освобождение Кавказа от гнета России, но и создание в горах халифата, живущего исключительно по законам Бога. Такого, за который много лет назад боролся его великий тезка, имам Шамиль.

Воистину странный и извилистый путь прошел Шамиль Басаев прежде, чем из жизнелюбца, искателя приключений и веселых потех превратиться в солдата священной войны, ведущего жизнь отшельника, ищущего мученической смерти, открывающей перед ним врата рая.

Сам он утверждал, что именно война преобразила его из грешника в правоверного мусульманина. Враги, которых у него всегда было под dostatком, не верили этому. Они считали, что ислам и джихад были для самовлюбленного Шамиля единственным спасением от небытия забвения.

Ему все труднее было выносить послевоенное время. Каждый день был хуже предыдущего. Бледнела память о военном геройстве, командование бездействующими боевиками граничило с абсурдом, новой же войны ничто не предвещало, даже сама мысль о ней была непросительным преступлением. Повседневность казалась ему такой гнусной,

такой недостойной его жизни, что ему хотелось рвать и метать.

Он готов был прозябать в своем аполитичном одиночестве, но при условии, что останется у всех на устах, что его слова будут повторяться всеми, что над его поступками будут размышлять, что будут кружить легенды об очередной свадьбе или визите к президентам соседних кавказских государств, куда он привозил в подарок бочонки меда со своей собственной пасеки.

Но, лишенный войны и отстраненный от власти, он никого не интересовал, с ним перестали считаться. Не было больше влиятельных связей, он ничего не решал, ни в чем не мог помочь, нигде не мог приложить свои силы. Даже денег уже не хватало. И он стал судорожно искать новых друзей и новой возможности возвращения на большую сцену.

Тогда-то он и связался с мусульманскими революционерами, которых прибывшие издалека добровольцы, кочевники священных войн из Аравии, Афганистана и с Балкан, вдохновили на создание на Кавказе государства Бога.

Богатых, готовых к самопожертвованию пришельцев, несмотря на все их воинские достоинства, чеченцы поначалу не понимали и не любили. Их вера казалась слишком непохожей на ту, которую горцы исповедовали веками. Сам Шамиль относился к ним недоверчиво, не понимал их презрения и неприятия радостей жизни, видел в них соперников своей славы.

После войны чеченцы поблагодарили арабов за помощь, но попросили как можно скорее покинуть Кавказ. Этого требовала Россия, утверждая, что иностранные добровольцы — банда террористов, опасных мятежников и людей вне закона, находящихся в розыске полиций всего мира. Тем, что им удалось остаться на Кавказе, они обязаны исключительно Басаеву — он встал на их защиту, а командира арабов, бородатого Хаттаба объявил своим другом и братом. Обрадованные мусульманские революционеры и кочевники священных войн провозгласили Шамиля своим эмиром. В новый союз Шамиль внес свою джигитскую славу, а Хаттаб — заграничные связи и деньги. Ибо араб оказался эмиссаром самого Усамы Бен Ладена, основателя и казначея Аль-Каиды, террористического интернационала, из-за которого и против которого в начале двадцать первого века разгоралась третья мировая война. Хаттаб обеспечивал постоянное поступление оружия и наличных денег на нужды священной войны. Рассказывал, что познакомился с Усамой в Афганистане, что сражался в бригаде, которой командовал саудовец. Хаттаб называл его «добрым человеком» и разделял его идею изгнания «неверных» из всех исламских земель.

Но не только угроза забвения и деньги сделали из Шамиля воина священной войны. Ислам стал для него и глубокой верой, и политической стратегией.

У таких, как он, мирное время отбирало все: цель, смысл жизни, надежды. В кастовом кавказском обществе, связанном по рукам и ногам традициями и кодексами чести, в котором место человека определяется принадлежностью к роду, молодые люди низшего сословия с момента рождения были лишены каких бы то ни было шансов.

Война позволила им выбиться в люди. Поэтому они сопротивлялись возврату довоенных устоев, которые с каждым днем все больше брали верх над недавним революционным порывом. Ислам, проповедующий равенство всех перед Наивысшим и приоритет братства по вере над братством по крови, был для них избавлением и надеждой на лучшее будущее. Они предпочитали жить в государстве, управляемом по законам Бога, а не по законам предков. Тем более, что подвергавшиеся долгие годы губительному влиянию войн и преследований, и, прежде всего, убийственному для традиций влиянию современности, законы предков превратились просто в привычный ритуал, стали скорее легендой, чем всеми признаваемым и исполняемым кодексом и жизни.

В исламе, мусульманской революции и законе шариата увидел Шамиль не только свое спасение, но и спасение погрязшей в беззаконии и насилии, все больше раздираемой междоусобицами, Чечни. Он решил, что только закон Божий позволит объединить чеченцев, и только с помощью Корана можно совершить социальную революцию.

Он стал также ярким поборником экспорта революции кавказским соседям. Понял, что

окруженная коррумпированными сатрапами, даже самая справедливая, но отрезанная от мира Чечня никогда не станет по настоящему свободным государством. И что разъедаемый распрями Кавказ никогда не будет суверенным, если не объединится. А объединиться он может только под знаменами Пророка.

Так и позволил Шамиль обольстить себя мечтам, соблазнам и обещаниям новой, теперь уже священной войны.

Мусульманский фундаментализм, вызывающий такую обеспокоенность и дурные ассоциации в России, Европе и Америке, на Кавказе воспринимался исключительно как позитивное явление. Он означал самоутверждение, возвращение к истокам, возрождение, очищение.

Необходимость обустройства страны по законам Корана видел и Джохар Дудаев, который даже отдал своим министрам соответствующие распоряжения, и пришедший ему на смену Селим Хан Яндарбиев, недостаток силы и харизмы пытавшийся возместить воинственностью убеждений.

Как-то, когда мы возвращались из Грозного, Мансур спросил, не хотел бы я с ним поговорить. Хотел, конечно, хотел. Мне самому это не пришло в голову, потому что я был занят мыслями о Масхадове и Басаеве, разговорами о них и с ними. И тревожащей душу надписью на камне у дороги в Гюмры: «Не станет героем тот, кто думает о последствиях».

Я постоянно к ним возвращался, старался еще раз переговорить, подбирал новые, бьющие в самую суть вопросы, выискивал скрытый, возможно, мистический смысл ответов, которые должны были рассеять мои сомнения. Бродил с рассвета до заката, жил в осажденном, готовящемся к смерти городе, пытаюсь в спешке — не дай Бог, опоздаю! — и любой ценой узнать и понять только этих двоих людей. Президента и джигита. Как будто именно они были самой главной загадкой, а ее решение могло помочь ухватить суть дела.

Я махнул рукой на встречу с мэром города, родственником Джохара Дудаева, без особого внимания беседовал с несколькими известными, как уверял Мансур, командирами, фамилии которых я даже не записал.

Отказался я и от разговора с Салманом Радуевым, самым странным из всех полевых командиров. Его называли «оборотнем», «человеком с пулей в голове» или «Титаником». Из-за титановых пластин, которыми врачи залатали его раскрошенный пулями череп. Впрочем, он столько раз был ранен, пережил столько покушений, из которых просто не имел права выйти живым, что шрамов, швов и протезов мог насчитать у себя больше, чем живых частей тела. Лицо было изуродовано пулями и ожогами, он потерял глаз, нос и ухо, после очередных операций даже самые близкие люди не могли его узнать, быть до конца уверенными, он ли это на самом деле. Его несколько раз объявляли убитым, а под Урус-Мартаном, говорят, у него была даже своя могила.

Радуев, болезненно завидуя славе Басаева, утверждал, что регулярно разговаривает по телефону с покойным Дудаевым, кстати, его свойственником; признавался во всех без исключения взрывах и похищениях в России, (говаривал, что если не может существовать чеченское государство, не может существовать и российское), в сотрудничестве со всеми возможными разведками, включая ЦРУ и МОССАД, пугал атомной бомбой, которую, в зависимости от настроения, то уже имел, то, как раз, покупал. В Грозном шутили, что он признался бы даже в убийстве Кеннеди, если бы тогда уже родился.

Впрочем, от встречи с Радуевым отговаривал меня сам Мансур. Говорил, что Салман уже ни на что не годен, что его преследуют бесконечные кровотечения и головные боли, что теряет рассудок и держится только на обезболивающих средствах. Но когда Мансур спросил, хочу ли я встретиться с Яндарбиевым, я по его голосу почувствовал, что отказ был бы чем-то неприличным, нарушением правил хорошего тона, пренебрежением своими обязанностями.

Яндарбиев жил в Старых Атагах, типичной чеченской деревне в предгорье, не имевшей, казалось, ни начала, ни конца. По пути в Грозный мы часто проезжали практически рядом с его домом. С тех пор, как он проиграл Масхадову президентские выборы, Яндарбиев держался в тени, мало кого интересовал. Нам не пришлось высылать

гонцов, чтобы уговорить его на встречу.

Он все еще горько переживал поражение. Считал, что его бывшие подчиненные командиры, предали его, участвуя в президентских выборах.

— Дело было не во власти, меня самого она не интересовала, — вспоминал он, потирая ладонью бритую голову. — Но странно все получилось. Мы выигрываем войну, но меняем командующего. Как будто отворачиваемся от того дела, за которое воевали.

Отдавая власть Масхадову, Яндарбиев, как будто ему в отместку, объявил Чечню мусульманской республикой, живущей и управляемой исключительно по законам шариата.

— Закон Корана — самое совершенное государственное устройство. В нем в мельчайших деталях прописаны все институты, ситуации, нормы поведения и социальное положение. Коран дает ответ на все вопросы, — характерно прищуривал Яндарбиев в задумчивости левый глаз. — Наш народ чувствовал себя растерянным после падения империи, искал какую-то опору. Боялся экспериментов, выборов, демократии. Да и зачем было прибегать к полумерам, если в нашем распоряжении было оптимальное решение?

Если он хотел из мести усложнить Масхадову правление, то просчитался. Масхадов, далекий от революционной эйфории и религиозных порывов, после глубоких раздумий сам решил обратиться к исламу. Он искал чего-то, что позволило бы ему сохранить единство распадающегося государства, знамени для всех, хоть какого-то дела, идеи, по отношению к которым существовало бы абсолютное согласие.

Ссылаясь на закон Бога, и объясняя им свои поступки, проще было принимать самые трудные решения, преследовать и бросать за решетку преступников, наступать на больные мозоли другим. Подхватив зеленое знамя ислама, Масхадов отобрал его у своих противников, молодых командиров, требующих провозглашения Чечни Царством Господним, о котором они, честно говоря, не имели ни малейшего понятия. Они не знали, чем такое государство должно быть, зато знали точно, чем оно не является и чем не должно быть, другими словами — их сегодняшней жизнью. Отказ от нынешнего положения вещей был для них первым и обязательным шагом на пути к совершенству.

Надеясь, что его непокорные подданные, не признающие никаких людских законов, склоняться, по крайней мере, перед законами Корана, Масхадов приступил к решению задачи уподобить свою страну государству шариата. Осуществление этого он поручил особым трибуналам. В них привлекали людей, осведомленных в религиозном законодательстве и теологии, в большинстве своем получивших образование в Аравии, молодых, нетерпеливых, видевших настоятельную потребность революционных перемен. Это не понравилось старейшинам кланов и старым муллам, отказывающим, в соответствии с традицией, молодежи в праве принимать решения по каким бы то ни было вопросам.

Ни с кем и ни с чем не считаясь, трибуналы объявили, что чеченские суды будут отныне выносить приговоры только на основе Корана. Букве Корана должны были подчиниться и банки, в первую очередь, отказываясь от права ссужать деньги под проценты. Был введен запрет на продажу и употребление водки, признанной дьявольским изобретением. Женщинам приказали одеваться скромно, лучше всего в свободные одежды, скрывающие формы, волосы прикрывать платками. За нарушения требований к форме одежды могло последовать даже увольнение с работы. В будущем предполагалось, что женщины будут работать в отдельных помещениях. Предвиделось создание в школах отдельных классов для мальчиков и девочек.

Русскую кириллицу заменили латинским и арабским шрифтами, арабский язык изучали в школах. Трибуналы запретили празднование Нового Года и христианского Рождества. Начальники тюрем ввели обязательное пятиразовое моление, а тем заключенным, кто не хотел молиться, грозили высылкой в Россию. Было создано также специальное управление нравов и борьбы с безнравственностью с особыми вооруженными патрульными группами, следившими за соблюдением новых порядков.

Революционные трибуналы взяли даже за первопроходческую по своей сути задачу — искоренить повсеместный на Кавказе долг кровной мести, или, по крайней мере, заменить

ее поощряемой Кораном денежной компенсацией. Ученые муллы обязались разработать соответствующую таблицу перевода рекомендуемых в качестве отступных верблюдов в более доступные на Кавказе товары. Один из судей назначил, например, компенсацию в размере шестидесяти трех верблюдов, которую должен был заплатить некий чеченец семье сбитого машиной мальчика. Когда наказанный обжаловал решение, судья заменил штраф в верблюдах на коров, из расчета один верблюд — две коровы.

Революционные трибуналы не скупались на суровые приговоры, стремясь указать горцам праведный путь. Пьянство наказывалось розгами, супружеская измена — побоем камнями, убийц приговаривали к смерти, а право на исполнение приговора получали семьи жертв. Экзекуции приводились в исполнение публично и транслировались по телевидению. Для острастки. Трансляции были запрещены, когда разгорелся скандал. В Грозном, на площади Дружбы народов, расстреляли женщину и мужчину за убийство. Другая женщина, заказчица преступления, была в положении, ее казнь отложили до родов. В Бачи-Юрте на Сунже родственник жертв убийцы с согласия трибунала перерезал преступнику горло.

Суровость наказаний и жестокость, с которой их применяли бородачи из патрулей революционных трибуналов, привели к тому, что достаточно быстро пошли на спад преступность, пьянство, наркомания. Правительству удалось ввести запрет на ношение оружия в общественных местах. Даже напуганные чиновники стали относиться к людям более доброжелательно и выполняли свои обязанности, не требуя, как раньше, бакшиша.

Но разнуздавшиеся муллы и боевики революционных трибуналов не собирались быть только послушными слугами президента, тем более, что джигиты подстрекали их к бунту.

Кроме того, в отличие от Масхадова, трибуналы имели реальную власть — собственное войско, полицию, судей и прокуроров. Чеченский халифат стал государством двоевластия.

Все чаще случались вооруженные столкновения. Взбунтовавшиеся полевые командиры пытались взять штурмом телебашню в столице. До кровавых столкновений между бунтарями и верными президенту войсками дошло в Гудермесе и Урус-Мартане.

Революционный трибунал признал Масхадова узурпатором, утверждая, что в Коране нет упоминаний об институте президентской власти. Отставки Масхадова потребовал даже его заместитель, вице-президент Арсанов, который открыто перешел на сторону оппозиции, требуя не только ликвидации поста президента, но и роспуска парламента, и замены их Большим Советом и избранным на нем имамом.

В ответ Масхадов сам созвал Большой Совет, который должен был служить ему поддержкой, и пригласил в него своих яростных противников. Те создали свой Большой Совет и эмиром избрали Басаева.

Президент все еще пытался избежать конфликта, все еще уступал. Отправил в отставку председателя мусульманского трибунала, но, чтобы не обидеть его род, отдал этот пост его дяде. О неповиновении вице-президента просто старался забыть. Выступил с идеей учреждения в Чечне Дня согласия и примирения, прощения старых обид. В ответ его снова попытались убить.

Его противники видели во всем этом проявление слабости и множили свои требования. Он становился их заложником, каждый день капля за каплей отдавал им власть. Достаточно кому-то было взбунтоваться против него, как он предлагал ему пост войта или директора департамента в министерстве. А если в тот момент не было вакантного места, увольнял тех, в верности которых был уверен.

Подданные стали ворчать, что Масхадов теряет лицо.

— Вы думаете, мне легко было терпеть всех этих Басаевых, Радуевых, Бараевых? Думаете, легко было переносить их идиотскую критику, обвинения, все эти бредни? Думаете, у меня не чесались руки раз навсегда призвать их к порядку?

Осенью девяносто девятого, когда российские бронеполки как жуки карабкались на окружающие чеченскую столицу предгорья на Тереке и Сунже, Масхадов носил серебристую бородку. Еще одна уступка мятежным партизанским командирам, для которых заросшие щеки были свидетельством благочестия и доблести.

— Говорят, я слабый, потому что не расправился с Шамилем, когда тот напал на Дагестан. Я не Басаева боялся, а войны с Россией! Россия очень рассчитывала на то, что мы схватим друг друга за глотку, перебьем

друг друга. Стоило начать гражданскую войну, Россия бы тут же отправила войска на Кавказ делить и мирить нас, а на самом деле уничтожать на корню. Если бы Чечня, как Грузия, была независимым государством, если бы ее безопасность гарантировал международный запрет вооруженных агрессий, я бы раздавил своих врагов в мгновение ока. Так как Шеварнадзе расправился со своими бандитами. Ему не приходилось бояться предательского удара в спину. Мне бы тоже хватило сил, и рука бы не дрогнула. Но я не имел права допустить гражданскую войну. Не мог поступить иначе. В конце концов, они тоже боролись за свободу Чечни.

— А стоило ли того? Хорошо, вы не допустили гражданской войны, но война с Россией все равно началась, и вызвал ее тот, кого вы больше всех старались обласкать, Шамиль Басаев.

— Россия напала бы на нас, так или иначе. Будучи президентом, я счел своим долгом оттянуть начало войны, хотел дать стране хоть небольшую передышку. А когда россияне подошли к Грозному, Басаев, Радуев, Исраилов и другие пришли ко мне и сказали: Аслан, что было, то было. Знай, ты можешь на нас рассчитывать. И я подумал: интересно, откуда бы я теперь взял солдат для войны, если бы отобрал у них раньше автоматы и дал в руки лопаты?

— Не вышло. Вы себя чувствуете виноватым?

— Виноватым?.. Не знаю... Война, страдания, смерть невинных людей... Видеть все это и не быть в силах что-то сделать... Это бессилие... Я знаю, что как руководитель, я несу ответственность за все, что случилось. Может, я действительно виноват, может, обманул доверие земляков, понадеявшихся на меня. Не смог предотвратить войну, истребление своего народа. Но я действительно сделал все, что было в человеческих силах, не щадил себя, посвятил все, всего себя. Если я все-таки виноват, то эту вину должны разделить со мной и другие — мой предшественник, Селим Хан Яндарбиев, мой заместитель Ваха Арсанов, Шамиль Басаев, Хаттаб. Зачем они брались за политику? Зачем мешали мне? Если бы не это, может, удалось бы нам построить нормальное государство. А они сделали из Чечни политический балаган, в котором люди с открытыми ртами слушали бредни Радуева.

— А если бы вы знали, чем это все закончится, вы все равно бы выставляли свою кандидатуру на пост президента?

— Я не стремился к власти. Устал от войны, мечтал о передышке, как весь чеченский народ. Он заслуживал отдыха, а не новой войны. Но уже тогда ее угроза существовала. Я со страхом слушал выступления разных политиков, полевых командиров. Меня ужасала эйфория, охватившая их после победы, эта неожиданно выплеснувшаяся жажда власти. Эти призывы к священной войне, к освобождению Кавказа и мусульман всей России, к поднятию зеленых знамен ислама над Кремлем! Я уже тогда видел, что все идет к новой войне. А потому решил, что надо, по крайней мере, ее оттянуть, дать людям немного времени, вздохнуть, залечить раны. Я был убежден, что именно мне удастся выполнить эту задачу лучше других претендентов на президентское кресло. Даже если бы я тогда знал, что война начнется через три года, я тем более принял бы участие в выборах.

— И все-таки, не разочарованы ли вы тем, что произошло? Не мучит вас мысль, что лучше было бы вообще не заниматься политикой, а уйти на пенсию полковника и жить себе спокойно, хоть бы в той же Литве? Жена вас не уговаривала все бросить и уехать куда-нибудь подальше?

— Как бы я мог спокойно жить на офицерской пенсии в Вильнюсе или под Москвой, если бы в это время россияне напали на мою страну? Даже пенсионером я приехал бы в Чечню и воевал. Хоть простым солдатом.

— А если бы вы могли повернуть время вспять и вернуться в самый счастливый день своей жизни?

— Я всю жизнь был солдатом, трудно мне не думать, не чувствовать по-солдатски. Решение вернуться на родину было, наверное, лучшим из принятых мной когда-либо решений. А самым счастливым, наверное, был день, когда Джохар поручил мне должность шефа штаба чеченской армии.

— А худшая минута?..

— Я был честен, я ничего не обещал. Я говорил людям, чтобы готовились к худшему. Но страшнее всего было беспомощно наблюдать, как внезапно, цинично и подло убивают людей, стирают с лица земли деревни, фабрики, больницы, памятники, школы, мосты и кричат на весь мир: не вмешивайтесь, это наше дело! Разве, если безумная мать душит собственного ребенка, ей позволено это делать? Семейное, мол, дело? Война — это не только разрушения, могилы, пепелища. Войны ранят и калечат людские души. Войны приостановить просто, закончить трудно. Войны продолжаются, пока по миру ходит хоть один человек с такой раненой, кровоточащей душой. Пока будет ходить по земле хоть один из нас, тех, что воевали. Мы уже никогда не вернем себе душевного покоя.

— Подписывая мир с Россией, вы не верили, что она сдержит слово?

— Подписывая договор, мы не задумывались, расставаться ли с Россией или нет, мы думали, каким образом этот развод будет осуществляться. Когда я позже встречался с Ельциным в Москве, он спросил меня, согласимся ли мы на такую автономию, какую в России получили татары. Я посмотрел ему в глаза и сказал: никогда в жизни. Потом россияне перестали даже меня уговаривать и давить, чтобы я согласился на какую-то форму автономии. Было ясно, что они начали готовиться к войне.

— На какие уступки России вы готовы были пойти, чтоб она прекратила войну? Готовы ли вы были, например, положить на алтарь мира в Чечне ее независимость?

— Мы никогда не пожертвуем независимостью ради мира. И дело не в принципе, дело в том, что если я, как чеченский президент, откажусь от независимости моей страны, я обреку на войну и гибель своих внуков. Мы же уже четыреста лет воюем. Вся наша история — это одна великая война с Россией. Ермолов, гражданская война, предательства белых и красных, Сталин, Ельцин, Путин. Все время война, все время погромы, пожарища, трупы. Эту войну из поколения в поколения передают в Чечне отцы сыновьям. Пока что ни одно поколение не могло передать потомкам ничего, кроме воспоминаний о жестокостях и несправедливостях со стороны России. Как мы можем жить в России, если она у нас ассоциируется только со смертельной угрозой? Чеченцы собственной кровью веками платят за разгадку загадочности русской души. Телами наших предков усеяны Сибирь и пустыни Туркестана. И мы должны чувствовать себя в России в безопасности? Верить ей? Как народ мы имеем шанс выжить только в независимом государстве, признанном всем миром, таким, которое Россия не сможет безнаказанно захватывать, грабить, рушить по своему усмотрению. Мы хотим независимости для того, чтобы Россия больше не имела права нас убивать.

— А есть ли такое дело, за которое стоит отдать жизнь?

— Да. Свобода. Жить свободным. Верить в своего Бога. Жить, как жили отцы, в согласии с традициями и обычаями. Знать, что тебе и твоим близким ничто не угрожает. За это стоит отдать жизнь.

— А что для вас значит слово «свобода»?

— Свобода — это право жить по-своему. Право на существование. Чтобы никто не мог нас безнаказанно убивать. Вот и вся свобода.

Шамиль Басаев велел мне прийти в обеденное время. Уже с улицы его дом из красного кирпича напоминал боевую крепость. И был крепостью. За голову Шамиля российские генералы пообещали награду в миллион долларов. Потом неоднократно увеличивали сумму.

Огромный двор был заставлен внедорожниками «тойота», военными джипами, полевыми кухнями. Под стеной штабелем были сложены минометы.

Везде сновали бородатые партизаны в полевых солдатских мундирах. Большинство из них участвовало в военном походе Шамиля на Дагестан. Их было легко распознать. Они

казались старше. Их выдавали лица, удивительно спокойные, как будто отсутствующие, и жесты, более неторопливые, солидные. Они больше держались вместе, связанные братством недавно пережитого, близостью смерти и страха, осознанием того, насколько их все это отличает от остальных. Меньше говорили, тише смеялись, от вопросов о недавней войне в Дагестане отделялись шутками, не в силах передать словами того, что пережили.

Шамиль приказал поварам накормить нас пловом и отварной, жилистой говядиной из полевой кухни, свежим хлебом и луком. Только после обеда его адъютанты проводили нас по узкой лестнице на второй этаж.

Он был невысокий, но крепко сложенный, молодцеватый. В полевом мундире. Поприветствовал нас быстрым, крепким пожатием руки и уселся, подвернув ноги, на ковер. На левом плече — погон с мусульманским кредо: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его».

С тех пор, как он присоединился к мусульманским революционерам, в соответствии с их модой перестал бриться, и теперь длинная черная борода падала ему на грудь. Нашел Шамиль решение и для ранней лысины — брил голову, так же в соответствии с революционными канонами. У меня создалось впечатление, что этот новый облик ему безумно нравился.

— Шамиль Басаев, восемнадцатикратно убитый, — бросил вместо приветствия.

Во время разговора, явно доставлявшего ему удовольствие и развлекавшего его, оставался настроенным, внимательным, точным в словах. В отличие от Масхадова, говорил свободно, быстро, с воодушевлением, со свойственным чеченцам саркастическим юмором. Легко менял роли, как только предыдущая ему надоедала. То был разбойничьим атаманом, пользующимся уличным жаргоном, то через минуту произносил пламенную революционную речь, говорил тоном самоуверенного, не терпящего возражений, государственного мужа. То вдруг проявлялся в нем язвительный насмешник или остроумный, познавший жизнь мудрец, который на наших глазах превращался в скрывающего тысячу тайн заговорщика. Его секретари, адъютанты и охрана, молча сидя на коврах у стены, не сводили глаз со своего командира, как с блестяще играющего спектакль актера.

Шамиль не забывал и о собеседнике, не позволял ему ни на секунду потерять интерес, или не дай Боже, почувствовать скуку. Точно расставлял акценты, пересыпал речь поговорками, которых, кажется, имел в запасе множество на любой случай жизни. Искреннюю, чуть ли не мальчишескую радость доставляло ему поймать гостя на неудачно подобранном слове, неточной мысли.

— А вы не боитесь, что...

— Я, извините, ничего не боюсь.

С его живого лица просто била энергия, дикая жизненная сила, острый ум и какое-то трудно определимое очарование.

— Это было, вероятно, для вас необычное лето. Сначала вас объявили эмиром Кавказа, а потом величайшим террористом. А вы себя сами кем считает? Кто вы? Спаситель Кавказа? Бич Божий? Боевик? Государственный деятель?

— Я — простой мусульманин, стараюсь жить, как приказал Всемогуший.

— Простой мусульманин, которого именуют предводителем священной войны против неверных? Еще недавно вы говорили, что самой большой угрозой чеченской независимости является мусульманский фанатизм.

— И я не изменил своего мнения. Пророк Магомет говорил, что есть три смертельные угрозы для ислама — воинственные безбожники, мусульманские ученые, которые ложно толкуют Коран, и фанатичные неучи. Это их я имел в виду, когда говорил о мусульманском фанатизме. Фальшивые ученые — это продажные муллы, обманывающие верных, чтобы выслужиться перед безбожными тиранами, а воинственные безбожники — это, естественно, россияне.

— Давайте поговорим о вашем обращении в веру. Еще пять лет назад вы прославились,

как партизанский командир, но никто тогда, наверное, не предполагал, что вы станете одним из предводителей священной войны, мусульманского восстания на Кавказе.

— Истинным мусульманином меня сделала война. Мы все рождаемся магометанами. И вы, и я пришли в мир как дети Всемогущего. Но мы не в силах с первых же дней найти правильный путь, блуждаем вслепую, спотыкаемся. Блуждают и наши поводыри, наши отцы, духовники, предводители. Часто из лучших побуждений ведут нас по ложному пути. Я тоже многие годы заблуждался. Стремился к ложным ценностям. Еще во время прошлой войны я боролся под знаменем «Свобода или смерть». А сегодня сражаюсь и за веру. Я понял, то, во что я до сих пор верил, — только мираж, что это все брэнно. А единственная вечная ценность это вера во Всемогущего. Что только она дает надежду и покой. Конечно, не в один день пришел я к этому. Дозревал постепенно. Пять лет назад, когда Россия напала на нас, западный мир — страж всех священных ценностей, таких как свобода, равенство, справедливость, братство, гражданские свободы — отвернулся от Чечни. Предал нас, как продажная девка, которая идет с тем, кто больше платит. Многому это нас, чеченцев, научило. Мы увидели фальшь наших наставников. Поняли, что можем рассчитывать только на себя и на милосердие Аллаха. Это дало нам огромную силу.

— А как это изменило чеченцев?

— Колоссально. Сегодня на войну с Россией мы идем уже совершенно другими людьми. Мы боремся не только за свободу, но и за веру. Не только мои моджахеды, почти все чеченцы стали в Коране искать ответ на вопрос, как жить. Еще пять лет назад среди нас было много тех, кто не молился, пил спиртное, курил табак, употреблял наркотики. Сегодня вы таких найдете не много, а в моей армии их вообще нет. Я сам бросил курить. Недавно закупил для своих моджахедов мясо в России, так они теперь идут ко мне один за другим и объясняют, что не хотят его есть, потому что скот забит не по мусульманским обычаям. Придется мясо раздать.

— Не кружит ли над Чечней призрак мусульманского фундаментализма?

— Кружит, кружит. Среди нас есть много воинствующих неучей, которые хотели бы установить законы Божьи в один день, не понимая, что люди еще к этому не готовы. Впрочем, не только простые люди. Чаще всего те, кто думает о законе Бога, сами понятия не имеют о Коране, хотя убеждены, что познали все премудрости. Что касается меня, я противник как воинствующего безбожия, так и воинствующего невежества.

— Шамиль Басаев — враг крайностей? Для многих вы являетесь их воплощением.

— Они из меня делают такого. Я сам не знаю, почему.

— Вас это удивляет? А рейд на Буденновск не был крайним решением? Собрать готовых на смерть смельчаков и повести их вглубь России, когда в самой Чечне идет война? Разве это не крайность?

— А что в этом крайнего? Мы все когда-то умрем. Такими нас создал Всемогущий. Выбор, который он нам предоставил, это не когда мы умрем, а как. Умрем, когда будет на то его воля, и ничего с этим не поделаешь, хоть в каменную башню спрячься. Единственный выбор — как умереть. Я решил умереть как воин. Какая же в этом крайность?

— Масхадов говорит, что глупостью и исключительной безответственностью с вашей стороны было нападение на соседний Дагестан, что вы дали России повод к войне.

— А я говорю, что глупостью было подписание перемирия с Россией и предоставление ей времени на подготовку к новой войне. Война бы началась, так или иначе. Уже тогда, после той войны, когда мы разбили россиян, надо было их добить, поставить на колени. Мы говорили Масхадову, чтобы он не договаривался с россиянами, ничего не подписывал. Говорили, что это ошибка, позволить России выйти из войны без контрибуции, без политических уступок, даже без извинений, наказания виновных в уничтожении гражданского населения Чечни. Они ушли из Чечни, как будто ничего не случилось, как будто они не проиграли войну. Масхадов возмущался. Говорил: «Что вы болтаете?! Вы только посмотрите, кто подписался под Хасавюртским договором о перемирии! Сам Ельцин!» Нес всякую чушь об обязательствах, о международном праве. Мы дали России

четыре года спокойной подготовки к новой войне. И сегодня мы ее получили. Аллах наказал нас за глупость и гордыню, так же, как наказал афганских моджахедов. Россияне давно провоцировали разные инциденты, так или иначе, они нашли бы предлог для войны. Наше молчание их только подтолкнуло к действиям. Они просто сочли его доказательством нашей слабости.

— Почему Масхадов так верил России?

— У Масхадова душа романтика и советского полковника. Полжизни он прослужил в советской армии артиллеристом. Привык верить Москве.

— Вы сначала вместе воевали против России, потом соперничали на президентских выборах. Еще позже ваши пути разошлись, и вы стали политическими врагами, чуть не вызвав гражданскую войну, а сегодня Масхадов говорит, что вы снова согласились пойти под его командование.

— Сегодня мы снова вместе, потому что нам опять угрожает враг. Мы были едины, потому что у нас был общий враг, Россия. Подписывая мирный договор с Россией, Масхадов привел к тому, что этот враг в понимании многих чеченцев исчез, или, по крайней мере, перестал казаться таким страшным. Мы стали искать врага среди своих, а именно этого хотела Россия. Но мы с Масхадовым остаемся добрыми друзьями, которые с жестокой откровенностью говорят друг другу, что им друг в друге не нравится.

— Предпринимая вооруженный поход на Дагестан, не стоило ли хотя бы предупредить Масхадова?

— А зачем? Я не был его министром или чиновником. Я могу делать, что мне нравится, помогать каждому, кто меня об этом попросит. Лишь бы дело было правое. В Дагестан я пошел в августе на помощь нашим братьям, которые, как и мы когда-то, стали мечтать о свободе и подняли восстание, вернее, их вынудили воевать, потому что на них напали российские войска.

— Я был тогда в Ботлихе, но у меня не было впечатления, что тамошние крестьяне видят в вас спасителя и освободителя.

— А что они должны были говорить? В Дагестане у власти — коррумпированная диктатура. Тысячи людей исчезают или попадают в тюрьмы за неблагонадежность. Они не только боятся говорить, что верят в Бога, они даже верить боятся. Мы поехали в Дагестан, чтобы сражаться не с местными крестьянами, а с россиянами и их марионетками. Мы говорили людям, чтобы они уходили из сел, потому что россияне их разбомбят, как только узнают, что мы там. Мы не сделали ничего плохого ни одному из дагестанских сельчан. И думаю, мы посеяли зерно, которое вскоре прорастет и даст урожай.

— Ходили слухи, что за месяц до нападения на Дагестан вы встречались в Ницце, в доме известного во всем мире торговца оружием Аднана Хашогги, с шефом администрации Ельцина, Александром Волошиным. Вы были на Лазурном побережье?

— Конечно, был. Волошин приехал и дал мне два миллиона долларов на войну. Потом появился миллиардер Березовский и добавил еще четыре, да и Усама Бен-Ладен кое-что подбросил от себя. Еще были представители разведок: российского ФСБ, американского ЦРУ, израильского Моссада. Я положил все эти деньги в швейцарский банк. Только бумажка, на которой я номер счета записал, куда-то пропала, и я деньги никак снять не могу.

— Вы шутите, а обвинение серьезное.

— Вот я и отвечаю на него с соответствующей серьезностью.

— Не считаете ли вы, что дружба с арабским командиром Хаттабом и помощь, которую он оказывает чеченцам, облегчает задачу россиян, изображающих вас таким кавказским Усамой Бен-Ладеном?

— В Хаттабе я нашел друга и товарища по оружию. Он не был ученым мудрецом, но помог мне найти себя в исламе. Для Запада россияне говорят, что деньги мне дает Бен-Ладен, в России Кремль распускает слухи, что деньги мне дают евреи. Они делают из меня чудовище, связанное с самыми ненавистными врагами. Называют меня террористом,

мусульманским фанатиком. И все для того, чтобы отвлечь внимания от реальной ситуации на Кавказе. А тут идет война за свободу народа. Если россияне хотят видеть во мне террориста, ночной кошмар, я с величайшим удовольствием таким стану. Клянусь, я буду продолжать борьбу, даже если мне придется пожертвовать последним чеченцем на земле.

Сверху река Терек и проходящая вдоль ее берега линия фронта казались вымершими, безлюдными. Как и окрестные разбросанные по холмистой степи станицы, поля и пастбища. Тишину прерывала только регулярная, монотонная канонада, доносящаяся из станицы Червленной, которая вместе с важным железнодорожным узлом и вокзалом попала два дня назад в руки россиян.

А над рекой царило блаженное спокойствие, освещенное по-утреннему бледным осенним солнцем. Но в зарослях на другом берегу реки укрывались российские артиллеристы и танкисты. Так, во всяком случае, утверждали чеченские разведчики. Бородатые, обвешанные гранатами и автоматами, они не производили впечатления напуганных близостью русских. А их разделяло максимум несколько сот метров поросшей редким кустарником прибрежной равнины. Если бы россиянам удалось форсировать реку, до столицы бы оставалось всего несколько часов марша.

Мы отправились к реке ночью, чтобы нас не заметили российские снайперы из зарослей на противоположном берегу. Напоследок поужинали борщом с хлебом. При свечах и керосиновых лампах горячий суп хлебал весь отряд Ислама, заступавший на вахту в окопах над Терекком.

Полное затемнение Ислам ввел уже на границах города. Ислам, длинноволосый, невысокий бородач с интеллигентным лицом математика, был командиром Мансура, Омара и Мусы. По крайней мере, до тех пор, пока их бывший командир Алман не вернется из Парижа, куда он выехал залечивать старые раны.

Водитель выключил фары, бойцы затоптали окурки, попрятали фонарики подальше от соблазна. Запыленные, молчаливые, щелкали на ходу семечки подсолнечника. Машина съехала с асфальта на подтопленный луг. Мы были у реки. С левой стороны ярко-красным пламенем полыхали резервуары с нефтью. Мы остановились за баракком, совсем близко от огня. В теплом отблеске стреляющих языков пламени силуэты бойцов мелькали как фигурки в театре теней. Вдали серебристо, холодно поблескивала река.

Ислам повел группу вперед. Мы остановились у сколоченного из досок и листов жести сарайчика. Ислам исчез и тут же вернулся в обществе другого командира и его солдат, выныривающих откуда-то из-под земли как призраки. Сразу же за дверью сарайчика начинались ступеньки, ведущие на несколько десятков метров вниз, в бетонный бункер, где мы должны были провести ночь. Все, за исключением трех бойцов, назначенных Исламом в первый караул у реки.

Было уже далеко за полночь, но в бункере никто не ложился спать. Мы ждали рассвета.

Муса долго вглядывался через бинокль в заросший орешником берег на той стороне реки. Молча дал знак рукой Мансуру, тот пополз на край окопа с минометом в руках. Муса пальцем указал цель. Среди деревьев поблескивала болотно-зеленая броня танков или бронемашин. Мансур выстрелил, и ракета, отбрасывая назад огненный хвост, полетела над рекой. Он не успел зарядить второй снаряд. Не успел даже проверить, попал ли в цель первый.

На нашу позицию обрушился шквал минометного огня. Мины взрывались на прибрежном лугу, швыряя в нас железные осколки, камни и землю.

Три залпа, перерыв, еще три и снова короткая пауза. Слишком короткая, чтобы выскочить из окопа и пробежать эти несколько сот метров плоской, как стол лужайки, которая отделяла нас от зарослей у дороги. Там мы на рассвете спрятали наш джип. Тогда, на рассвете, когда мы подбирались к реке, тропинка через луг казалась нам безопасной.

И новый залп. Снаряды взрывались все ближе и ближе. Российские канониры явно пристреливались к цели. Три, пауза, три, пауза. Оставалось только считать и надеяться, что ни одна из гранат не попадет прямо в окоп, яму, выкопанную в речном песчанике. Метр на

полтора, глубиной не больше метра. Здесь на высоком берегу Терека таких было несколько штук. В каждой по три, четыре партизана с автоматами.

И снова гранаты. Три, пауза, три, пауза. На счет три можно было немного распрямиться в окопе. Новый залп из-за реки, и нарастающий свист вжимал нас в мокрый песок, мы прятались за чужие спины и плечи, только бы подальше от осколков.

Я не знал, что происходит с Мусой и Мансуром в соседнем окопе, всего в нескольких метрах от меня. Мы кричали друг другу, но не слышали даже собственного голоса.

Солнце стояло уже высоко, близился полдень.

Я вдруг услышал над собой рокот самолета. Это был небольшой самолетик-разведчик. Он пролетал над окопами, нахально заглядывая внутрь и издеваясь над чеченскими автоматами. Окопы молчали. Каждый выстрел вызвал бы прицельный минометный огонь.

Посты на Тереке могли только пассивно пережидать артиллерийский обстрел, каждый из которых мог оказаться для защитников последним. Если бы россияне пытались переправиться через реку, Мансур с товарищами могли бы просто вступить в бой. А так, только гнулись в окопах перед невидимым врагом.

Неожиданно минометная канонада смолкла. Может, самолетик успокоил российских артиллеристов за рекой, решивших, что не стоит тратить снаряды на горстку партизан.

Муса с автоматом в руках выполз на край окопа и направил ствол на заросли за рекой. Потом повернулся и махнул рукой.

Сейчас!

По двое, с перерывом в несколько секунд, мы выскакивали из окопа, и пригибаясь, спотыкаясь о камни, путаясь в высокой траве, что было сил, мчались через луг к спасительным деревьям.

— Вот так с нами воюют, теперь ты сам видел, — просипел Муса, отплеывая пыль и поглядывая сквозь орешник на линию окопов. — А мне сейчас прикажут туда вернуться.

В отдалении горел нефтяной резервуар, российские самолеты бомбили предгорья над Терекком в районе Долинского, а пастухи в Толстой-Юрте выгоняли на пастбища свои стада.

Омар спросил меня, был ли я в Париже.

— Какой он, Париж? Как там?

Лысеющий, тихий, немного несмелый, он обожал книги. До войны преподавал русский язык и литературу в школе в Грозном, а после уроков подрабатывал в начальной школе в родной деревне.

Рассказывал о той жизни стесняясь, как будто не веря самому себе. Не веря, потому что это время казалось ему таким далеким, почти выдуманым. Стесняясь, потому что любовь к поэзии, к тому же русской, выглядела теперь чем-то неуместным.

Его товарищи прекрасно знали, кем он был, но мне о своем прошлом воплощении он рассказал только тогда, когда Мансур и Муса пошли молиться в мечеть. Даже почувствовав себя уверенней, когда мы уже ездил вчетвером в одной машине, а не тремя, нагруженными людьми и оружием, Мансур, Муса и Омар ни на минуту не оставляли меня одного. Во время молитвы двое шли в мечеть, а третий ждал их возвращения в машине. Этот принцип соблюдался даже на квартирах, где мы останавливались. Они только часто спорили, пытались определить стороны света, чтобы не совершить богохульства, не повернуться случайно задом к Всемогущему во время молитвы. Мусса клялся, что при первой же возможности достанет компас.

Я был первым, известным Омару человеком, который видел Париж. Он спрашивал об улицах, площадях, ресторанах, метро. Ловил каждое слово, как будто боялся что-то упустить. Как будто простился уже с мечтой о Париже и довольствовался рассказом о городе своих снов. И в то же время у меня создалось впечатление, что впервые за долгие годы Омар с удовольствием произносит вслух чужие, экзотические для его уха названия. Елисейские Поля, Бульвар Сен-Жермен, Монпарнас, Площадь Республики. С кавказским акцентом.

Канонада была слышна даже в центре Грозного. Уже несколько дней из города было видно, как серебристые самолетика, пользуясь солнечной, безоблачной погодой, кружат над

облысевшими холмами над Терекком. Издалека это выглядело совсем не страшно, а небольшие машины, снующие в воздухе как пчелы, казались даже симпатичными. Поднимались над вершинами гор, потом, резко пикируя, выплевывали черные рои ракет над холмами.

Холмы были для чеченцев последней линией обороны Грозного. С их вершин они могли держать под контролем с одной стороны широкие равнины на берегах Терека, а с другой — асфальтированную дорогу в столицу. Захватив предгорье, россияне не только видели бы как на ладони весь Грозный, но и накрыли бы перекрестным огнем чеченское ополчение, стоявшее на страже берегов Терека.

Чеченцы были убеждены, что в открытом бою, они не только могли бы оказать сопротивление россиянам, но и разбили бы их, выдавили с северного берега Терека. Однако российские войска, в отличие от предыдущей войны, не штурмовали теперь городов, не вступали в бой с чеченскими партизанами. С рассвета до заката и даже ночью, бомбили они чеченские окопы с самолетов, вертолетов, танков, пушек, минометов. Чеченцы отстреливались редко, чтобы не обнаружить своих позиций. Только под покровом ночи они устраивали засады на российские танковые колонны и обозы. А днем прятались от лавины российского огня.

А россияне продвигались неторопливо, выступали только после того, как их самолеты и артиллерия устранили на пути все препятствия. Максимально широкой дугой обходили станицы и городки, довольствуясь захватом важнейших улиц, перекрестков и возвышающихся над населенным пунктом холмов. Входили в деревни только тогда, когда жители уже разбежались, бросив свои дома и поля.

Таким образом, практически без борьбы, они заняли малонаселенные степи на Тереке, и вышли на подступы к чеченской столице. Чеченцы терпели поражение. И хоть сами себе не признавались в этом, но они были беспомощны против самолетов, танков и пушек, с безопасного расстояния наносивших им смертельные удары.

Молча тащились мы в поселок Долинский, туда, где видные даже из самого Грозного маленькие самолетики, серебристые крестики, ревели над окутанными дымкой холмами.

Мои спутники, мои проводники и опекуны сопротивлялись поездке. Мансур явно не желал, чтобы я был свидетелем чеченских поражений. Вел себя как цензор или политкомиссар, который отрицает очевидные факты, и находит тысячу и один аргумент в доказательство их абсурдности. Прерывал мои разговоры с жителями села и бойцами, неожиданно переходил на чеченский, обрекая меня исключительно на свой пересказ событий.

Сначала приказал Мусе остановить машину в Первомайском, тут же за городской заставой, объясняя, что мы уже приехали в Долинский. Потом убеждал, что, в сущности, ситуация в обеих деревнях одинаковая, то есть там все спокойно, россияне боятся наступать, все хорошо.

Неправда.

Правда читалась на лицах мужчин, собравшихся у мечети. Другим безошибочным знаком приближающейся бури были опустевшие деревенские улочки, обычное место забав голосистой детворы, и, прежде всего, вереница груженных мебелью и скарбом машин, направляющихся в сторону Грозного. Было очевидно, что чеченцы того и гляди сдадут свои оборонные позиции на холмах у Долинского.

Один Омар не пытался меня обманывать. Он уговаривал не ехать в Долинский, потому что на пересекающей долину и прекрасно обозреваемой с холмов дороге, мы будем слишком легкой целью и для россиян, и для чеченцев. Откуда им было знать, кто мы такие.

Муса тоже не рвался ехать, но был на моей стороне.

— Раз он хочет, поехали! В чем дело?!

Они спорили нервно, заядло, кипя гневом. Я уже заметил, что чем дальше мы были вместе, тем чаще они ссорились. Мансура раздражала медлительность и образованность Омара, Омара раздражало хозяйское поведение и покровительственный тон Мансура. Он

явно чувствовал себя лучше в обществе простодушного шутника Мусы.

Муса был водителем. Он один не скрывал, что не рвется в герои. В отряде Мансура он был лучшим разведчиком, но только разведчиком.

А всерьез его интересовали только машины. И еще немного женщины.

В отличие от своих одноклассников, Омара и Мансура, Муса бросил учебу при первом же удобном случае. Он не любил рассказывать о себе и своей жизни. Просто не видел в ней ничего особенного, ничего интересного. Никогда не работал. Что делал? Да ничего. Отслужил два года в армии, а потом так, крутился то тут, то там, но каким-то образом ему всегда хватало денег на бензин, икру и шампанское. У него были машины и были женщины. Показал как-то старое письмо от подруги из Саратова: «Ой, Муса, Муса! Только ты умеешь так любить! Ты знаешь, что нужно женщине!»

Слава лучшего водителя на деревне вполне его удовлетворяла.

Внешне одинаковые, они походили на оловянных солдатиков, отлитых в одной форме. Возможно, именно в этом и был источник их раздражения. Им не мешала эта похожесть, пока они были одни. Появление же постороннего наблюдателя будило приглушенное, но такое человеческое желание отличиться от других.

А отличались они только мечтами, которые отобрала у них война. Когда они шли на фронт, им казалось, что это они сами делают выбор, что в любую минуту смогут вернуться к прошлой жизни.

Увы, этот процесс переселения душ нельзя было повернуть вспять и даже на мгновение остановить. Исполняя очередные приказы, они даже не заметили, как перестали что-либо решать в своей собственной судьбе. По приказу воевали, отдыхали, праздновали, или, как сейчас, сопровождали иностранцев во время их кавказских поездок. Оторванные от мира, обреченные друг на друга, они понемногу забывали о прошлой жизни, своих мечтах и амбициях.

Иностранцы стали для них чуть ли не пассажирами Машины Времени, посланцами из прошлого. С их появлением в сердцах Омара, Мансура и Мусы просыпалась робкая надежда на то, что, может, все-таки как-то удастся вернуться в старый мир.

Для своих младших братьев Мансур, Мусса, Омар, Сулейман, Нуруддин были героями. Они воевали, они дали отпор россиянам. Молодежь, затаив дыхание, слушала их вечерние разговоры за столом, рассказы о фронтах, засадах, штурмах. Слушала и завидовала.

Когда началась война, им было по пятнадцать — шестнадцать лет. Многие их ровесники тоже бились с россиянами, многие погибли. Младших на войну не пустили отцы. «Хватит того, что старшие воюют, — решили старейшины, слово которых тут всегда свято чтят, — если они погибнут, тогда, может, придет и ваша очередь, а пока что вы должны вместо них заботиться о семьях».

И вот снова началась война. Российские полки стояли на Тереке, а самолеты ежедневно летали над чеченскими деревнями, сбрасывая бомбы на дороги, мосты, а иногда и на дома, коровники и сады. Парни явно не понимали, почему старшие братья ведут себя так, как будто ничего не случилось. Каждый вечер за ужином старались услышать, что сказал президент Масхадов, а что Шамиль Басаев, самый прославленный командир. Как младшие по возрасту, они не имели права заговорить первыми. Ждали, пока Мансур с товарищами отправятся на отдых. Со мной, пришельцем из далекого мира, вели себя иначе.

— Ты говорил с Шамилем? Как он тебе понравился?

— Ну, что ж, он производит впечатление. В нем есть какая-то магия.

— А что он говорил? Когда начнут воевать с россиянами?

— Сказал, что они уже воюют.

— Ээ! Тогда почему они им все позволяют?

— Шамиль говорит, что ждет, пока россияне войдут в город. Тогда он их окружит и уничтожит. Так он сказал.

— Болтовня! Легко говорить, когда сидишь в удобном, безопасном доме в Грозном. Станный этот Шамиль.

— А что ему делать? Как его бойцам воевать с самолетами?

— Значит, что? Позволят нас бомбить? Ты говоришь, как Мансур. Они должны что-то сделать. Они наши руководители. Я хотел бы знать, пришло ли уже время, готовиться мне на войну, или нет? Если нет, я хочу вернуться к занятиям арабским языком в университете.

Нерешительность старших все больше раздражала мальчишек. Они не понимали этой пассивности. Хотели знать, что будет дальше, что им делать. С каждым днем заметно тускнел в их глазах ореол героизма, окружавший до сих пор их старших братьев.

Сквозь потрепанные геройские маски и одежды все больше просвечивали старые и новые воплощения Мансура, Омара, Мусы, Сулеймана.

Мансур был теперь уже не только боевым, заботливым командиром отряда, но и гордецом, и невыносимым педантом.

Омар, прозорливый шеф штаба, оказался нудным учителем, который, несмотря на тридцатку за спиной, не смог добыть ни денег, ни жены.

Смелый разведчик Муса стал просто забавным бездельником.

Нелюдим Сулейман — завистливым неудачником и простым лесником.

Героем без страха и упрека не был уже даже Мохаммед, который помогал своему брату-близнецу Идрису вести дела в Москве. Собственно бизнесом занимался Идрис, а Мохаммед только ездил в Россию, чтобы выбивать из несолидных плательщиков своевременный возврат долгов и оплат. Методы убеждения, применяемые Мохаммедом, оказались настолько эффективными, что чеченец прославился на весь Кавказ, и ему не раз приходилось отправляться в Дагестан, Ингушетию или даже Азербайджан не только собирать долги, но и разрешать споры между контрабандистами, браконьерами и деловыми людьми. «Когда дело доходит до конфликтов, всегда обращаются к нам, чеченцам, — рассказывал он. — Просто мы беспристрастные».

Долинский тонул в черном дыме охваченной пламенем нефтяной вышки, в которую попала бомба. Ветер играл смолистым облаком, то прижимая его к земле, укрывая село и холмы вокруг, то внезапно вздымая вверх.

На залитом солнцем октябрьском небе самолеты рисовали белые геометрические фигуры, тут же тающие в голубизне. Над горбатыми вершинами холмов самолеты резко сбрасывали высоту, устремляясь вниз с таким ожесточением, как будто сами хотели разбиться в неприятельских окопах. В последнюю секунду взмывали вверх, сбрасывая бомбы. Повисшие неподвижно над склонами, черные вертолеты ежеминутно выстреливали ракетным жалом.

Чеченские окопы в двух — трех километрах отсюда молчали, оглушенные шквалом огня. Мы наблюдали за этим грозным зрелищем с холма на противоположной стороне долины.

Село пустело. Во дворах люди грузили пожитки на грузовики. Перегруженные машины, тяжело взвывая, выстраивались на дороге в похоронную процессию. Жители села не верили уже, что партизаны удержат окопы. А если россияне займут взгорье, то не завтра, так через неделю, другую, сойдут вниз преследовать партизан, обыскивать подвалы.

Деревенские дворы пустели с каждым часом. Тишину прерывал только стук болтающихся на ветру незапертых ставней. Стрельба на взгорье становилась все громче и как будто ближе.

В молчании возвращались мы в город, погружившись каждый в свои мысли. Разговор не клеился.

Мое путешествие подходило к концу. Мансур сам торопил мой отъезд.

— Ты здесь уже слишком долго, — повторял он. — Слишком много людей о тебе знает, слишком много о тебе ходит разговоров.

Мы возвращались: я домой, а Мансур, Омар и Муса — в окопы над Тереком.

Так решил Мансур, а я не протестовал, и меня даже не покорило то, что он опять отобрал у меня право выбора. Так было проще.

— Уезжаю, — твердил я сам себе, — но вернусь, как только захочу. Иногда мне

казалось, что я один из них, что из зрителя я становлюсь

участником драмы. Узнаю обо всем из первых рук, от главных героев, разговариваю с ними, везде могу побывать, все увидеть своими глазами.

Я был свидетелем представления, которое разыгрывалось рядом со мной, так близко, что я с легкостью мог принять в нем участие или отказаться от этого, сохраняя контроль над происходящим. Его реализм и близость создавали дополнительную иллюзию того, что, неоднократно перевоплощаясь из зрителя в действующее лицо, я мог бы повлиять на дальнейший ход событий, изменить их бег.

Эта близость дурманила как пары гашиша, искажала реальный образ, порождала убежденность, что ты являешься свидетелем-участником чего-то действительно самого важного на свете. А это создавало ощущение собственной исключительности. В голове не укладывалось, что кроме нас и спектакля, который мы наблюдаем, что-то еще могло существовать, привлекать, быть достойным внимания. Поэтому таким трудным бывает возвращение к реальности, осознание того, что драмы и необычные события, которым мы были свидетелями, на самом деле не заслуживают даже упоминания вскользь, что они никого особо не интересуют. Как и мы.

Возвращение в реальность было и болезненным напоминанием о том, что приблизившись к последней, невидимой, но ясно ощутимой границе, я все-таки не переступил ее, не увидел сам, не убедился, как там, по ту сторону. Не проверил, насколько выслушанные рассказы и набросанные мной записи соответствуют правде. Или хотя бы, стоят ли они того, чтобы их проверять.

Мансур, Омар и Муса отвезли меня в небольшую деревушку на самой границе с Ингушетией. Здесь мы расставались. В деревне ждал Ислам с новой машиной и водителем, который должен был перевезти меня в Ингушетию. Мои проводники и охранники возвращались на свой безнадежный пост у реки.

Мансур крепко пожал мне руку.

— Ты уже сегодня будешь спать в своей постели, — недоверчиво покачал головой Муса.

Прощаясь, Омар не подал мне руки. Как будто это рукопожатие означало бы окончательное прощание со всем, что было его прошлой жизнью. Потом вдруг как будто что-то припомнил и стал лихорадочно шарить по карманам куртки.

— Это твоему сыну. Скажи, от чеченца.

В открытой, испачканной землей ладони лежали металлические щипчики для ногтей с розовым пластиковым зажимом. Память о прошлом его воплощении и, может быть, последний привет утерянному миру.

Весна

Странное чувство испытал я, увидев Хусейна по телевизору. Еще вчера мы беседовали, развалившись на диване в гостиной Исы, пили чай, курили. А сегодня в вечерних новостях показали, как российские солдаты заталкивают Хусейна в наручниках в тюремный фургон.

В багажнике машины Хусейна нашли двести пятьдесят экземпляров повстанческой газеты «Ичкерия». Офицер в теленовостях гордостью сообщал, что солдаты его поста нанесли бунтовщикам тяжелый удар.

Иса сходил с ума от злости. Наверное, немного боялся, что во время допросов приятель не выдержит и расскажет россиянам о квартире Исы, где регулярно собирались министры и депутаты повстанческого правительства. Хусейн, внешне похожий на борца-супертяжа, был не только депутатом чеченского парламента, но и бывшим адъютантом повстанческого президента Аслана Масхадова. Иса порекомендовал мне его в проводники как человека доверенного, с большими связями. Попав в руки россиян, Хусейн не только рушил мои

планы, но — по мнению Исы — ставил под сомнение его авторитет и достоинство.

Иса Мадаев говорил, что он в своей деревне король. У него не было никакой официальной должности. Да и о какой должности могла идти речь во время страшной войны?! Я пытался понять, чем занимается мой хозяин и проводник, каким таким чудесным образом добывает деньги, позволяющие выживать день за днем не только его многочисленному семейству, но и целой армии дальних родственников и приятелей.

С самого рассвета, тут и правда какого-то бледного и хилого, дверь нашего дома не закрывалась ни на минуту. Иса вел визитеров в гостиную, плотно прикрывая дверь в комнату, где прятал меня.

Лейла, жена Исы, заваривала чай, угощала конфетами. Из-за закрытых дверей долетали возбужденные голоса, иногда смех. Гости выходили. Лейла настежь открывала окна, выгоняя из дома тучи сигаретного дыма. Но через минуту снова кто-то стучал в дверь или звал Ису прямо с улицы.

Иногда Иса велел сыновьям приготовить к дороге доживающую свой век волгу и исчезал до конца дня. Ни секунды не сидел без дела, но трудно было назвать работой то, чем он занимался.

Как-то я спросил Ису, где он пропадает целыми днями. — Управляю деревней, — бросил он, как будто немного удивившись вопросу.

Управляет деревней, вот так вот!

Не правили деревней российские солдаты, расположившиеся в разрушенном и разворованном цементном заводе! Ни поставленные ими чиновники новой администрации! Ни даже партизаны, которые днем укрывались в соседних лесах, а ночами пробирались в деревню. Правил Иса, не имея ни своей армии, ни бюджета, ни даже печати! Это к нему, а не в военную комендатуру или сельское правление шли люди за советом и помощью, его слушали, его решения соблюдали как закон. Без его ведома и согласия в деревне не могло абсолютно ничего произойти.

Власть Исы в деревне объяснялась тем, что его род правил Чири-Юртом очень давно, похоже, веки вечные. Исе не приходилось избираться или ждать назначения. Он получил деревню в момент рождения. Так же, как его старший сын Аслан получит ее в свое распоряжение, когда отец сочтет нужным или уйдет в другой мир. Готовясь к роли наследника, Аслан окончил университет, пошел добровольцем в российскую армию, по настоянию отца воевал на прошлой войне, наконец, женился, осел, стал уважаемым человеком. Если не совершит какой-нибудь ошибки или проступка, который жители деревни сочли бы позорным, он, несомненно, станет следующим деревенским королем, юрт-да.

Иса олицетворял традицию, а она у кавказских горцев значит намного больше, чем власть учреждений, закон и даже религиозные заповеди. Традиция делит людей на своих и чужих, ревностно защищает свободу общины от покушений тех, кто ей угрожает.

Он был потомком свободных крестьян и воинов, много веков назад свергших своих князей и с тех пор руководствовавшихся извечным кодексом чести, а любую власть считавших чуждой, враждебной.

Эта чуть ли не бунтарская страсть к независимости так и не позволила кавказским горцам объединиться, создать собственное современное государство с президентом, министрами, судами, полицией. Иса олицетворял собой традицию, священный закон кровной мести, которая может длиться целых двадцать поколений, родовую солидарность и справедливость, требующую защищать родственников от всех остальных. Карать их за совершенные преступления самым суровым образом, но в собственном доме.

До войны Иса, хоть в делах деревни всегда имел решающее слово, работал заместителем директора цементного завода, превращенного теперь в российские казармы.

Когда началась предыдущая война, Мадаев создал из своих рабочих и служащих партизанский отряд, который в основном, правда, защищал деревню, но и в осажденной столице сражался.

На вторую войну Иса, однако, не собирался. Не объявил в деревне и набор в новое

ополчение. Даже тогда, когда россияне снова подошли к Грозному, а бомбы с их самолетов начали взрываться в предгорьях. Как-то ночью российские артиллеристы обстреляли из пушек дома на краю его деревни. Похоже по ошибке, потому что на этот раз старейшины не позволили партизанам прятаться в Чири-Юрте и вообще там появляться. Те, кто выскальзывал из осажденного города и спешил в горы, в зимние убежища, не останавливались здесь даже поесть. Тогда почему же россияне стреляли? Может, просто напились, а может, это все-таки был знак, что на этот раз деревня так легко не отделается от войны, что и ей придется заплатить причитающуюся дань.

В ту ночь, когда на деревню упали первые снаряды, из Чири-Юрта сбежал войт с семьей. На следующий день местные жители, а также беженцы, которые в последнее время целыми толпами стекались в Чири-Юрт из соседнего Грозного и все чаще подвергающихся бомбежкам горных аулов, пришли к Исе, чтобы он в качестве юрт-да взял на себя переговоры с россиянами об условиях того, что одни называли миром, а другие капитуляцией.

По мнению Исы выторгованные на переговорах с российскими командирами условия были миром. В Чири-Юрте шептались, что Мадаев заплатил россиянам собранные с односельчан пятьдесят тысяч долларов. Купил на них обещание, что российские солдаты не будут ходить в деревню, а сам пообещал, что со стороны Чири-Юрта в сторону россиян не прозвучит ни один выстрел. Нашлись и такие, кто считал, что Мадаев переплатил. Но пятьдесят тысяч долларов это, наверное, неплохая цена за спокойствие и безопасность довольно большой деревни и ее нескольких тысяч жителей.

Договор то случайно, то намеренно не раз нарушался, но все-таки действовал, и еще больше укрепил ограниченную, зато реальную власть Исы. Он стал с этого момента незаменимым.

Деревня, умолявшая раньше о спасении, теперь, перестав бояться за свою жизнь, стала требовать от Исы большего. Зима, снежная и морозная, еще только с достоинством ступала по земле, упиваясь своим грозным величием, но люди уже мерзли, вырубали сады, чтобы согреться теплом горящих яблонь и груш. Беженцам в глаза заглядывал голод, они умоляли Ису выпросить у россиян хоть немного солдатского хлеба. Помоги! Договорись! Сделай!

Приходили к Исе и российские солдаты. «У нас нет нормальной воды для питья. От той, что нам привозят, мы только боеем. Напеките нам в пекарне хлеба, наш никуда не годится».

В пекарне в Чири-Юрте из российской муки пекли чеченский хлеб, а Мадаев найденными в деревне цистернами возил россиянам воду. Взамен солдаты чинили деревенский газопровод, ремонтировали оборванные электролинии, продавали бензин, тайком сливаемый из армейского транспорта. Как-то ночью в деревне поймали двух российских солдат, которые пытались обокрасть магазин. Они умоляли, чтобы их не отдавали в плен партизанам, говорили, что голодают. Утром Иса сам отвез их на цементный завод, а российскому командиру сказал, что если его солдатам что-то нужно, пусть приходят в деревню, лишь бы не ночью и не с оружием.

Офицеры были родом из Сибири. Они не знали Кавказа. Боялись здешних дорог, засад, боялись заблудиться. Боялись всего. Иса выделил им своих проводников и водителей, а иногда давал даже собственную волгу для поездок. Говорил, что пошел бы на все, лишь бы спасти деревню.

Осажденная деревня кормила осаждавшее ее войско. А солдаты делали все, чтобы не пришлось идти на штурм, чтобы им не приказали поменять дислокацию. Деревня, со всех сторон окруженная войсками, превращалась в гетто, в стенах которого текла в меру нормальная и в меру безопасная жизнь. Но ни под каким предлогом нельзя было выходить за невидимые стены. За ними простирался наводящий ужас охотничьи уголья, где не действовали никакие законы, никакие принципы, а молодежь, особенно юноши, моментально становились желанной добычей.

И только Иса, деревенский король, знал все щели в стенах гетто, все секретные ходы, и

только он мог провести любого с одной стороны на другую. Он был единственным связным между двумя мирами.

Поэтому с властью Исы вынуждены были считаться все, все добивались его благосклонности. Россияне, которым он разрешил стать лагерем в деревне и обещал, что никто в них не будет стрелять, если только они не будут совать нос не в свои дела. И повстанческие лидеры, с его согласия укрывающиеся в деревне. И даже партизанские командиры, которым он давал ночлег в собственном доме, и время от времени позволял брать рекрута из числа деревенских юношей.

Иса признавал, что ведет очень рискованную игру, действует на грани дозволенного, постоянно с риском быть уличенным в предательстве. Признавал, что у него множество врагов, его власть давно не дает им покоя. Поэтому он запирает меня в комнате и запрещал покидать дом до сумерек и без эскорта. Не позволял мне выходить на балкон и даже приближаться к окнам. Так я просидел почти месяц.

Комната моя весь день была погружена в полумрак. Пыльные, залепленные в целях безопасности желтоватой бумагой окна и балконная дверь выходили на север. У одной стены стояла тахта, у другой — диван. С вечно запертой балконной дверью соседствовал древний буфет с застекленными дверцами, набитый старыми, заплесневевшими книжками, наполнявшими комнату затхлым запахом погреба.

На оклеенных обоями стенах висели огромные ковры, такие тяжелые, что казалось, они вот-вот с грохотом рухнут на пол под тяжестью взгляда. Еще в ногах тахты стояло старое кресло, обитое коричневым, потертым бархатом.

Обычно я питался на кухне, но в те дни, когда к Исе стекалось много клиентов и гостей, его жена Лейла ставила в моей комнате маленький столик и приносила завтрак и обед.

Моя подпольная жизнь началась еще в ингушской Назрани, в двух шагах от чеченской границы. Там в условленном месте меня ждал проводник, им оказался как раз Иса. Отрекомендовался человеком, который может если не все, то очень многое. Обещал не только перебросить меня через границу, но и привести к скрывающимся где-то в горах Аслану Масхадову или Шамилю Басаеву.

Особого доверия он не вызывал. Несмотря на теплую весну, в черной шляпе и пальто до пят, напоминал скорее актера из малобюджетного костюмного фильма. Но что-то в нем было такое, что подсказывало — среди целой своры навязчиво предлагающих свои услуги проводников именно он будет тем единственным, настоящим. Может, потому что другие не давали мне покоя, неотступно таскались за мной, настаивали, заискивали, угрожали, а Ису я сам вызвал, вытащил с той стороны стены, не зная даже, кто он такой.

Назрань, как и вся Ингушетия, соседка Чечни, были затоплены беженцами. Их можно было встретить повсюду. На базарах, где они пытались раздобыть мизерное пропитание, на площади, где искали случайную работу, в мертвых, разграбленных фабриках и складах, где устраивались на жилье, и, конечно же, на окружающих город пустырях, на которых выросли специально для них устроенные палаточные городки. Они жили даже в вагонах поставленного на запасной путь поезда. Считалось, что из Чечни сбежала в Ингушетию четверть всего населения, и что чеченцев теперь здесь было больше, чем самих ингушей.

Они бежали от войны еще до того, как россияне замкнули кольцо осады вокруг чеченской столицы — Грозного. Многие погибли на дороге в нагруженных пожитками машинах, взорванных танковыми снарядами и ракетами с барражирующих над землей вертолетов. Последними бежали те, кому каким-то чудом удалось пережить гибель Грозного. Выползали из-под руин разрушенного города и, сжимая в руках белые тряпки, бежали, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этого кошмара.

Осада города длилась почти полгода. На этот раз россияне не торопились со штурмом. Памятуя о провале в прошлую войну, когда брошенные на Грозный танковые части и пехота были окружены и уничтожены, они не лезли в уличные лабиринты, не атаковали и даже не принимали боя. Медленно, методично, дом за домом, улица за улицей, район за районом

разрушали город, бомбили с самолетов, ракетных установок, дальнобойных орудий и танков. Пехота вступала в действие только тогда, когда смолкали партизанские редуты. Грозный капитулировал последний. Прежде чем чеченцы сдали город, россияне успели уже занять даже горные вершины на границе с Грузией. Они были везде.

Они взяли в кольцо покоренный город и страну. Окружили густой сетью тысяч постов, запретили въезд иностранцам и даже чеченцам без документов, подтверждающих, что они действительно были жителями этой несчастной страны.

Потому-то мне и был нужен хороший, доверенный проводник, который не только перевел бы меня на другую сторону, но и обеспечил бы возвращение. Новый, потому что того, которого мне рекомендовали перед поездкой, я в Назрани уже не застал. Выехал без предупреждения, не оставив ни адреса, ни информации, где его можно найти.

Назрань кишела людьми, представляющимися лучшими на Кавказе проводниками, знающими все и всех, всемогущими и неприкосновенными. Большинство выдавало себя за родственников самых известных, скрывающихся в кавказских горах полевых командиров. Уверяли, что для них не составляет ни малейшего труда проводить вас к прославленному родственнику. Причем, предупреждали, что они и только они могут организовать встречу, а также сорвать любую попытку обойтись в этом деле без них.

Вопрос заключался в цене. Что хочешь увидеть? С кем встретиться? — соблазняли кандидаты в проводники. Прогулка по руинам Грозного, а может, визит на поле, по которому выходили из города партизаны, и был ранен Шамиль Басаев? Парнишка, родители которого погибли во время бомбежки, мать, потерявшая трех сыновей? Никаких проблем! А может, что-то особенное? Посещение убежища партизан в долине Аргуна? Интересуют тебя партизаны, скрывающиеся в городе? А может, те, что планируют взрыв бомбы в Грозном? Хочешь увидеть раненных российских солдат? У меня знакомый в военном госпитале, сможешь даже сфотографировать. А может, организовать что-нибудь супер-экстра? Что скажешь на полет с российскими солдатами на операцию в горах? Невозможно? Положись на меня, доверься мне. Ну и, естественно, встречи со всеми Важными и Исключительно Важными Боевыми Командирами. Предоплата.

В городе, где иностранцы появлялись только по пути на другую, запрещенную сторону границы, отделаться от проводников или как-то скрыться от них было просто невозможно. Ради собственного спокойствия, чтобы не наживать себе среди них ненужных врагов и не мозолить глаза, я сидел в гостинице, откапывая в записной книжке и в памяти имена и адреса старых знакомых, которые по моим расчетам все еще должны были быть по ту сторону. Как-то познакомился я с Мохаммедом, таксистом из Грозного. Поскольку у него была грозненская прописка, он мог спокойно возить приезжих через границу. Я оплачивал поездку и посылал с ним письма в Чечню, надеясь, что он кого-нибудь все-таки застанет и привезет ответ. Наконец, отозвался знакомый из Дуба-Юрта. Обещал помочь. Это он порекомендовал мне Ису, а Мохаммед привез его в Назрань.

Иса, так разочаровавший меня в первую встречу, велел ждать, пока он пришлет кого-нибудь из своих людей. Я должен был узнать посланца по спичечной коробке из какого-то индонезийского отеля с белым орлом на красном фоне и арабской надписью.

Вот теперь время стало тянуться невыносимо медленно. Не в силах найти себе места, тщетно пытаясь подтолкнуть ставшие прямо-таки неподвижными стрелки часов, я попросил Мохаммеда повозить меня по лагерям беженцев вокруг Назрани. Мы оба остались довольны: он, потому что я платил ему за целый день, я, потому что убивал таким образом время. Мохаммед рассказывал, как выглядит мир по ту сторону границы, куда я только собирался попасть. Слушая водителя, я пытался представить себе то, что он описывал.

— Я родился в Грозном и знал город, как свои пять пальцев, а теперь то и дело теряюсь в руинах, — говорил, как бы не веря сам себе. — С площади Минутка, ну той, в центре, можешь теперь полюбоваться вокзалом. А когда-то между ними стоял целый район многоэтажных домов. От полумиллионного города остались одни развалины. Я как-то ехал, увидел русских, они шли по улице и взрывали те дома, что уцелели в бомбежках.

Удивлялись. «Как это? — говорили, — Мы столько бомб сбросили, а этот уцелел?»

Обычно я ездил к беженцам к поезду, стоящему в чистом поле за деревней Карабулак.

Издали создавалось впечатление, что поезд остановился из-за аварии или просто так, по желанию пассажиров. Люди прохаживались вдоль вагонов, особенно не отдаляясь, как будто из страха, что поезд тронется без них. Потягивались, распрямляли затекшие руки и ноги. Мужчины, сбившись группами, курили, женщины сутились, собирая разбежавшуюся детвору.

Иллюзия временной остановки исчезала, когда ты подходил ближе.

В вагоне номер двадцать семь жил знакомый Мохаммеда, Алхазур. Когда он попал в Карабулак зимой, считал себя счастливым, получив место в поезде. Тут было как-то уютнее, как-то по-людски, теплее, чем в только что поставленных в степи палатках. Люди дрались за места в вагонах, семьи пытались получить как можно больше мест, причем желательно рядом друг с другом.

Не думали они, что им придется сидеть здесь так долго. Главное, пережить зиму, — успокаивали сами себя, — а потом как-нибудь образуется. Но зима стала кошмаром. Нетопленный поезд превращался в холодильник. Мучительней всего была теснота. Сидели целыми днями в бездействии, в духоте и гаме, без всякой надежды на минутное хотя бы одиночество. Все время тебя кто-то толкал, дотрагивался, шумел, со всех сторон окружали лица родных и знакомых, которые с каждым днем, с каждым часом становились все более ненавистными.

Мужчинам было легче. Они занимали места у окон или выходили в коридор покурить. Ну, и им позволено было кричать, когда нервы не выдерживали. Женщины могли разве что плакать. Одна в ту зиму сошла с ума, и врачи вывезли ее в Карабулак. Никто даже не спросил, куда.

Весна, необычно теплая и солнечная, вместо ожидаемого облегчения, поразила их ужасом наступающего лета. В нагретом за день на солнце, пышущем жаром вагоне, невозможно было спать. Жара отбирала сон, последнюю передышку, оставленную им сердобольной теснотой.

Люди целыми днями бесцельно бродили вокруг поезда. Чистая степь, растянувшаяся до самого горизонта, убивала желание что-то делать, лишала всякой инициативы. Вокруг не было дословно ничего, ни одного деревца.

Иногда, особенно вечерами, от поезда все-таки отрывались какие-то силуэты. В одиночестве или вдвоем брели, куда глаза глядят, исчезая за горизонтом. Одинокие шли подумать или поплакать, пары — попытаться отыскать в себе то, что осталось от чувств, от желаний.

А как-то один единственный раз поезд неожиданно тронулся. Присланный из города машинист хотел проверить, исправен ли локомотив, годится ли еще в работу. Неожиданное движение вырванных из летаргического сна вагонов чуть не довело людей до безумия. Одни догоняли поезд, как будто видели в нем последнюю, исчезающую надежду. Другие — наоборот, выскакивали на ходу, сталкивали детей со ступенек на землю, выбрасывали в окна пожитки. Старшие, помнившие выселение чеченцев в Сибирь и Туркестан, кричали, чтоб народ бежал, а то поезд снова увезет всех на погибель.

Алхазур подумывал даже, не вернуться ли еще до начала лета в Грозный. Не мог представить себе лета в поезде, да и тягот еще одной зимы в вагоне он бы уже не вынес. Хотел бежать, сам не зная куда, но твердо веря, что лучше будет везде.

Его удерживало отсутствие документов, а без них он был никем, не существовал. Его не было ни в каких списках, он не мог ничего просить, ничего требовать, никуда записываться.

Он оставил, точнее, потерял себя в разбомбленном городе. Когда начался налет, спрятался вместе со всеми в подвал. Он выжил, но документы и все, что было до сих пор его жизнью, сгорело во время пожара. Не мог простить себе, что, торопясь в убежище, не взял с собой документов. А кто берет с собой паспорт в подвал? Кто бы мог подумать, что бомба

упадет как раз на его дом, что именно его жизнь превратится в руины?!

В Назрани встретил я Ларису из Аргуна.

Ей было двадцать восемь лет. Красивое, хоть суровое лицо, с широкими плечами крестьянки. Ее жизнь навсегда изменилась, когда ранней весной на улицу, где стоял ее дом, въехали бронетранспортеры с солдатами в полевых камуфляжах и натянутых на голову черных шерстяных шлемах с прорезями для глаз.

Не первый раз военные заходили в городок, чтобы проверить документы и обыскать дома в поисках укрывающихся партизан.

Обычно приезжали еще до рассвета, в темноте, когда люди были погружены в самый глубокий сон. Внезапно разбуженные грохотом прикладов и кулаков, ударами сапог в двери, криками, угрозами и ревом моторов, они были совершенно беспомощны.

Ворота и двери срывались с петель под напором пинков, во двор врывались солдаты в бронезилетах, в касках, с закрытыми лицами. Командиры приказывали солдатам закрывать лица, чтобы партизаны не могли узнать их и отомстить.

Но анонимность обеспечивала не столько безопасность, сколько ощущение безнаказанности. Не видно лица, не видно знаков различия, ничего, что указывало бы, из какой они части, полка. И у бронемашин, на которых россияне по ночам заезжали в чеченские городки и аулы, отсутствовали или были замазаны регистрационные номера.

Сначала солдаты устраивали облавы днем. Ночами боялись заходить в дома из-за партизан, возвращавшихся домой на отдых. Окружали танками и бронемашинами целую деревню и по очереди, дом за домом, вытаскивали во двор жителей деревни, проверяя документы, поколачивая прикладами за медлительность или упрямство, разбивая мебель и посуду, все, что могло для хозяев представлять ценность. То, что для них самих представляло ценность, грузили на танки и грузовики и вывозили в казармы в качестве военных трофеев.

Только когда из Аргуна, спасаясь от облав, сбежали почти все молодые мужчины, россияне стали проводить ночные операции.

Поначалу грабили деньги, драгоценности, одежду, ковры, телевизоры, все, что можно было быстро продать на одном из кавказских базаров. Когда городки и деревни были обчищены до нитки, стали приходить за людьми. Арестовывали под любым предлогом и вывозили в гарнизоны. Знали, что на Кавказе каждый отец из-под земли достанет деньги, чтобы выкупить сына, а сын — отца.

Мужа Ларисы, Шамиля, россияне забрали вскоре после обеда в день рождения их старшей дочери. Лариса до сих пор не может себе простить, что поддалась слабости и упросила Шамиля посидеть с детьми, а сама решила сбежать к зубному врачу. Врач опоздал. Застав возле кабинета Ларису, сказал, что только что видел, как солдаты волокли к бронетранспортеру Шамиля.

Они приехали на их улицу, когда Шамиль входил в соседний магазинчик, купить подарок старшей дочери. Лариса успела еще добежать до БТРа, который отъезжал от их дома, но солдаты крикнули, что отпустили мужа. В доме Шамиля, однако, не было, а когда Лариса выбежала на улицу, не было уже и солдат.

В тот день вместе с Шамилем россияне забрали из Аргуна еще двадцать семь молодых мужчин. Трупы четырех из них на следующий день пастухи нашли на лугу. Рыдая и причитая, Лариса побежала туда, но Шамиля среди них не было. Она заметила только, что трупы как будто выпотрошили. По Чечне давно ходили слухи о том, что россияне похищают молодых чеченцев, убивают, а потом забирают сердце, печень, почки для пересадки органам раненым солдатам и пациентам в российских больницах.

Больше года искала Лариса мужа. Когда шестнадцатилетней девочкой ее выдали за него замуж, она не только не любила его, но даже не была с ним знакома. В соответствии с местными обычаями Ларису похитила будущая свекровь, присмотревшая ее в жены для своего единственного сына. В конце концов, Лариса полюбила Шамиля, он был добр к ней, неплохо зарабатывал, будучи мясником и владельцем дешевого мясного ларька на

грозненском базаре. Нравилось ей даже то, что ее похитили. Жалела, что пришлось бросить школу, но зато она стала взрослой женщиной, подружки ей завидовали.

В поисках пропавшего мужа или хоть какой-то весточки о нем, она ездила по всей стране, проверяя каждую общую могилу, заходила во все аулы, где находили чье-то тело. Копалась среди останков, пытаюсь найти хоть что-то, что напоминало бы о муже. Ездила жаловаться прокурорам, следователям, командирам.

Шамиль, будучи единственным сыном, не воевал ни на прошлой войне, ни теперь. Ни один из партизанских командиров не принял бы в отряд единственного кормильца в семье, единственного сына чеченской матери.

Зато воевал брат Ларисы, Джамбулат. И на той, и на этой войне. Сражался в отряде арабского добровольца Хаттаба, которого особенно ненавидели россияне. Джамбулат был одним из лучших его командиров и ближайшим поверенным.

Джамбулат тоже попал в руки россиян, но остался в живых, благодаря российскому полковнику разведки, который допрашивал его в тюрьме. «Его звали Иван Марков, он был очень честным и порядочным человеком, — рассказывает Лариса. — Во время допросов Джамбулат признался, что был партизаном и что если его отпустят, он и дальше будет сражаться с россиянами. Маркову это очень понравилось, он сказал, что если мы купим два автомата и дюжину гранат, которые арестованный партизан обязан сдать россиянам, и заплатим ему тысячу долларов, а в подарок дадим папаху и серебряный кинжал, он поможет Джамбулату сбежать. Мы все сделали, как он хотел, и он сдержал слово. Человек чести. Как русские офицеры в стихах Лермонтова».

Пользуясь знакомством с Марковым, Лариса много раз ходила к нему с жалобами.

Сначала из-за ареста Шамиля, которого она продолжала искать. Марков злился на солдат, не раз бил их в присутствии Ларисы, обещал помочь. Но на следующий день после каждого такого визита к Маркову, солдаты подъезжали на бронемашине к ее дому. Избивали ее на глазах пятерых детей. Обвиняли в том, что помогает партизанам, пугали, что если она не перестанет искать мужа по комендатурам, сама окажется в тюрьме.

Как-то раз они наткнулись в ее саду на самосейку индийской конопли, которой в Аргуне поросли все придорожные канавы и рвы. Ларису обвинили в торговле наркотиками. В одно из ночных посещений солдат в маске схватил за ноги спящего в колыбели сына Фаттаха, которому не было еще и полгода. Заявил, что Фаттах — имя арабское, значит, Лариса поддерживает арабских боевиков Хаттаба. Малыш, повиснув вниз головой, весь посинел от плача, а солдат сказал, что размажет его по стене, если Лариса немедленно не принесет деньги. Бегая, как безумная, по соседям среди ночи, Лариса собрала несколько тысяч рублей. Солдат взял деньги и бросил мальчика на пол.

В конце концов, пастухи раскопали на поле под Гудермесом могилу, в которой нашли несколько тел. В одном из них по остаткам одежды Лариса узнала Шамиля.

Она продолжала ходить жаловаться Маркову. На смерть мужа, на бесконечные избиения российских солдат, которые продолжали приезжать по ночам к ее дому в Аргуне. Продолжали избивать ее на глазах у детей, грозили, пугали, требовали денег.

Как-то ночью затащили Ларису в спальню и изнасиловали. Ни одна чеченка не признается иностранцу в насилии. Врачи подтвердили, что Лариса была многократно изнасилована. Вывезли ее в Ингушетию, чтобы избавиться от беременности, возникшей в результате насилия.

— Я не плачу, чеченцам плакать не пристало, — говорила Лариса твердым, бесстрастным голосом. — Хотела бы никогда больше не возвращаться в Аргун. Никому не желаю там оказаться. Да нет у меня денег, чтобы вырваться оттуда и с пятью детьми уехать куда-то, начать новую жизнь. Не верю, что в Аргуне можно будет когда-нибудь жить по-божески, как когда-то, когда свекровь похитила меня для своего единственного сына. Ту жизнь, те времена уничтожили те, что приезжали к моему дому на бронемашинах, с автоматами и в черных масках. Ненавижу их всей душой и желаю медленной смерти в муках, которые я сама хотела бы им причинить.

Прошло несколько долгих, полных ожидания дней, пока, наконец, не прибыл посланец Исы.

Позвонил от администратора и сказал, что ждет внизу. Когда я бежал по лестнице вниз, в холле гостиницы роилось от российских солдат. Их вид, запыленные, обожженные солнцем лица, бесцеремонное поведение позволяли предположить, что прибыли они из Чечни.

Увидев меня, от суетливого роя мундиров оторвался невысокий чеченец в темном, помятом костюме. С многозначительной улыбкой сунул мне в ладонь коробок индонезийских спичек.

Хамзат был братом Исы. Его огромный грузовик, окруженный целым караваном армейских машин, загоразивал подъезд к гостинице. Ему нужна была свита солдат, чтобы беспрепятственно ездить каждый день в Ингушетию или Дагестан, куда он возил продавать собранный в Чечне лом. Если бы он ездил один, пришлось бы давать взятки на постах, делиться прибылью, подвергаться унижениям, заискивать, терять время. А могло ведь случиться и самое худшее — солдаты могли отобрать грузовик или под любым предлогом бросить его за решетку. Поэтому Хамзат возил свой лом всегда с эскортом солдат, которых ему выделял начальник гарнизона в Чири-Юрте в рамках обмена услугами с Исой.

Солдаты охотно сопровождали Хамзата. Поездки хотя бы в Назрань или дагестанский Хасавюрт разнообразили монотонность службы, помогали убивать время, которое в казармах старого цементного завода, казалось, замерло на месте. К тому же за опеку на границах чеченец во время остановок кормил их шашлыками и поил осетинской водкой. Поэтому в поездки с Хамзатом всегда отправлялись только сержанты, самые опытные и развращенные войной, а такие как раз оказывались полезнее всего при разных проверках и контролях.

Хамзат со свитой как раз возвращался с базара в Назрани, где продал лом, и на обратном пути заехал забрать меня из гостиницы.

Зажатый на заднем сидении между двумя солдатами я мало что видел, но зато и сам оставался незаметным. Солдаты не раскрывали рта и без конца курили. Казалось, ситуация их смущает, может, им было немного стыдно — в конце концов, они ведь обманывали своих, причем в присутствии постороннего человека.

Через границу мы проехали, почти не сбавляя скорости.

Мы ехали вглубь Чечни.

Серый и понурый Ачхой-Мартан, продырявленный снарядами, заставленный наскоро сколоченными будками; разрушенный российскими самолетами Катыр-Юрт, которому судьба отомстила за то, что не приютил партизан, бегущих из осажденной столицы. Измученные, напуганные, понесшие огромные потери на минном поле, с убитыми и ранеными на плечах, они остановились в Катыр-Юрте, чтобы хоть немного передохнуть и перевязать раненных. Но напрасно они стучали и кричали, взывая о помощи. Ворота домов остались закрытыми наглухо, партизаны провели зимнюю ночь среди палаток на базаре. На рассвете их заметили российские летчики, а в полдень на Катыр-Юрт обрушился ураган бомб и снарядов.

В предместьях Грозного горели нефтяные вышки и резервуары. Жар огня обманул природу — несмотря на раннюю весну рядом с руинами, красными языками пламени, закопченными и искореженными трубами, расцветал снежной белизной одичавший вишневый сад.

Одно из многочисленных бытующих на Кавказе предсказаний гласит, что Грозный — место проклятое, что разрушительное движение земной коры сотрет его с лица земли.

Гибель города пришла не из недр земли, а с неба. Древнее предсказание оказалось, очевидно, неточным, но кто же в девятнадцатом веке осмелился бы утверждать, что смерть и разрушение будут сеять летающие машины?! А может, это еще и не был вовсе тот, предсказанный апокалипсис?

Город лежал в руинах. Везде, куда ни бросишь взгляд, громоздились пирамиды

обломков, среди которых торчали скелеты многоэтажных домов.

Полумиллионный город со своими университетами и фабриками, и, прежде всего, с нефтехимическими заводами и научно-исследовательскими институтами, прославившими его на весь мир, этот город, когда-то богатый, многолюдный и такой по столичному самодовольный, разрушили, дословно сровняли с землей.

Я не узнавал мест и направлений, все утратило свой прошлый облик. Я не мог найти ни развалин гостиницы, в которой когда-то жил, ни мэрии, где много лет назад впервые встретился с Дудаевым. Я не заметил даже Минутки, самого узнаваемого в городе пункта для зарубежных журналистов, которые посещали Грозный во время войны. Я понял, что мы проехали ее, когда наша машина уже нырнула в туннель чтобы по главной улице города, проспекту Автурханова, доехать до центра. Я попросил россиян вернуться.

Эта небольшая, округлая площадь звалась Минуткой, потому что тут человек обычно хоть на минутку останавливался. Здесь автобусы назначали себе остановки, сюда привозили приезжих со всей страны и отсюда забирали тех, кто хотел уехать. В бесчисленных закуточных, расположившихся в окрестных домах, подавали кавказские блюда, соломенного цвета чай, черный кофе в маленьких чашечках. Уже во время первой войны Минутка была до неузнаваемости искалечена. Она лежала на самой линии фронта, была воротами в расположенный на том берегу реки Сумжи и обороняемый джигитами Дудаева центр города вместе с президентским дворцом, последней цитаделью чеченцев.

Но вторая война превратила Минутку в бесформенную, ни на что не похожую грудку щебня. Война, точнее казнь, длилась две недели. Все вокруг взрывалось и горело, днем и ночью. Не уцелел ни один из здешних домов, не осталось даже развалин и пепелищ. Минутка превратилась в ровную пустыню щебня, а единственным оазисом жизни, единственным местом, где можно было встретить живое существо, стали военные посты.

Издалека казалось, что война обошлась с центром города милосерднее, чем с Минуткой. Он был слишком большим, чтобы стереть его с лица земли. Остались какие-то формы прошлого, очертания бывших проспектов, теперь превратившихся в глубокие ущелья среди разрушенных и сожженных домов, трубы жилых домов. На одной из улиц, на развалинах я увидел на сохранившемся фрагменте стены дверь. Оно вела в никуда, за ней тянулась только обжитая бродячими собаками пустыня, и все равно возник соблазн подойти и открыть ее.

Вокруг было полно битого стекла — оно хрустело под ногами везде в городе. Везде мусор, щебень, железо, развороченные и выгоревшие остовы машин. Войну пережили немногочисленные стены, теперь пестревшие надписями: «Добро пожаловать в пекло!» и «Тут живут люди». В развалинах царил гробовая тишина, прерываемая только ворчанием моторов российских БТРов, которые время от времени, вздымая пыль, проезжали по пепелищам.

Мохаммед, мой чеченский таксист из Назрани, утверждал, что в разрушенном Грозном все еще живет пятьдесят тысяч человек.

Те, чьи дома, разрушенные и до нитки ограбленные, все-таки уцелели, возвращались и сами потихоньку, кропотливо восстанавливали стены и крыши. Те, кто застал только воронку от бомбы или кучу щебня, собирали доски, кирпичи, куски жести, черепицы, фрамуги дверей и окон, чтобы продать это все счастливым, дома которых еще можно было спасти.

Казалось, больше всего жизнь теплится в Чернореченском районе. Тут можно было чаще увидеть облачка дыма, плывущие из окон разрушенных домов. А в сумерки кое-где даже поблескивали огоньки, добытые чародейством смрадных, воющих генераторов, символов богатства и силы в городе, погруженном в темноту, лишенном электричества, газа, воды, а часто и глотка свежего воздуха, глубокий вдох которого иногда способен вернуть надежду на лучшую долю.

Многие продолжали жить в подвалах, где прятались в войну. Хоть с неба исчезли самолеты, а автоматная пальба гремела только по ночам, они все еще боялись ночевать в

чудом уцелевших домах. Предпочитали затхлые, темные, но безопасные подвалы, из которых на рассвете выбирались на свет Божий, чтобы раздобыть еды и пережить очередной день. Брели крутыми тропинками среди развалин в предместьях, где у дорог, ведущих из города, по утрам появлялись крестьяне с овощами и фруктами, а также торговцы с товарами из Ингушетии и Дагестана.

Ритм жизни городу задавали базары, и тот, что побольше, в центре города, и те крошечные, что вырастали на малых улочках. Перекупщицы каждое утро раскладывали тут свои лотки с семечками подсолнечника, газированными напитками и фруктами. Только на базарах можно было достать еду и все, что необходимо для выживания.

На базар приходили даже российские солдаты. Настороженно озирались, опасаясь нападения. Слишком много россиян гибло на базарах от выстрелов или ударов кинжала, а убийц никогда не удавалось схватить. Они уходили от погони в людском море, среди руин, исчезали в лабиринтах подземных переходов и подвалов, по которым, как несла молва, можно было незаметно пробраться из одного конца города в другой. Сколько раз на базаре убивали россиянина, столько раз солдаты в ответ устраивали погромы. Окружали базар, потом входили на площадку, разбивая, растапывая и опустошая лотки.

Россияне, однако, базары не ликвидировали. Они им самим были нужны. Тут они продавали свою добычу — пожитки чеченских крестьян, отобранные во время чисток в деревнях, а также все, что удавалось выкрасть из казарм: канистры бензина, обмундирование, одеяла, мешки муки и сахара. Тут, наконец, опасаясь отравления, закупали у доверенных торговцев мясо, свежий хлеб, овощи, которых так не хватало в их голодном солдатском пайке.

Не только базары, весь город был царством женщин. Их мужчины предпочитали вообще не выходить на улицы, чтобы своим видом не провоцировать россиян на аресты. Женщины держали лавки на базарах, занимались готовкой в придорожных харчевнях, даже ходили на развалины в поисках лома. Продавали его за гроши таким купцам, как Хамзат, у которых были грузовики, деньги, ходы и знакомства, позволяющие вывозить железо в Дагестан или Ингушетию, а то и дальше, вглубь России. В Чечне, где все практически стало ломом, он стоил копейки. Чем дальше, тем больший был на него спрос, тем выше становилась цена.

После заката город переходил в руки мужчин. Кончалось притворство, игра в прятки. Из уличных ущелий как призраки появлялись силуэты людей с автоматами. Чеченские партизаны, пробиравшиеся в город с гор или укрывавшиеся в руинах, подкрадывались в темноте к российским постам и патрулям чтобы бросить гранату, выпустить автоматную очередь, подложить бомбу или мину, убить или хотя бы заставить насторожиться, напугать. Или из минометов, переносных ракетных установок с развалин домов стреляли в направлении Ханкалы, главной базы россиян.

Мрак менял и россиян. По ночам в них вселялся злой дух. В темноте вырывался наружу парализующий страх, и одновременно ощущение безнаказанности, толкающее на грабежи и убийства.

Поэтому перед заходом солнца в городе начиналась лихорадочная суэта. Большинство дневных обитателей руин собирались в дорогу, к родственникам в пригородные поселки, где они нашли приют на время войны. В Дагестан или Ингушетию, где их пристроили в одном из палаточных городков для беженцев. Те, кто оставался на ночь, торопливо тушили свечи, чтоб не привлекать внимания, и проваливались в беспокойный, не приносящий облегчения сон.

На закате мы остановились возле российской комендатуры в Старых Атагах. Там нас ждал Иса. Беседовал с серыми от пыли солдатами, которые только что вернулись из дозора в долине Аргуна и теперь отдыхали, развалившись на броне танка. Я достал из кармана спичечный коробок с орлом и арабскими надписями. Это должно было быть знаком, что поездка прошла без помех и неожиданностей. Иса неторопливо попрощался и, побряхтывая, уселся за руль «Волги».

На следующий день он отправил гонца в горы, к одному из скрывающихся там командиров Масхадова, чтобы при его посредничестве президент назначил время и место встречи, а также способ, каким я могу на нее попасть.

Мой хозяин решил, что пока посланец не вернется с гор, никто не должен знать о моем существовании, даже в его собственной деревне. Шпики, которыми кишел каждый аул, немедленно донесли бы об этом российской контрразведке, а от нее Ису не спасла бы даже благодарность сибирских офицеров из гарнизона на цементном заводе.

Поход в горы занимал у курьеров обычно четыре-пять дней. Наш посланник, однако, долго не подавал признаков жизни, а когда, наконец, появился, сказал, что нужно ждать прибытия следующего курьера.

Большую часть времени я проводил в помещении, которое мне выделил Иса, называя его моей комнатой. «Посиди немного у себя», — бросал он извиняющимся тоном, когда ждал прихода гостей. «Поужинаешь с нами на кухне или у себя?» — спрашивала Лейла, жена Исы.

Совместный прием пищи регулировал распорядок дня. За завтраком, в восемь утра, Иса сообщал план действий. Время до обеда, который Лейла подавала на стол между двумя и тремя часами дня, проходило в два этапа. Сначала, сразу после завтрака, наступала фаза надежды, порожденной энтузиазмом и верой Исы. Потом надежда уступала место нетерпению.

Все вести с гор должны были попасть ко мне до заката. Курьеры не ходили по ночам, было безопаснее скрываться среди тысяч перемещающихся днем по всей стране путников. Значит, надо было ждать утра. За обедом все будет известно. Обед решал все.

А вестей для меня все не было. После обеда наступало время разочарования и невыносимого чувства бессилия, которое не отступало до самого ужина, дававшего отмашку на отдых и отключение мыслей. С утра цикл повторялся: завтрак — надежда, обед — ожидание и разочарование, ужин — отсчет очередного дня и возрождение веры.

Монотонность и первоначальная безуспешность предприятия не особенно докучали, их компенсировало сознание, что там, на той стороне, есть жизнь.

Значит, я был в самом центре событий! Так, как всегда мечтал.

Я подсматривал за жизнью своих хозяев, их будничной повседневностью. Изучал их, узнавал Ису, Лейлу, двух сыновей, старшего Аслана и младшего Ислама, жену Аслана; наблюдал, какие они, как живут, осознают ли необычность своей судьбы. Опыт такой жизни казался мне не менее важным, чем разговор с кем-то из скрывающихся в горах чеченских лидеров. Тем более, я был уверен, что рано или поздно встречу с ними, с Масхадовым или Басаевым, а может, даже с обоими. Я понимал, что в жизни Исы и его семейства я появился всего на мгновение, что покину их, когда пресыщусь, когда решу, что пришло время.

А пока, в ожидании вестников с гор, я изучал жизнь своих хозяев, познавал ее, делал заметки для будущих историй, просматривал свои записи.

Рассматривая принесенные Исой карты, я вычислил, что Масхадов должен находиться где-то в горах в районе его родного Алироя.

Опять пришлось ему бежать от наступающих россиян в кавказские ущелья. Он потерял лучших своих солдат, но пережил зиму и весной во главе партизанских сил спустился с гор. Выслеживаемый российскими самолетами, он петлял среди ущелий и аулов. Не разрешал своим командирам выдавать даже названия селений, где останавливался на ночлег и кормежку.

Россияне, которые до сих пор видели в Масхадове законную власть, подписывали с ним трактаты и соглашения, теперь называли его преступником, террористом, предателем. Объявили его в розыск, обещали денежное вознаграждение за его голову.

Ходили слухи, что ему предлагали отказаться от власти, уйти из политики, уехать в Турцию или доживать дни на государственной даче под Москвой, под бдительным оком секретных служб, наслаждаясь спокойной старостью и назначенной Кремлем пенсией. Он отказался, хотя, говорили, что жена настойчиво уговаривала его согласиться.

Российское правительство издевательски называло его королем без королевства, а значит, любые переговоры с ним были лишены смысла. Кроме того, Кремль утверждал, что Масхадов стал заложником опасных фанатиков и террористов типа Шамиля Басаева, что он поддерживает терроризм (подтверждающие это документы секретные службы, якобы, обнаружили в собачей конуре во время одной из чисток в Старых Атагах), платит террористам премии за каждую удачную акцию. А значит, не заслуживает уважения и, единственное, что ему осталось, это сдаться и просить Президента Российской Федерации о помиловании.

Газеты в Москве уверяли, что Масхадов того и гляди прибьет в Кремль, чтобы принести присягу на верность и предотвратить дальнейшее кровопролитие на Кавказе. Как когда-то побежденный имам Шамиль, он должен был сложить оружие и согласиться на ссылку на одну из подмосковных правительственных дач взамен за гарантию безопасности для себя и своей семьи, а также обещание, что Кремль прекратит кровавые пацификации и бомбардировки чеченских аулов.

Россияне то и дело объявляли, что он ранен, что погиб, что брошенный всеми блуждает по кавказским ущельям.

Чеченские же эмигранты, в свою очередь, утверждали, что все джигиты, может быть за исключением постоянно меняющего свое мнение Басаева, пошли под командование Масхадова. Якобы, он регулярно собирал их в горах на совещания, планировал вооруженные нападения, отправлял посланцев в Европу для тайных встреч с российскими политиками, выступающими против войны. Тайком пробирался даже в Грозный, а его выступления, записанные на кассеты, курьеры развозили по аулам и станицам.

Как-то вечером Ислам, младший сын Исы, принес ко мне в комнату затертую кассету. «Это Аслан», — многозначительно сказал он, беспокойно оглядываясь на дверь. Боялся, видно, что появится отец, или хуже того, мать, и поймут его на чем-то недозволенном.

Мужской голос на кассете тонул в шумах и треске. Я не смог узнать в нем Масхадова. Тем более что говорил он, если это действительно был Масхадов, по-чеченски, что дополнительно меняло тембр голоса.

«Я обращаюсь сейчас к тем, кто, пережив трагические события и потерю близких, решили вступить на путь самопожертвования. Понимаю вас, но не могу поддержать, — шептал Ислам, прижав ухо к репродуктору. — Россия хочет любой ценой доказать, что наша война за свободу — не что иное, как терроризм. Мы не можем допустить, чтобы России это удалось. Поймите, наших врагов не удержит ни ваша смерть, ни смерть сотен тысяч ваших братьев и сестер».

На восьмой день я достал из шкафа книгу: изданные в Москве воспоминания Александра Дюма о путешествии по Кавказу. Надо было, наконец, оторвать взгляд от обоев, которыми было оклеено жилище Исы. Бледно-розовые, поблекшие, с золотисто-зелеными черточками, украшенные розочками симметрично, по два цветочка с каждой стороны черточки.

Но еще до обеда кавказские воспоминания француза стали казаться мне банальными. Наводила скуку и найденная на полке криминальная история Агаты Кристи. Может, причиной тому был невыносимый запах книжной затхлости, а может, мучительное ожидание курьера. Так или иначе, отложил я книжки и вернулся к изучению обоев.

Вечером в комнату без стука вошел Иса. Молча прошел на балкон, потом вернулся в комнату и развалился на диване. Он буквально кипел от злости. Накануне мы увидели по телевизору, как россияне арестовали Хусейна, найдя в его машине повстанческую газету «Ичкерия». Иса провел весь день в визитах к знакомым российским офицерам, но вернулся ни с чем. Никаких вестей о приятеле.

Больше всего его злило легкомыслие и нерасторопность Хусейна, который так легко попался солдатам. Его остановили на одном из тысячи блокпостов, которыми были перекрыты чеченские дороги.

— Как можно было отправиться в путь с запрещенными газетами в багажнике?! Только

последний дурак мог так поступить! Надо было с газетами послать какую-нибудь старуху! Бьюсь об заклад, солдаты бы ей под юбку не стали заглядывать. Бог покарал Хусейна, отобрал разум! — ругался Иса. — Поймут, кого схватили, отправят в Россию и тогда его из тюрьмы не вытащить, сгниет за решеткой!

Машинально взял лежавшую на столе книгу Дюма. Некоторое время смотрел на нее, как бы удивляясь, что такая вещь оказалась у него в доме.

— Завтра сходим к одному такому, Халиду, может, у него есть какие-то вести с гор. Может, там знают что-нибудь о Хусейне.

Халид жил по соседству в Старых Атагах, недалеко от мечети. Только посвященные знали, что его дом был контактным пунктом, через который шла вся переписка между повстанческими политиками.

К неприметному чеченцу с бельмом на глазу приходили женщины курьеры с приказами и сообщениями. Оставляли послания, забирали другие и исчезали. Через минуту приходили другие женщины, везли корреспонденцию из дома Халида на очередной контактный пункт. Так соблюдался основной принцип конспирации — отдельные курьеры знали только фрагмент сложной сети, были только звеном длинной цепи. Даже арестованные, они не могли выдать своих руководителей.

Халид телевизора не смотрел и понятия не имел, что Хусейн попал в руки россиян. А с гор тоже никто не приходил. Халид предложил, чтобы я записал свои вопросы к Масхадову на листке бумаги и переслал их через курьера. Я согласился, написал несколько фраз на вырванной из школьной тетради страничке. Но продолжал настаивать на встрече. Я не представлял себе, что мог бы не увидеться с ним.

Иса как обычно зашел ко мне после завтрака и сообщил, что на обед приведет кого-то особенного, кто мне многое расскажет и многое объяснит. Я заметил, что хозяин уже несколько дней проявлял беспокойство в связи с моей ситуацией. Заходил без стука и развлекал разговорами, хотел я того или нет. Навещали меня и сыновья, старший Аслан и младший Ислам. Я подозревал, что это Иса велел им не оставлять меня в одиночестве. В последние дни стал также приглашать гостей, которые рассаживались на диване, улыбались и, прерывая неловкое молчание, спрашивали, как дела. Не знаю, правда, делал ли это Иса в силу священного на Кавказе долга гостеприимства или в страхе, что я сойду с ума.

Наш гость был неразговорчивый, высокий, солидный, элегантный мужчина. Иса относился к нему с нескрываемым уважением.

Он был заместителем премьера в правительстве Масхадова. Поскольку президент из-за многочисленных обязанностей не имел времени председательствовать на заседаниях кабинета, именно нашему гостю он поручил это дело. Другими словами, он был последним довоенным чеченским премьером.

Мне он показался человеком глубоко разочаровавшимся. Говорил о потерянной возможности, наверное, единственной, отпущенной нещедрой судьбой, о смертельной угрозе, нависшей над чеченскими горами. О сожженной земле, которую оставили за собой вероломные россияне. После первой войны, всего четыре года назад, войны незаконченной, но по большому счету ими проигранной, они обещали, что не будут больше воевать, и все споры будут теперь решаться путем политических переговоров.

В качестве министра и вице-преьера он много раз ездил в Москву и всегда возвращался с тяжелым сердцем, с ощущением, что в России никто, абсолютно никто даже не задумывался над тем, как можно было бы мирно разрешить проблему чеченцев. А ведь подписывая перемирие, россияне обязались в первый же год двадцать первого века определить путем переговоров статус чеченской республики.

Однако в Кремле никто не забивал себе этим голову. Россияне знали, что не успеет закончиться оговоренный срок, как слово возьмут генералы, которые так и не простили чеченским горцам недавнее унижительное поражение. Не лучшее ли доказательство тому тот факт, что новое нападение на Чечню возглавили те же люди, которым пять лет назад

пришлось спускать российские флаги над чеченскими аулами?

Можно ли вообще говорить о победе? Чеченские командиры сумели во время войны победить российскую армию, но в мирное время оказались людьми не только некомпетентными, но и мелкими, не думающими ни о народе, ни о давних товарищах по оружию. Чем же они отличались в таком случае от министров из имперских кабинетов, к которым он сам относился несколько лет назад? Кто им позволил узурпировать себе право на истину?

— Все это неважно, — говорил он. — Мы все проиграли, не воспользовались шансом.

Иса, в своих рассуждениях, смотрел в будущее с позитивным настроем, ему была чужда мысль о капитуляции и даже бездействии, он старался найти правильный путь для себя и своих земляков. А бывший премьер находил, кажется, какое-то мазохистское удовольствие, копаясь в воспоминаниях о поражениях.

Потом он еще несколько раз заходил к нам на обед, а однажды мы встретились вечером на берегу Аргуна. Как всегда одетый с иголочки, он принес с собой складной стульчик, какими обычно пользуются рыбаки. Держал речь, картинно сплетая ладони на коленях, ну просто мастер, поучающий послушных учеников, неуклюже примостившихся на каменистом берегу реки.

— Пора забыть о геройстве, о прославлении мученической смерти. Пора думать о том, как выживать, — говорил он. — Для России сто тысяч убитых солдат, это просто военные потери. Для нас, чеченцев, сто тысяч погибших — это геноцид, смерть народа.

Опускался вечер, сгорбленный силуэт вице-преьера на рыбацком стульчике постепенно таял в темноте и стелящемся над рекой тумане. Как только он заговаривал о Масхадове, у меня возникало впечатление, что его охватывает какая-то грусть. Вроде рассказывал разные анекдоты, вроде посмеивался над недостатками и пороками президента, а звучало так, как будто вспоминал кого-то умершего, кого-то, по ком тосковал. Может, и не по нему самому, а по несбывшимся мечтам, желаниям и надеждам, которые оживали при воспоминании о Масхадове.

— Знал ли Аслан, что его ждет? Не знаю, наверное, верил, что все у него получится. Думаю, тогда никого лучше него не было. Но и он не прирожденный руководитель. Видно, не могло получиться, видно, так распорядилась судьба.

Как-то вечером вице-премьер привел с собой прокурора. Масхадов поручил ему в свое время борьбу с теми, кто поддался соблазну заняться известным на Кавказе испокон веков, столь же порочным, сколь доходным промыслом — торговлей живым товаром. Прокурор внимательно слушал речи премьера, утвердительно кивал головой, если считал, что тот затронул сущность вопроса. Было заметно, что он преисполнен таким уважением к премьеру, что кивать приходилось непрерывно.

Прокурор любил изрекать оригинальные сентенции, типа: «в Чечне послевоенное время быстро становится довоенным, а мир оказывается более трудным вызовом, чем война».

— Вообще-то Масхадов был золотым человеком, но наивным до ужаса. В мирном договоре с Россией было положение о том, что в отношениях с Чечней она будет соблюдать международные нормы и права. Масхадов свято верил, что само слово «международные» уже обозначает, что Кремль признает независимость Чечни, — говорил прокурор, когда умолкал премьер. — Или эта история с Яндарбиевым. Кто-то пытался убить Масхадова, и он подозревал, что за покушением стоит именно Яндарбиев, который не смог ему простить проигрыш на президентских выборах. Вместо того чтобы направить дело в суд и все выяснить, Масхадов велел Яндарбиеву поклясться на Коране, что он не имел с покушением ничего общего. Яндарбиев поклялся, и на этом все кончилось.

На вечерние, тайные встречи на берег Аргуна приходили многие министры чеченского правительства. Днем предпочитали не попадаться на глаза российским солдатам, патрулирующим их деревни. Вечерами, когда россияне прятались в казармах, министры собирались у реки, жевали сухую вяленую рыбешку и рассказывали грустные истории о

таким недалеким еще прошлым.

— Нам, работавшим когда-то на русских, труднее всего было привыкать к новым порядкам на заседаниях Совета министров. Мы привыкли к тому, что есть повестка дня, председатель, который дает слово, и так далее. А теперь казалось, что мы на базаре, — прокурор задумчиво бросал в реку камушки. — Ссоры, ругань, перекрикивание. Не раз бывало, что министры бросались друг на друга, приходилось их растаскивать. Приходили на заседания с пистолетами, а по коридорам, волки волками, бродили их бойцы, так обвешанные разным оружием, что едва на ногах держались. Не раз и не два Совет министров принимал голосованием какое-то решение, а кто-нибудь из командиров после этого выходил, хлопнув дверью, со словами, что ему наплевать на решение. Масхадов врагов старался привлечь должностями, а о друзьях не заботился. Ничего удивительного, что, в конце концов, все его бросили, один остался.

Наши прогулки к реке понемногу становились ритуалом. И постоянным элементом нудной рутины моей жизни в конспирации. Наступающий вечер оглашал болезненный приговор — с гор опять никто не пришел. Когда темнело, Иса заходил в мою комнату и сообщал:

— Пора проветриться.

В руках у него была кожаная куртка Аслана и его собственный зеленый фез, небольшая круглая шапочка, которая должна была превратить меня в чеченца. Бриться он запретил мне с первого дня. Купил на базаре белые спортивные туфли и мешковатые слишком большие брюки, которые мне приходилось стягивать поясом, чтоб не сваливались. Иса не только постарался переодеть меня, но и нашел чеченский паспорт (так, на всякий случай, подчеркивал он), и назвал меня Вахидом.

Так он обращался ко мне всякий раз, когда мы выходили из дому. Обучил меня нескольким чеченским словам, чтобы я мог отвязаться от любопытных. Местные жители действительно заговаривали со мной по-своему, а на мое бурчание реагировали так, как ожидал Иса. Иса вообще был весьма доволен созданным им образом, хвастал собственным произведением перед доверенными знакомыми.

На реку мы часто заглядывали и по пути домой, возвращаясь от Халида из Старых Атагов. Для меня новости были все те же. Очередные курьеры приезжали без ответа, или с теми же словами, что и раньше — ждать, когда приедет следующий. Одному Богу известно, когда!

Зато хорошие новости пришли Исе. Дела с Хусейном обстояли не так уж плохо.

Россияне, конечно, узнали, кого им удалось арестовать, но не вывезли его ни в Ростов, ни в осетинский Моздок, а посадили в камеру в чеченском Шали. Тут рукой подать. Так что, не все еще было потеряно.

Чтобы разогнать как-то мою мучительную меланхолию, Иса купил на базаре в Старых Атагах сушеную рыбу, лук, помидоры, апельсины, фисташки, медовое пиво и пузатую бутылку осетинской водки. Похоже, он верил, что она, как волшебный эликсир, развеет заботы и сомнения, воскресит надежду и веру.

По дороге мы захватили с собой Хамзата, который только что вернулся, довольный заработком, из поездки в Хасавюрт, где продал россиянам очередной грузовик лома.

Иса отдал продукты придорожному духанщику, который быстренько развел огонь, поставил на него решетку с бараниной. Показал нам полянку в зарослях, возле самой серебрившейся в лунном свете реки.

Мы расселись на плоских прибрежных камнях. Иса открыл настежь двери «Волги», чтобы за водкой и набитой марихуаной сигареткой наслаждаться музыкой своего любимого Адриано Челентано.

Над нашими головами кружили вертолеты, охраняющие с воздуха танковые колонны, ползущие по дороге на той стороне реки. Ночная тишина и усиливающее все звуки зеркало воды позволяли нам прекрасно слышать рокот моторов, а иногда и голоса солдат. Лучи прожекторов позволяли судить, как далеко от нас проходит путь войсковых караванов. А

когда на короткое мгновение стихал хор цикад и лягушек, с гор доносилось глухое эхо взрывов.

Мы встречались у реки по ночам, мы — жители деревни, объявленные вне закона, скрывающиеся днем от нежелательных глаз, связанные братством конспирации. Из всей деревни только мы выходили на воздух после наступления темноты, выводимые своими хозяевами на прогулку на каменистый берег Аргуна.

Как-то у реки я познакомился с Сулейманом, партизаном из отряда Шамиля Басаева, чеченского сфинкса, неразгаданного, обожаемого и проклинаемого одновременно.

Сулейман с товарищами сидел неподалеку, на соседней полянке. Он скрывался в собственной деревне. Все знали, что он ушел в горы, но никто — что вернулся на краткий отдых в деревню. Так и должно было быть. За голову Басаева россияне обещали награду в миллион долларов и орден Героя России. Мешок рублей за Сулеймана мог оказаться непреодолимым соблазном даже для самых близких друзей. Зачем накликивать беду? Подвергать ненужным испытаниям близких людей?

Он вернулся с гор неделю назад. Белизна щек выдавала только что сбритую бороду. На реку пришел с братьями, единственными людьми, в чьей преданности и помощи он мог быть абсолютно уверен. Иса был знаком с их отцом по работе на цементном заводе.

Меня сжирало нетерпение. Хотелось расспросить Сулеймана о ста разных вещах, трудно было вытерпеть спокойно пустяшный, ничего не значащий разговор, который завел Иса, расхищая драгоценное время, которого, увы, было и так не много. Боец Басаева, Сулейман казался мне неоценимым источником правдивых новостей о командире, судьба которого успела обрасти уже такими легендами, что превратила его в существо почти мифическое.

На минных полях под Алхан-калой, где огромные потери понесло отступающее из Грозного чеченское войско, Шамиль Басаев был ранен в семнадцатый раз. Прекрасно отдавая отчет в том, насколько смерть Шамиля могла бы подорвать дух чеченских повстанцев, россияне стали распространять слухи о его гибели, а потом, когда дольше не удавалось поддерживать эту ложь, о том, что он потерял на mine обе ноги и глаз.

В Алхан-кале жил еще тогда известный на весь Кавказ хирург, Хасан Баев, специалист по пластическим операциям. Чеченские командиры давно определили его в дежурные врачи. Он складывал из кусочков череп Салману Радуеву, зашивал продырявленную, как сито, грудь Арби Бараева.

В ту зимнюю ночь, когда партизаны выбирались из Грозного, Баев ампутировал семьдесят семь ступней и ладоней, сложил из кусков семь 175 голов, зашил и перевязал бесчисленное количество ран. Кошмарная ночь, видимо, до конца исчерпала его силы и веру, потому что на следующий день с женой и шестью детьми он сбежал в Америку, куда подальше от Чечни.

В ту ночь он оперировал при помощи простейших инструментов, какие смог найти в небогатом военном госпитале. Быстро кончились все перевязочные материалы, обезболивающие средства. Когда в госпиталь привезли раненого Басаева, врач смог сделать только местную анестезию. Шамиль, белый как мел, был в сознании, когда хирург отнимал ему остатки раздробленной стопы. Из Алхан-калы в Долину Ведено в высокогорном Кавказе партизаны везли Шамиля на санях. По дороге началось заражение, борьбу с которым осложняли не только тяжелые полевые условия и зима, но и разряженный горный воздух. Очередной, найденный в какой-то деревне врач отрезал еще часть голени.

Распускаемые россиянами, а может, только подхваченные ими слухи, доносили, что Шамиль сбежал за границу, что у него заражение крови и он теряет рассудок. Якобы во время очередной операции было внесено какое-то заражение, испуганные врачи перекормили Басаева лекарствами, от которых он сошел с ума. Якобы он не только перестал командовать, но вообще бредил, потерял дар речи. Его партизаны, якобы, искали себе нового командира.

Не в силах дожидаться известий о смерти Басаева, россияне убеждали всех, что

лишенный врачебного ухода он так или иначе скоро умрет. А российские генералы и не собирались ждать. Просто сообщили, что Басаев умер, так как уже долгое время не перехватывали ни одного его телефонного разговора. А раз не разговаривает, значит, умер, хвалился сам шеф штаба, Квашнин. И даже российский Министр обороны, хоть сам не верил в генеральские байки, уверял, что его армия рано или поздно настигнет Басаева.

Но вести с гор противоречили всем словам и надеждам россиян. И так, Басаев не только был жив, но и фотографировался у своих предполагаемых могил. Семью отправил в Баку, а сам со своим отрядом на зиму пробрался через горы в грузинскую Сванетию, где вступил в союз с местными горцами. Его видели с отрядом в Беной, в Ведено, в Сельментаузене. Кто-то клялся, что встречал его в Кабарде, где ему перевязывали рану на ноге.

Жители чеченских аулов ломали голову над тем, как Шамилю так удастся водить россиян за нос. Российские войска всегда опаздывали. Шамиль с отрядом были уже далеко, когда в деревню, где они провели ночь, входили российские солдаты и мстили жителям за оказанный повстанцам приют.

Убежищем для Шамиля партизаны выбрали окрестности его родного Ведено, место безлюдное и дикое, до войны — царство волков и медведей. Партизаны скрывались в горах, высоких и недоступных для танков, среди густых лесов, прятавших их российских преследователей на самолетах и вертолетах. Каждый, кто хотел с ними воевать, должен был идти на их условия — пеший бой с автоматом, лицом к лицу.

Басаев не только продолжал командовать, под его руководством находилась теперь треть всех скрывающихся в лесах партизан. Он взял к себе людей Хаттаба, хитростью отравленного россиянами. Принимал участие во всех важнейших совещаниях партизанских командиров, собиравшихся в горах, но Масхадову, как и раньше, иногда подчинялся, а иногда нет — как ему было в тот момент выгоднее.

После контузии на минном поле под Грозным Шамиль не встречался с журналистами и не давал интервью, но его выступления, появляющиеся на сайте повстанцев в Интернете, свидетельствовали о том, что он остался прежним Шамилем, известным своей невоздержанностью в высказываниях и язвительным юмором. Это, вкупе с острым умом, эрудицией и присущей ему харизмой, делало его любимым собеседником всех журналистов.

Когда-то он обожал шокировать всех байками о карманных атомных бомбах, которые собирался разбрасывать по московским паркам, денежных вознаграждениях за голову Ельцина или планами освобождения всего Поволжья и создания на этих землях мусульманского халифата в Европе. Теперь, отказавшись от своего прошлого светского имени и приняв новое, мусульманское — Абдалла Шамиль Абу Идрис, обещал два с половиной миллиона долларов каждому, кто убьет нового российского премьера Путина. Признавался во всех терактах и политических убийствах не только в Чечне, но и в России. Рассказывал, что создал специальный отряд камикадзе, готовых посвятить собственную жизнь ради того, чтобы как можно страшнее навредить России, доставить ей нестерпимые страдания. Объявил, что террористы, взявшие в заложники сотни людей в московском театре на Дубровке, действовали по его приказу, хотя их целью была на самом деле российская Дума. Никогда не извинялся, не выражал сожаления по поводу невинных жертв. «Наша цель — принудить Россию к заключению мира. Нас обвиняют, что мы убиваем мирных, невинных людей. Это очередная подлая ложь. Невинные люди гибнут сотнями, но в Чечне. Эти невинные, мирные люди в России виноваты уже в том, что, избирая такую власть, платя налоги, не протестуя, они поддерживают преступную войну, жертвами которой становятся чеченцы, — написал Шамиль в одном из своих обращений. — Тот, кто пассивно наблюдает, как совершается преступление, не делает ничего, чтобы ему помешать, становится соучастником преступления. Эти мирные, невинные россияне являются соучастниками геноцида чеченцев. Поэтому я могу им обещать, а я всегда держу слово, что они на собственной шкуре испытают, что значит война, которую развязало их правительство. В следующий раз мои люди не будут брать заложников. Их единственной целью будет уничтожение врага и причинение России кошмарных страданий. Какая разница, убивает ли

людей бомба, сброшенная с неба, или подложенная в подвал их дома?»

Теперь не только Россия, но и ищущая дружбы с ней Америка, Великобритания и даже вся Организация Объединенных Наций признали Басаева террористом, человеком вне закона, одним из самых опасных и самых разыскиваемых преступников в мире. Ему это, вероятно, должно было льстить. К разочарованию России, американцы, однако, не обвинили Шамиля в связях с международным терроризмом, но дали понять, что внесли чеченца в черный список только затем, чтобы сделать ничего им не стоящий подарок российскому президенту. «Господин Басаев — террорист — это очевидно. Но нам ничего неизвестно о его деятельности за границами Чечни и России. То есть, международным терроризмом он не занимается», — поясняли негласно американские чиновники, конгрессмены и сенаторы.

Белый Дом приказал американским банкам проверить, имеет ли у них Басаев счета, и если да, то заморозить находящиеся на них средства. Американским гражданам запретили любые контакты и дела с Басаевым. А внесение Шамиля Организацией Объединенных Наций в черный список террористов означало, что ни одно государство не имело права продавать ему оружие и даже разрешать пребывание на своей территории. Международная полиция, Интерпол, обязала правительства стран, где он мог появиться, арестовать его и передать России.

Басаев, со свойственным себе высокомерием, пренебрежительно отозвался об угрозах американцев. «Мне от этого не холодно и не жарко, — заявил он в специальном письме на сайте кавказских джигитов. — У меня не было и нет счетов в американских банках. Моим банком, стоит мне только захотеть, является российская казна, а ее — хвала Наивысшему — пока что даже американцы не в состоянии закрыть. Так что я не боюсь, что мне в ближайшее время будут угрожать финансовые трудности. Оружие для войны с россиянами я добываю у них самих за их собственные деньги. Зачем мне покупать его за границей, морочить себе голову контрабандой, таможенными податями, налогами? Перебрасывать оружие через Грузию или Дагестан? Мне это не выгодно. Зачем мне это, если у меня здесь все под рукой, и я могу получить оружие с доставкой в указанное мною место? И зачем мне нужна дружба Америки? У Америки нет ничего общего с нашей войной. Не она была причиной ее начала, не она будет причиной ее конца. Мы вообще ничего не ждем ни от Америки, ни от Запада. Не понимаем только, почему они могут так беспокоиться по поводу судьбы албанцев в Косове или иракцев под властью Саддама Хусейна, а по поводу геноцида в Чечне проявляют такую сдержанность. Мы когда-то просили только о том, чтобы Запад не давал России денег на войну, которую она ведет против нас на Кавказе. Только и всего. А теперь не ждем даже этого».

— Я видел Басаева неделю назад, — сказал Сулейман тихо и так просто, как будто рассказывал о давно не виденном общем знакомом. — Шамиль все берет на себя, ему все равно нечего терять. Для россиян он — дьявол во плоти, ему уже ничего не поможет.

Многие чеченцы считали, что Басаев брал на себя всю ответственность за теракты, чтобы уберечь от тяжелейших обвинений Масхадова. Но даже если он делал это из лучших побуждений, говорили они, то своим бахвальством и признаниями в терроризме нанес повстанцам непоправимый вред, так что лучше бы он вообще не отзывался.

— Я в этом не разбираюсь. Могу сказать только, что Шамиль, хоть ослабленный телом, не утратил силы духа. Уверяет нас, что и с ним, и с нами все будет в порядке, — продолжал свой рассказ Сулейман. — Чувствует он себя неплохо, если можно так сказать о человеке, которому отрезали полноги. Поначалу ходил на костылях, а потом куда-то съездил и вернулся с деревянным протезом. Заказал себе еще два запасных, а среди партизан получил кличку Деревянная Нога. А посмотришь, как он ходит, никогда не подумаешь, что вместо одной ноги протез.

Теперь стал терять терпение Иса. Слишком много народу у одного костра может привлечь ненужное внимание, показаться подозрительным. Переговорил о чем-то с Сулейманом по-чеченски, потом по кавказскому обычаю обнял и поцеловал его в щеку на прощание.

Обратный путь мы проделали молча, сердились друг на друга. Я на Ису за то, что он прервал встречу с Сулейманом, Иса на меня за то, что я попытался что-то сделать самостоятельно, без его разрешения и помощи.

Когда мы подъехали к деревне, сказал, что постарается, чтобы я мог снова увидеться с Сулейманом и спокойно поговорить. Но только в деревне, вдали от людских глаз и ушей, чтобы никого не подвергать опасности.

— У себя можешь делать, что хочешь, но здесь все по-другому. Тут, если хочешь чего-то достичь, ты должен поступать по-нашему. Понимаешь? — бросил рассерженно, как учитель, который вдруг понял, что его ученик так ничему не научился, ничего не умеет.

Мы стояли перед облупившимся четырехэтажным домом, который на время войны стал его башней из камня. Башней из камня был он и для меня с тех пор, как я ворвался в жизнь Исы, стремясь увидеть, как же там все на самом деле есть, по другую сторону границы.

Похожие один на другой дни я проводил в квартире Исы. Поначалу просто отдавался течению времени, пассивно и бездейственно. Потом, когда время строптиво замерло на месте, я разработал для себя подробное расписание занятий.

Стало ясно, что все обитатели дома функционируют по одному и тому же принципу. Иса был вечно занят, вечно в бегах, выходил из дому в четверть десятого, возвращался к обеду, а потом, ближе к вечеру шел вместе со мной на прогулку к реке. Лейла с невесткой с утра до вечера возились на кухне.

Аслан, серьезный, педантичный, учил в своей комнате английский и физику по старым русским учебникам. А вечерами занимался гимнастикой и поднимал тяжести. Ко мне заглядывал почти всегда в одно и то же время. За полчаса до обеда и за полчаса до ужина.

Навязанный режим регулировал время и придавал ему смысл.

Утром, после завтрака, я заставлял себя два часа читать. Романы с полки в моей комнате не годились на то, чтобы целиком занять мои мысли. Этой цели лучше служила толстенная книга по истории чеченцев, которую Иса выпросил у кого-то из знакомых. Почти пятьсот страниц, разделенных на двадцать три главы. Я читал ежедневно по одной главе, а потом до обеда делал подробные заметки.

Распорядок дня после обеда зависел от электричества. Обычно его не было, и квартира тонула во мраке. Тогда я запирался в своей комнате и при свечах приводил в порядок старые записи. Потерявшие актуальность выбрасывал, другие переписывал заново, придавая им новый смысл. Вечерами Иса вел меня на прогулку к реке.

Я сам удивился, как быстро мне удалось привыкнуть к жизни без электричества и водопровода. Воду приносили из колодца женщины — ни один чеченец бы не допустил, чтоб кто-то увидел его несущим тяжелые ведра. Без света я тоже научился жить. Только входя в комнату, все еще машинально тянулся к выключателю, чтобы магическим щелчком разогнать темноту. Такие чудеса в Чечне уже не случались, казалось, ее жители давно смирились с этим.

Если все-таки появлялось электричество, а Иса не ждал никаких посетителей, после обеда я шел в гостиную, где вместе с хозяевами смотрел телевизор.

В тяжелые дни Иса оставался дома. Он объяснял, что чеченцы делят дни на тяжелые, когда все валится из рук, все идет наперекосяк, ничего не получается, и легкие, когда наоборот все удается. По словам Исы тяжелыми днями были воскресенье, понедельник и, прежде всего, суббота. В такие дни лучше не браться за что-то серьезное, убеждал он. Зато в среду, а особенно в четверг работал, как заведенный. В эти дни все должно было получаться. Даже имам Шамиль — говорил Иса — так планировал свои походы, чтобы выступить именно в четверг.

В тяжелые дни Иса сидел за столом напротив телевизора. Это было его место. Когда он был дома, никто не осмеливался его занять. Впрочем, у каждого из домашних было свое место и своя роль. Меня Иса сажал за стол рядом с собой, боком к телевизору. Третий стул, на котором приходилось сидеть спиной к экрану, всегда оставался пустым. Ждал случайного гостя.

Остальные члены семьи рассаживались на диване под стенкой. Женщины, Лейла и молчаливая Этимат, жена Аслана, смотрели телевизор, стоя в дверях комнаты. Они приводили комнату и кухню в порядок после обеда, начинали готовить ужин, исполняли бесконечные требования и капризы Исы.

Иса, никого не спрашивая, решал, какие программы или фильмы мы будем смотреть. Он и только он имел право вести разговор за столом. Другие могли только слушать и ждать, когда Иса позволит им принять в нем участие. Надолго или всего на минутку, в зависимости от потребностей и заинтересованности хозяина.

Я перенимал их обычаи и порядки. За столом молчал, пока не отзовется Иса, а разговаривая с ним, старался не обращать внимания на Аслана, Ислама или Этимат, которые, если не было ничего интересного по телевизору, раскладывали нарды, популярную на Кавказе игру с шашками и костями.

Впрочем, я заметил, что они стали относиться ко мне, как к своему, хоть и не до конца. Конечно, они привыкли к моему присутствию в их квартире, в их башне из камня, я был для них своего рода развлечением. Но скорее я был нужен им как пришелец издалека, благодаря которому можно хоть на минуту забыть о нависшей угрозе и страхе перед завтрашним днем. Мои дела, заботы, прозаические хлопоты, которые я создавал своим присутствием, позволяли Мадаевым забыть или хотя бы отвлечься от собственной гнетущей повседневности.

Так или иначе, когда я входил на кухню, женщины прерывали свой разговор, чтобы выслушать меня, а в гостиной Аслан и Ислам вскакивали со своих мест так же, как когда входил их отец. Я и сам машинально вставал, как только появлялся Иса. Иса трактовал меня как своего подопечного, старшего сына, Аслан и Ислам — как старшего брата, которому надлежит оказывать такое же уважение, как отцу. Ислам украдкой покурился, но не осмеливался взять сигарету в руки на глазах отца и даже Аслана. Поначалу при мне курил, не стеснясь. Потом я его больше не видел с сигаретой.

В отношениях с отцом сыновья были обязаны вести себя достойно. И они беспрекословно подчинялись этому правилу. Я никогда не видел, чтобы кто-то из них пошутил, или хотя бы улыбнулся. Никогда ни одного теплого жеста, сердечности. Никогда не видел, чтобы Иса обнял кого-то из сыновей, поцеловал.

— Чеченцу нельзя любить, — сказал он мне как-то. Как бы шутя.

Впечатлительным, эмоциональным чеченцам суровый горский обычай запрещает открывать душу. Тут не принято говорить о любви, разве что речь идет о любви к Родине, Богу и матери, или о граничащем с любовью братстве по оружию и мученичеству.

Признаваться в любви можно, в крайнем случае, самому себе. Но традиция наказывает внешне проявлять презрение к чувствам, не выдавать своей слабости, сохранять каменное, невозмутимое лицо стойкого воина.

Обязанность соблюдать все каноны так понимаемого рыцарства отнимает у чеченских детей привилегию отцовских объятий и нежности. Иса прямо-таки гордился тем, что никогда не играл с сыновьями, ни одного из них не разу не держал на коленях.

— Именно поэтому они и выросли стойкими и крепкими юношами, а не слезливыми бабами, — убеждал он меня. Отец должен воспитывать из сыновей воинов. Так меня воспитывал мой отец, я так воспитывал Аслана, он так же воспитает своего сына. А я, дедушка, смогу с внуком играть и обнимать его хоть до потери сознания. Но с сыном? Никогда. Нельзя мне этого делать.

На Кавказе сыновья принадлежат отцам. Если распадается семья, отец имеет право забрать детей. Другое дело, что в последнее время горцы почти не пользуются этой привилегией и брошенным женам оставляют даже сыновей.

Иса много раз повторял, что святым долгом отца является воспитать в сыне характер рыцаря, воплощением которого в их глазах должен быть отец. Так что отец просто обязан быть образцом, учителем. И действительно, отношения между чеченскими отцами и сыновьями больше напоминали мне отношения между учителем и отданными ему на

воспитание и науку учениками.

Мне казалось, что в этой вечной демонстрации чеченскими отцами своей власти, в их борьбе за уважение сыновей и стремлении избежать всего, что могло бы запятнать безупречный идеал для подражания, крылся страх отчуждения и глубокая тоска. Я подозревал, что Иса так ведет себя с сыновьями, потому что чувствует себя виновным, страдает, отрекшись от проявлений любви, от образовавшейся в сердце пустоты. И, наверное, сознает, что, воспитывая сыновей по своему образу и подобию, обрекает их на те же страдания, которые сам когда-то пережил. А может, мне так только казалось — мне, гостю, пришельцу.

— Если мы не исполним своего долга, не сделаем того, чего от нас ожидают, — говорил Иса, — мы не имеем права считать себя отцами своих сыновей и сыновьями своих отцов.

А однажды, у реки, признался, что самым страшным кошмаром, который преследует его ночами, является сон, как российские солдаты бьют и унижают его на глазах сыновей, и убивают только тогда, когда нет сил даже молить о смерти.

По телевизору мы чаще всего смотрели новости. Электричество редко включали надолго, на два-три часа, так чтобы хватило времени посмотреть какой-нибудь фильм.

Не знаю, что больше бесило Ису — сообщения из Чечни или их отсутствие.

Он вглядывался в экран, как в фотографию из семейного альбома, пытаясь рассмотреть мелькающие в репортажах лица. Тут все всех знали. Иногда он вдруг выкрикивал с какой-то детской радостью и гордостью: «Ты только посмотри! Это же дом Хусейна в Старых Атагах. А вот и он, собственной персоной!»

Это разглядывание жизни в зеркале телевизионного экрана бывало для моих хозяев болезненным испытанием. Лейла хваталась за сердце, как только показывали руины Грозного.

— У нас была такая прекрасная квартира!.. Ах, как нам было там хорошо! — вздыхала она. — Все у нас было: красивая мебель, кафель на стенах, паркет на полу. Жили себе спокойно. Правда, мы мало что знали о далеком мире. Но когда не знаешь, что ты хуже других, не переживаешь, не завидуешь... Пока не пришла... эта свобода. Эх, если бы человек знал заранее... Надо было сидеть тихо и радоваться тому, что есть.

Иса слушал новости с каменным лицом: «...вчера, во время спецоперации в деревне такой-то и такой-то наши войска ликвидировали банду особо опасных боевиков и террористов.»

— Видишь! — кричал Иса, ударяя кулаком по столу. — Нас уже даже не убивают! Нас ликвидируют! Как каких-нибудь насекомых или крыс! Если считают нас паразитами, почему тогда мы представляем для них такую опасность? Да возможно ли, чтобы миллион чеченцев был угрозой для ста пятидесяти миллионов россиян?

Новые кадры, фотографии, вырванные из контекста. Какая-то школа, дети в формах, смотрят в камеру огромными черными глазами. Трактор в поле, солдаты на дороге проверяют документы проезжающих.

— Как, они сказали, называется эта деревня? — спрашивает вдруг Иса. — У нас вообще нет такой деревни. Я могу тебе перечислить названия всех четырехсот городов, станиц и аулов. Такой, о которой они говорили, вообще нет. Клянусь, чем хочешь. Такой деревни у нас просто нет.

Его возмущало вранье, услышанное по телевизору, но больше всего потрясло это российское наплевательское отношение к деталям. Ведь если московское телевидение не придавало значения географии и без церемоний называло чеченцев бандитами и террористами, так может, и всю Россию, и весь мир, не трогают, не волнуют чеченские страдания?! А это обрекало бы на безмолвное отчаяние и смерть без права апелляции.

Но еще больше лживых репортажей его тревожило отсутствие сообщений из Чечни. Он внимательно слушал новости из России, с меньшим интересом — новости из-за рубежа.

А потом уже только ждал: вдруг культурные, спортивные новости или прогноз погоды

будут прерваны каким-то срочным, тревожным сообщением с Кавказа. Выпуск новостей без известий из Чечни угнетал его и пугал. Он надолго погружался в молчание.

Гнетущую тишину неизменно прерывала Лейла, мать-надежда.

— А что там у вас о нас говорят? Знают люди о нас? — лицо ее освещалось доброй улыбкой. — А то эти такое о нас рассказывают, что человека дрожь пробирает от страха. Диких зверей из нас делают, людоедов. А разве мы такие?

Ислам ждал спортивных новостей, результатов футбольных матчей, голов, парада голкиперов. В школе он играл в футбол и мечтал стать профессиональным футболистом в настоящем клубе. С мечтами уже распрощался, но продолжал лелеять в себе любовь к огромным стадионам, захватывающим матчам, великим футболистам.

Но, запертый в своей деревне, постепенно терял контакт и с этим миром. Давно уже не видел никаких спортивных соревнований. Ни своими глазами, ни по телевизору. Те каналы, которые транслировали разные спортивные игры, в Чечне не принимались. Так же как сюда не доходили газеты. А постоянные перерывы в подаче электричества не позволяли Исламу следить даже за важнейшими спортивными событиями в мире. Он обожал футболистов, которые уже закончили карьеру, переживал по поводу их давно залеченных травм, не знал новых мастеров.

— Боже мой, когда-то я думала, что все эти войны, катастрофы, несчастья случаются где-то там, далеко. В какой-нибудь Африке или Индии. Смотрели мы на это по телевизору и возмущались, что творятся такие безобразия. Мы верили, что другие страны не бросят этих людей, помогут им. И помогали, присылали какие-то самолеты с дарами, войска, — вздыхала Лейла. — Когда у нас все началось, мы тоже сидели в подвалах, свято веря, что надо немножко подождать, и мир опять возмутится, поможет нам. Что никто не позволит убивать людей как скотину. Думали: вот, постреляют немного, попугают друг друга, потом договорятся и опять будет спокойно, как раньше. Только мы сидели и ждали, сидели и ждали, а все тянулось и тянулось бесконечно. Радио слушали, а там никто о нас даже не говорил, никто не спешил останавливать нашу войну, помочь нам.

— А знаете, что вчера сообщили? Я сама слышала. И Аслан тоже, — Этимат отзывалась только тогда, когда Исы не было дома. Ей было семнадцать или восемнадцать лет, намного меньше чем Аслану. Она весь день помогала свекрови по дому и, только убрав после ужина, прощалась и шла в квартиру напротив, где они жили с мужем. И я никогда не слышала, чтобы Аслан заговорил с ней в доме родителей. Этимат храбрела, когда ни свекра, ни мужа не было дома. Тогда хихикала и играла в нарды с Исламом. — Сказали, что специальные чиновники пересчитали всех чеченцев, и получилось, что хоть идет война, и столько наших погибло, нас стало больше, чем перед войной. Как же так?

Регулируемые перерывами в подаче электричества, телевизионные известия были для чеченцев единственным источником новостей и информации, единственным окном в мир. Из Чири-Юрта уже Грозный казался столицей мира, а Москва — туманным, сказочным краем света.

В окно своей комнаты мне разрешалось смотреть только издали, нельзя было, чтоб меня заметили с улицы. Я видел коричневые стволы деревьев, кажется, кленов, кусочек бетонной стены с воротами, где Иса оставлял на ночь свою черную «Волгу».

Асфальт на улице был старый, потрескавшийся. После дождя, который почти каждую ночь громко барабанил по жестяным подоконникам, в асфальтовых выбоинах собирались огромные лужи грязной, теплой воды, в которой плескались воробьи и голуби. Соседские ребята играли на разбитом тротуаре прямо под моим окном. Я слышал их голоса, но не мог увидеть. Только изредка замечал чей-то силуэт, мелькнувший на другой стороне улицы.

Зато мне была видна стоящая напротив будка, в которой один из родственников Исы — а как же иначе? — устроил единственный в деревне магазин, где продавали водку и пиво. Сам Иса от спиртного не отказывался, но магазин велел поставить под домом не ради удобства, а для верности. Он хотел сам все контролировать, хотел сам встречать и провожать российских солдат, выбравшихся в деревню за покупками. Ночью Иса иногда выходил на

мой балкон и звал хозяина ларька. Спускал с балкона веревку, к которой тот привязывал двухлитровую пластиковую бутылку. Иса заставлял меня пить вместе с ним молодое, кислое пиво, считал, что оно прекрасно действует на сон. В другой раз приносил сигареты, набитые местной марихуаной — тоже чтоб лучше спалось.

Я научился узнавать его быстрые шаги по лестнице. Аслан шел тяжело, медленно, шаркая ногами. Ислам вбегал домой, перескакивая через ступеньки. Я научился узнавать звук мотора нашей «Волги», различать по тому, как он захлопывал дверь, привез он хорошие новости, или, как обычно, новостей нет никаких.

Деревня Чири-Юрт была, пожалуй, единственным местом, в котором я жил, но которого не видел. Подсматривал за ней издалека, из окна, или ночью, когда она становилась невидимой, а я уже мог отправиться на прогулку к Аргуну и, задрвав голову, смотреть на звезды.

Пребывание в квартире Исы создавало иллюзию безопасности и защищенности, силы, какую должны были давать человеку кавказские башни из камня, куда горцы прятались в минуты смертельной опасности. Но стоило только выйти за ворота дома или хотя бы подумать об этом, как ощущение уверенности таяло как сон. Его сменял страх перед подстерегающей опасностью и осознание того, что даже из стен этой крепости тебя могут выкрасть, что на самом деле они тебя ни от чего не защищают, что крепость была, в сущности, тюрьмой.

В тот день Иса до вечера не выходил из дому. Никто не приходил и к нему. С самого утра отключили электричество, и он не мог даже смотреть телевизор. До самого обеда метался по квартире, курил, покрикивал на жену: «Женщина! Не видишь, пепельницы нет? Мне что, тушить сигареты об ковер? Я что, сам обо всем должен думать?»

Ругал жену по-русски, как будто хотел, чтобы я понял, что он говорит. У меня создавалось впечатление, что с каждым днем ожидания его все больше беспокоит молчание Масхадова. Может, он боялся, что я усомнюсь в его власти и влиянии?

Отупляющее бездействие все больше мешало мне высекать в себе хоть искру любопытства и желания беседовать с очередными гостями, которых приводил Иса. Когда накануне к нам пришел военный прокурор повстанческого правительства, я сделал вид, что сплю. Чем его рассказ мог отличаться от историй, которые я слышал уже от прокурора, занимавшегося борьбой с работоторговцами, Министра промышленности или заместителя Министра сельского хозяйства?!

За весь день Иса не зашел ко мне ни разу, хоть я прекрасно знал, что он много раз подходил к двери моего убежища. Вел себя, как гость в доме покойника, демонстрирующий уважение к семье умершего.

Вечером не выдержал. Как обычно сначала прошел на балкон, потом уселся на диван.

— Не победят они нас никогда, — заявил он вдруг. — Если надо, будем с ними биться хоть сто лет. Не все, конечно, но всегда найдутся такие, кто возьмет на себя тяготы войны и не даст им покоя. А когда они погибнут, на их место придут другие.

Моему хозяину уже стукнуло пятьдесят, но на голове ни одного седого волоска. Он гордился своим здоровьем и силой.

Тем не менее, на этот раз он не пошел на войну, хоть на той, что была всего четыре года назад, воевал вместе со старшим сыном от первого до последнего дня. «Эх, здоровье не то! — вздыхал Иса. — Сбросить бы пару лет...»

— Они думают, что раз не все ушли в леса, значит, мы покорились. Не все должны сражаться и гибнуть. Должны остаться те, кто воспитает следующее поколение. Они думают, если мы приходим к ним за мукой и цементом, если берем их деньги, подачки, которые они называют пенсией, значит, мы сдались и согласны стать их невольниками. Пусть дают, мы все возьмем! За то, что они с нами сделали, они нам должны в тысячу раз больше!

Разговор с Исой быстро перешел в монолог. Иса не говорил, он произносил речь. Впадал в патетический тон народного трибуна. Подозреваю, что, несмотря на свои пятьдесят, он все еще мечтал о чем-то. Мечтал именно о такой роли — харизматического

вождя, предводителя.

Встал с дивана и, проклиная весь свет и Лейлу, от которой нет никакой пользы, долго копался в книжках в шкафу. Наконец достал из-за толстых, пыльных томов несколько пожелтевших страничек. Устав народно-освободительного движения «Рыцарь».

— Вот наша цель и спасение. Нас много, хоть никто пока не знает наших имен, но поверь мне, многие имена тебя бы удивили. Мы везде. В лесах, в деревнях, в Москве. И даже среди тех, кого сегодня наши люди называют коллаборационистами и предателями, ты мог бы найти немало наших товарищей. Россияне организуют новую власть, думая, что она будет им послушной. У нас и там есть свои люди. Они создают вооруженные отряды ополчения, которые, якобы, будут бороться с нашими партизанами. А мы посылаем туда своих людей, чтобы им не приходилось скрываться, чтобы не попали за решетку. И россияне выдают им автоматы! Мы победим их не силой, а хитростью! Воспитаем наших внуков рыцарями, умными, благородными, защищенными от заразы корыстолюбия, воровства и страха. За ними будущее! Бросил мне на софу пожелтевший устав.

— Посмотри на досуге, — сказал, тяжело поднимаясь с дивана. Я некоторое время раздумывал, что мне послышалась в его голосе — ирония или неуверенность ученика, сдающего учителю контрольную работу. — Это, наверное, важнее и интереснее, чем ерунда, которую накропал твой француз, Дюма.

На сон грядущий я прочел первую страницу. В преамбуле было записано, что звание Рыцаря будет присваиваться членам тайного общества только посмертно в признание за заслуги всей жизни. Как благодать избавления.

Магнитофонная кассета, которую привез Халид, чеченец с бельмом на глазу, привела Ису в состояние эйфории. От самой двери стал громко звать Ислама.

— Куда он опять подевался? Никогда его нет, когда нужно, — покрикивал Иса, шагая по коридору в мою комнату. — Этимат! Беги за ним, чтоб мигом тут был!

На этот раз он вошел без стука, уверенный, что обрадует меня своим видом и новостями. Еще в дверях триумфально достал из кармана черного кожаного пальто кассету, как будто видел в ней подтверждение своей важности и влияния.

— Есть! Вчера прислали. Если бы этот дурень, Халид, послал кого-нибудь ко мне, мы бы ее еще вчера получили. Да ладно! Главное, она здесь!

Не снимая пальто, тяжело опустился в провалившееся кресло и достал сигарету.

— Сейчас Ислам принесет магнитофон, — бросил, пуская носом дым. Некоторое время кассета перематывалась с тихим шорохом. Потом отозвался голос. Спокойный, хриплый, с характерным покашливанием.

— Это он, на сто процентов он, — шептал Иса, низко склонившись над магнитофоном.

Мне принесли ваши вопросы, на которые я постараюсь ответить. Очень жаль, но в нынешних условиях наша встреча не представляется возможной. Я не имею права рисковать вами и собой. Не собой человеком, а чеченским президентом. Если вы все-таки хотите лично встретиться со мной, прошу вас вооружиться терпением и ждать сообщения. Как только ситуация изменится, я передам вам информацию, так же как эту кассету. Через курьера и доверенных лиц, с которыми вы уже имели возможность познакомиться.

Разочарование и сомнение, вероятно, легко читались на моем лице, потому что Иса приподнял голову и вздохнул.

— Не переживай, он всегда так. Ужасно медлительный. Пошлем ему с Халидом письмо, что ты настаиваешь на встрече и берешь все на себя, да? Он согласится. Должен согласиться, если он мужчина. А если нет, разузнаю, где он скрывается, и сам тебя отвезу, с шиком, на «Волге».

Мы готовы в любую минуту без всяких условий прекратить войну и приступить к мирным переговорам. Проблема в том, что этого не хочет Россия. Россия играет с нами в кошки-мышки. В зависимости от своих потребностей то заявляет, что поддерживает с нами контакт, что переговорный процесс продолжается. То объявляет, что мы все — бандиты и террористы и с нами не о чем говорить. А как я могу сказать своим землякам, что не буду

разговаривать с россиянами, а буду продолжать драться? Чеченцы уже устали от вечных войн, держатся из последних сил. Кроме того, если бы я сегодня заявил, что не хочу вести переговоры, это могли бы истолковать так, что я сам развязал войну и извлекаю из нее какую-то выгоду. Да, мы готовы к мирным переговорам, потому что нам эта война не нужна была ни раньше, ни сейчас. Но я не собираюсь ни о чем просить Россию, умолять о милости. Нам не нужна милость. Это Россия, требуя, чтобы мы просили об амнистии и прощении, хочет нас всех приравнять к банальным преступникам. А я верю, что придет еще такое время, когда о прощении и амнистии будут просить, причем стоя на коленях, те кремлевские руководители и генералы, которые развязали эту войну и которые сами являются военными преступниками. Мы не сделали ничего плохого, чтобы просить прощения.

Голос у Масхадова был усталый, но он старался быть дельным. На вопросы отвечал в той очередности, как я их записал. Говорил: отвечаю на первый вопрос, теперь — на второй.

Что будет, если Россия не захочет вести переговоры? Ну, что ж, будет война. Но после каждой войны, даже столетней, наступает время мира. Все разумные люди видят, что эта военная авантюра в Чечне может закончиться для России только плохо. Я говорю это не только как политик, но, прежде всего, как солдат. Никто еще не выиграл войны с партизанами, ни одна держава, ни один режим, ни одна армия. Ни во Вьетнаме, ни в Алжире, ни в Афганистане. Не будет победы над партизанами и в Чечне. Трагедия заключается в том, что сам российский президент, Путин, не хочет в этом признаться. Боится, предпочитает отодвигать в сторону проблемы, откладывать все на завтра. Но если россияне не согласятся на мирные переговоры, мы готовы сражаться с ними до конца.

Заслушавшись голосом Масхадова, Иса, казалось, уже не помнил об отказе встретиться. Улыбался, не отрываясь от магнитофона, с таким видом, как будто хотел сказать: ну, ну, все-таки тебе удалось, ты все-таки настоял на своем. Неужели он ничего не понял? Может, хотел поднять мне настроение, а может, просто радовался при мысли, что избавится, наконец, от необходимости держать у себя доставляющего столько хлопот гостя.

Мойрабочий день... Что ж, скрываюсь от врагов так же, как они скрываются от меня. Думаю, они меня боятся больше. Никогда не провожу в одном месте больше двух дней. Уже восьмой год не ношу другой одежды, кроме полевого мундира. Все время перехожу в другие окопы, все время меняю тайники. Иногда ночую в тайнике буквально в двухстах — трехстах метрах от российских постов и даже штабов. Иногда приходится прятаться от бомб и пушечных снарядов. Располагаю на территории Чечни несколькими канцеляриями, откуда руковожу деятельностью моего правительства. Поддерживаю постоянный контакт с моими представителями за рубежом. Ежедневно говорю с ними по телефону, согласуем действия, планируем, советуемся.

Масхадов не пользовался у Исы ни избыточным уважением, ни симпатией.

— Аслан тут как неприкаянный, — повторял Иса без нотки сочувствия, скорее с упреком. — Он здесь не пришелся ко двору. Он солдат, а не джигит. Жизнь прожил с уставом в кармане и рукой, привыкшей отдавать честь.

Мы не террористы. Нам незачем прибегать к терроризму для борьбы с Россией. Это Россия старается убедить весь мир, что наша борьба за право на жизнь и терроризм — одно и то же. Наша война началась давно, раньше, чем мир услышал об Усаме Бен Ладене. Я не согласен с методами, которыми пользуется Шамиль Басаев. Здесь нет между нами согласия, но и он никакой ни соратник Бен Ладена. Басаев — воин, мститель, считающий принцип око за око наиболее действенным в нынешней ситуации. Но это не тот путь. Если бы удалось принудить Басаева к подчинению и использовать всю его энергию в борьбе другими, моими методами, мы бы достигли значительно большего. Я против убийства невинных мирных жителей. Как человек военный я не смог бы послать солдата исполнять миссию смертника. Это противоречит моему характеру. Но даже камикадзе, которые ищут смерти и жаждут нести смерть, должны соблюдать дисциплину, подчиняться приказам, атаковать только те цели, которые им укажут командиры. Исключительно военные цели.

По мнению Исы проблема Масхадова заключалась в том, что он все меньше приносил

пользы. Продолжал оставаться невольником всего, что когда-то определило его жизнь, ему не хватало отваги, силы, а может и воображения, чтобы сбросить это бремя. Он не смог освободиться от собственной тени, а без этого не мог сделать какой-то новый решительный шаг.

Он уже доказал всем свою стойкость характера, мужество и героизм. Только людям от этого отнюдь не легче. Наоборот, с каждым днем войны и оккупации росло число разочарованных, растерянных людей, которые, оставаясь верными избранному ими самими президенту, ожидали от него чего-то другого, кроме героизма. Повседневные тяготы, страдания, физическая угроза уничтожения и желание выжить любой ценой привели к тому, что героизм перестал считаться высшей ценностью.

Пока еще не было открытого недовольства. Иначе люди давно отвернулись бы от Масхадова и его партизан. Но уже появилось, зрело сомнение, действительно ли лесные и городские партизанские вылазки, подполье и конспирация являются самым эффективным способом выживания.

Злой дух Басаева, как проклятие, постоянно преследовал Масхадова. Что бы он не делал, Шамиль все равно оставался воплощением героического, неистового джигита, который не знает, что значит не воевать, для которого война — родная стихия.

Настаивая на приоритете героизма, Масхадов отталкивал от себя и своего дела тех, кто в Шамиле, его себялюбии и безответственности видел причины всех несчастий. Но, отказавшись от него, Масхадов перечеркнул бы все, чего достиг, и навлек на себя самое страшное обвинение — обвинение в предательстве.

Опять этот вопрос! Управляю ли, командую ли, слушается ли меня кто-нибудь? Почему вы, журналисты, постоянно спрашиваете, владею ли я ситуацией? Мне тяжело отвечать на такие вопросы. Тяжело это слушать. Молю Аллаха дать мне силы и терпение дотянуть до конца этого разговора. Так было и во время первой войны, то же самое теперь. Как же тогда получилось, что ничего не контролируя, этот Масхадов два года оказывал сопротивление мощнейшей российской армии во время первой войны, и продолжает бороться на второй?!

Мы договорились с Исой, что на следующий день он поедет на рассвете к Халиду в Старые Атаги и сообщит ему о моем решении остаться и ждать встречи.

Накануне вечером, приводя в порядок свои записи, я переписал в блокнот из порванной газеты высказывание вечного российского диссидента Сергея Ковалева о Масхадове.

«Масхадов — личность трагическая. Очень рассудительный, толковый, достаточно осторожный, замкнутый в себе человек. Недоверчивость характерна для большинства чеченцев, жизнь их этому научила. А в Масхадове, кроме того, крепко сидит российский полковник, воспитанный в окружении, которому искренность и открытость были чужды. Он прагматик — не ввяжется в авантюру или ссору в защиту своих интересов, прежде чем не оценит все обстоятельства. Но до гражданской войны не допустил. Масхадов — человек даже чересчур ответственный. Чересчур, потому что руководитель не имеет права быть пассивным невольником обстоятельств и ситуаций. А Масхадов в какой-то мере именно так себя и повел. Несчастье и вина Масхадова, если вообще можно говорить о какой-то вине, заключается именно в том, что он никогда не решился пойти на риск. Говорят, что он был слабым президентом, что его власть была фикцией. Действительно, особой эффективностью его президентство не отличалось. Но сегодня, когда идет война, он для чеченцев важнее, чем в мирное время. И, похоже, только наши глупцы в Кремле не понимают, что никто кроме него не годится, чтобы сесть за стол переговоров. Что ж, наши власти, как всегда, опять выбирают худшее из возможных решений».

Мне Масхадов всегда казался человеком благородным и печальным.

Поначалу я принимал это за серьезность, которую неизменно приобретает лицо человека, вознесенного на вершину власти. Озарение пришло позже. Это была не серьезность, не задумчивость. Это была спокойная грусть, свойственная человеку, примирившемуся с отсутствием счастья, черпающего утешение в образцово исполняемой

обязанности. Обязанности, которую он возложил на себя так давно, что мотивы, которыми он тогда руководствовался, кажутся сегодня непонятными и чуждыми. Обязанности, ставшей тождественной всей его жизни и позволяющей думать только о последствиях. На таком лице трудно что-то прочесть. Остаются только домыслы, ассоциации. Это лицо человека одинокого, которому чувство долга никогда не позволит ни перед кем признаться в страданиях, колебаниях и сомнениях. Если бы таковые у него были. Ему нельзя жаловаться, он так многого достиг в жизни. Можно ли иметь все? Каждый об этом мечтает и верит, что именно с ним, избранным, исключительным случится то, нереальность чего ему прекрасно известна.

Он хотел стать солдатом. И стал им. Правда, не генералом, как ему мечталось, и чего он был достоин как никто другой. Воспитал сына, доказавшего свое мужество во время войны, а потом подарившего ему прекрасного внука. Только вот вынужден он отказаться от радости общения с сыном и внуком — в страхе за их жизнь отправил семью в далекую Малайзию. Смертельная угроза нависла над его семьей, когда он сам удостоился высшей чести — народ избрал его своим предводителем и вожаком. Ему выпало руководить в годину тяжелейших испытаний, во время войны, спасать свой народ от истребления.

Несомненно, судьба щедро одарила его. Лишила, может, только того дара безумства, которое освобождает от вечных раздумий о последствиях, становится спасительным средством от несчастья, потому что позволяет не думать о чужих страданиях. Безумства, обладая которым человек просыпается утром с радостью и не может дожидаться ночи, чтобы снова и снова пережить эту почти чувственную радость пробуждения к жизни.

Да, такого безумства в нем нет. Так что он не мог жить иначе, даже если бы хотел этого больше всего на свете. Чтобы избрать другую дорогу, ему пришлось бы пойти наперекор себе. Мог ли он быть счастливым, испытывая чувство вины за неисполненный долг? Можно ли в этой ситуации говорить, что он сознательно лишил себя чего-то? Зная, что существует другое счастье, но зная и то, что такое счастье не для него.

Он печален, потому что понимает — выбранный им путь ведет в никуда. Отказываясь от собственного счастья, он напрасно жертвует своей жизнью — этой жертвы не ценят те, ради которых он это делает. Неправда, что последней умирает надежда. Последними, сразу после надежды, умирают мечты. И тогда остаются только размышления о том, почему жизнь сложилась так, а не иначе, остается только утешительное чувство исполненного долга, иногда отчаяние, а иногда грустная тоска по чему-то неизведанному.

Таким одиноким он, кажется, не был еще никогда. Снова загнанный в землянки и окопы в горах, вынужденный постоянно скитаться с места на место во избежание засад и предательства. Снова окруженный бородатыми командирами, его подчиненными с прошлой войны. Они вновь согласились пойти под его командование, исполнять его приказы. Но мог ли он верить им, предавшим его в мирное время, которое оказалось временем самых трудных испытаний? Предательство можно простить, но забыть, наверное, нельзя. А память о нем не позволяет жить по-старому.

Его самые верные товарищи, лучшие бойцы, или погибли, или попали в российский плен. С ним рядом нет его близких. Остался в горах один, как перст.

Его разыскивают как банального преступник. Его! Лучшего артиллериста лучшей армии в мире, Советской Армии! Бывший командир Масхадова, генерал Боковиков, призывает его сложить оружие, заверяет, что на этот раз россияне вошли в Чечню, чтобы остаться здесь навсегда. Если так, ему не будет места в собственной стране.

А может, они ведут секретные переговоры с одним из его командиров? С ним, вероятно, уже не станут договариваться, раз признали его непримиримым врагом. Но чтобы кто-то из командиров мог подписать мир от имени всей Чечни, нужно сначала уничтожить его, Масхадова. Как когда-то Дудаева.

И все-таки Масхадов знал, что ему делать. Впрочем, ничего другого ему и не оставалось.

Исполнить долг. То есть погибнуть. Или опять победить. Это уже даже не было его

выбором. Свой выбор он сделал давно. С тех пор был ему только верен и только в нем искал утешения.

Разве это не значит, что он — избранник судьбы, позволившей ему жить в согласии с самыми почитаемыми им ценностями?

В своих блокнотах я нашел переписанный несколько лет назад фрагмент письма Масхадова полковнику Завадскому.

«Я не знаю, кто виноват в этой страшной трагедии, но моей вины здесь нет. Хуже всего беспомощно стоять и смотреть, как убивают тех людей, которые вверили мне свою судьбу. Но мы не сдаемся, и я верю, что еще придет время, когда моя страна будет не пепелищем, а цветущим садом. Передай, пожалуйста, мой сердечный привет жене, детям и всем нашим старым товарищам, с которыми ты поддерживаешь отношения. Не могу, дорогой друг, сообщить тебе свой адрес, потому что постоянно нигде не проживаю. С уважением. Масхадов».

Все вернулось к прежнему ритму — еда, ночные прогулки к реке и ожидание вестей от Халида. А их не было. Как-то он сам приехал проведать Ису и посоветоваться, что делать в связи с арестом Хусейна.

Через цепочку посредников Халид узнал, что за свободу Хусейна россияне требуют отпустить из плена трех российских офицеров. Это взбесило Ису, на которого возложили обязанность произвести обмен.

Во время прошлой войны он командовал своим батальоном и, как утверждал, пленных брал пачками. Рядовых, сержантов и офицеров и даже офицеров спецслужб — за них можно было выкупить практически любого. Но ведь на этот раз Иса не воевал.

— Откуда я им теперь возьму трех офицеров? — выкрикивал он, мечась по заставленной вещами квартире.

Он прекрасно знал, откуда. Ему только не нравилось, что, выпрашивая у кого-то из командиров пленных для выкупа, он залазит к ним в долг. Долг, который рано или поздно ему придется возвращать. А оплата такого кредита может нарушить покой и порядок в его деревне.

Халид рассказал также о небольшом партизанском отряде, который, якобы, спустился с гор и бродит в окрестных лесах. Партизан как будто бы видели недалеко от Хатуни.

Меня, впрочем, мало волновала судьба Хусейна. Для меня у Халида опять не было никаких новостей. А я уже мечтал о любых, даже плохих. Только бы они были.

А вот информация о появившихся в окрестностях партизанах меня встревожила. Осознав это, я забеспокоился еще больше.

После завтрака Лейла принесла в мою комнату серую картонную коробку. Внутри спали четыре маленьких котенка, родившихся незадолго до моего приезда.

— Я на них могу часами смотреть. Лучше всякого телевизора, а от чтения впотьмах только глаза портятся, — застенчиво проговорила Лейла.

Брошенные матерью котята грустно пищали и прижимались друг к другу, беззащитные в окружающем их мире.

Лейла в нерешительности остановилась у окна и спросила, не говорил ли я с Асланом.

Аслан, старший сын, наследник рода. Невысокий, коренастый, мускулистый, как штангист. Очень солидный и спокойный. Поселился в соседней квартире, брошенной знакомыми Исы, которые выехали в Волгоград, напуганные войной.

Во время первой войны Аслан принимал участие во многих боях, проявляя безграничную храбрость. Не мог он поступать по-другому, ведь под его командой были парни из родной деревни, в которой он должен будет когда-то стать с благословения отца вожаком. Лейла как будто даже меньше даже переживала, когда Аслан воевал бок о бок с отцом. Она знала, что Иса уберет сына не только от смерти, но и не позволит опозорить себя, если бы тому вдруг не хватило смелости. Она верила, что Иса поможет ему достойно пройти это посвящение в мужчину и воина.

Когда началась вторая война, она была счастлива, что и муж, и сын остались дома. Что

касается Исы, тут ее сомнения не мучили. Конечно, она боялась ареста и пыток, которые в любую минуту могли грозить мужу за его тайную и рискованную деятельность. Зато она знала, что на войну он не пойдет. А значит, не погибнет.

Что же касается Аслана, такой уверенности у нее не было. В его квартире постоянно собирались давние приятели, которые не ушли в лес. Лейла не знала, о чем они там говорят долгими вечерами.

На Ису рассчитывать не могла. Он бы не стал удерживать Аслана, считая, что долг отца воспитать сына героем. А у Лейлы не было никакого желания становиться матерью героя, мученика. Она хотела иметь сына живым и радоваться внукам.

Боялась она и за младшего, Ислама, который пока что не воевал. Во время прошлой войны отец запретил ему идти в партизаны. В чеченских семьях существовал закон — если старший сын идет на войну, младшие остаются дома, чтобы заботиться о родителях и обеспечить продолжение рода. Эти младшие сыновья вышли из первой войны с огромным комплексом. Старшие братья стали героями, выиграли войну с могучей Россией. Молодые с нетерпением ждали своей очереди. Но когда началась вторая война, Ислам опять остался дома. Послушался Аслана, который всегда был для него идеалом для подражания. У Аслана было все то, о чем мечтал Ислам. Слава героя, заслуженное уважение и образование. Ну, и жена.

Лейла, наверное, больше даже боялась за Ислама, чем за Аслана. Боялась, что младшему сыну не хватит терпения, что перестанет ждать и уйдет в лес, чтобы сровняться со старшим хотя бы в военных заслугах.

Она испугалась, что именно после разговора со мной ее сыновья могут принять решение, которое скажется на жизни всей семьи. Не то, чтобы я мог их в чем-то убедить. Она хоть и относилась ко мне, как к третьему сыну, я все-таки был пришельцем из большого мира, чье мнение, слово или даже жест могли бы повлиять на жизненно важные решения ее сыновей, страдающих комплексом провинциалов.

— Нет, я не разговаривал с Асланом, — ответил я Лейле. Он приняла мой ответ с облегчением.

Я не соврал. Я не разговаривал с Асланом. Я его слушал.

— Не спишь? Не помешаю? — Аслан расхаживал по комнате, переключив книжки в шкафу. Ясно было, какая-то тяжесть лежит у него на сердце.

— Аслан, расскажи мне о прошлой войне.

— Там все было просто. На нашу страну напали, надо было сражаться. Мы верили нашим командирам, искренне и наивно. Нам казалось, что достаточно победить и объявить независимость, и все будет прекрасно. Ведь во главе государства должны были встать эти самые великолепные, благородные, геройские командиры, — в отличие от Исы Аслан говорил тихо и спокойно, видно, не унаследовал его ораторских талантов. — А после войны многие оказались просто мерзавцами. Поэтому, когда началась вторая война, и объявили новый призыв, ни я, ни многие из моих товарищей не пошли. Мы уже не доверяли нашим командирам, не могли отделаться от подозрений, что они могут послать нас на смерть не ради дела, а ради своей личной выгоды.

Но сомнения остались. Аслан успокаивался, когда встречался со своими давними приятелями из партизанского отряда. Успокаивался, когда слышал, что многие выехали за границу. Успокаивался, когда видел на улице Омара, который, хоть и сражался на прошлой войне с россиянами в Дуба-Юрте и был ранен, теперь в горы не пошел, укрылся в деревне.

Но стоило Сулейману, тому, из отряда Басаева, навестить его, как беспокойство накатывало новой волной. Чем он сегодня отличается от тех, кого сам во время первой войны презрительно называл трусами?!

Вдруг за то, что он прожил войну без автомата в руках, с ним перестанут считаться, так же, как он когда-то с теми, кто не воевал? Будет ли достаточным доводом его зрелости объяснение, что, став мужчиной, он утратил юношескую наивность? А может наоборот, доводом разочарования, того, что холодный расчет стал ему ближе порыва эмоций, который

определял его поступки еще несколько лет назад? Если так, то может лучше умереть, не дожив до старости?

— Та война была правильная, а сегодняшняя подозрительно отдает предательством, — говорил он.

Он забыл, что о той, благородной войне, говорили то же самое, что ее участников так же подозревали в разных низостях.

Аслан много раз повторял: то, что он сидит дома, ничего не значит. Он в любой момент может откопать спрятанный в саду автомат и пойти драться. Так, наверное, и будет. Как только в стране появится новый, никому пока не известный лидер. Настоящий герой без страха и упрека.

А пока что он завидовал Сулейману. Может он, Аслан, и был прав, но жизнь Сулеймана казалась ему несравненно более простой. И счастливой.

Сулейман, однако, себя счастливым не считал.

Он навестил нас, когда, отупев от ожидания, я уже забыл, что он существует. Когда он вошел в мою комнату, я едва распознал в нем мужчину, с которым разговаривал тогда у реки. Он показался мне выше, стройнее, более жилистым, взрослее.

Сулейману было тридцать шесть лет, но выглядел он старше. К партизанам ушел, когда летом 1993 года в город Омск, где у него был небольшой магазинчик с электроникой, дошли вести, что в Чечне назревает гражданская война. Продал свое дело и с наличными в кармане приехал в Грозный, потом пошел на службу в гвардию Дудаева.

Сначала дрался с врагами Дудаева, потом с россиянами, напавшими на Чечню, потом с врагами Масхадова, когда тот сменил Дудаева, теперь снова с россиянами. Подсчитал, что с автоматом не расстанется уже десятый год.

Ко мне его привел Аслан, как всегда солидный и серьезный, набожно соблюдающий правила хорошего тона. Рядом они выглядели довольно потешно. Сулейман — высокий, худой как щепка, рыжий, с продолговатым, гладко выбритым лицом. Аслан — невысокий, коренастый, круглолицый, с черной, коротко подстриженной бородкой. Они казались противоположностью друг друга. Необычайное гостеприимство, забота и внимание, с какими Аслан относился к Сулейману, наводили на мысль, что Аслану и самому это приходило в голову, и он всячески старался избежать подобных ассоциаций.

Он смущенно предложил перейти в его квартиру, там больше места и удобнее. На самом же деле, он просто не хотел, чтобы мать узнала, что он привел в дом скрывающегося в деревне партизана, что он вообще с ним встречается.

Но в своей квартире он еще больше смешался. Его смущали удобные кресла и диваны, ковры на полу и коврики на стенах, телевизор в углу комнаты и даже расставленная под окном гимнастическая скамья со штангой и гантелями. Мешали друзья, которые, как и я, пришли послушать рассказы Сулеймана. Раздражала даже вежливость и улыбки Этимат, разливавшей чай. С появлением Сулеймана все, что до сих пор радовало его в доме, стало казаться неуместным и в дурном тоне.

О войне и жизни в партизанском лагере Сулейман рассказывал сухо, без всяких эмоций. Так говорят о мелочах повседневной жизни, о чем-то очевидном, без пафоса, без похвальбы, таинственности, характерных для солдат и партизан во всем мире. И даже без веры в победу.

— Мы воюем не ради победы. Это нереально, — сказал он. — Мы воюем только затем, чтобы не проиграть.

Сулейман растерял свою непоколебимую веру в победу, когда после месячной осады Грозного партизаны решили уйти из города и сдали его россиянам. Он считал, что решение о капитуляции было преждевременным.

— Россияне стояли еще в предместьях Грозного, — вспоминал он. — Можно было немного подождать, попытаться впустить их в город, вынудить на уличные бои, в которых стали бы бесполезными их самолеты, вертолеты и дальнобойные орудия. Может, нам удалось бы, наконец, схватиться с ними в ближнем бою. Нас было в Грозном несколько

тысяч. Самых лучших, опытных, закаленных в боях бойцов. Верить не хочется, что такая армия была разбита в одну ночь.

Никто так и не узнал, что случилось в фатальную ночь тридцать первого января, когда чеченская партизанская армия решила оставить осажденную столицу. По кавказским аулам и станицам кружат слухи, что чеченцы заплатили российским генералам тысячи долларов за выход через кольцо окружения. Якобы россияне взяли сто тысяч долларов, а потом нарушили договоренность, заминировали указанную чеченцам дорогу эвакуации и атаковали марширующие по минным полям партизанские колонны с вертолетов. Правда, на предательстве они не заработали ни цента, потому что чеченцы расплатились фальшивыми долларами, заранее напечатанными в пользующихся широкой известностью нелегальных типографиях в Иране. Неизвестно кто кого предал.

— Из города мы выходили на запад, на Алхан-калу, Ермоловку, Шами-Юрт и Ачхой-мартан. Ночь была звездная, светлая. Когда начали взрываться мины и налетели российские вертолеты, люди запаниковали. Можно было выйти из города с меньшими потерями, если бы командирам удалось подавить панику. А так люди теряли голову, разбегались, стреляли вслепую, — Сулейман ворошил воспоминания о тех днях, Аслан слушал в глубоком молчании. — В ту ночь погибло несколько сотен наших лучших бойцов.

Те, что выжили, рассыпались в разные стороны, беспорядочно разбегались, не могли найти своих командиров и свои отряды, не знали, куда идти и что делать.

— Мы бежали от россиян в горы. Нас все время преследовали и обстреливали самолеты и вертолеты. Мы тащили с собой раненных, потому что тех, кого мы оставляли в деревнях, россияне забирали не в госпитали, а в тюрьмы, из которых потом уже никто не вышел. Мы заходили в деревни, а люди не открывали нам двери, боялись мести россиян. Мы шли по лесам, бездорожью, падая от усталости, холода, ран и голода. Люди умирали на ходу. Просто останавливались, валялись на землю и умирали, — говорил Сулейман, не отрывая глаз от чашки с давно остывшим жиденьким чаем. Он даже не обратил внимания на Ислама, который, узнав о госте, проскользнул в комнату и присел у стены. — Но в горах было еще хуже. Говорили, что нас там ждут заранее подготовленные зимние базы. В основном землянки и пещеры. Но ничего этого не было. Только Хаттаб и Басаев организовали базы. Хаттаб еще до войны вывез в горы бараки из контейнеров, вроде строительных бытовок. Приказал закопать их в глубокие ямы, присыпать землей, замаскировать. В каждом из таких помещений с печками могли на двухэтажных нарах зимовать по двадцать человек. В пещерах устроил схроны продовольствия и оружия. Говорили, что Хаттаб имел в своих кладовых даже бананы, сушеные финики и инжир, у него никто не голодал, никто не мерз. А нас, вместо отдыха и спасения, ждали россияне, которые успели уже высадить там десант. Опять самолеты и бомбы, а тут еще мороз, голод и гнетущие сомнения. В дружественных нам аулах оставили мы по пути десятки тяжело раненных и тех, у кого были обморожены руки и ноги.

Партизанам помогала только погода. Зима оказалась исключительно суровой и мрачной, почти не было солнечных дней, когда вертолеты могли бы осуществлять преследование, а самолеты бомбежки. В серые, затянутые облаками дни, когда небо напоминало предательскую паутину, российские летчики боялись летать в горы.

Ударяя со своим поредевшим отрядом, Сулейман присоединился к отряду Руслана Гелаева, пользовавшегося среди партизан огромным уважением. Со своей длинной, седой бородой он выглядел старцем, хоть ему еще не было и сорока. Был человеком очень набожным, но никогда не входил в круг исламских революционеров. Пользовался меньшей известностью, чем Басаев, зато чеченцы больше его уважали. Никогда не искал ни славы, ни постов. Наоборот, после победы в прошлой войне, Гелаев демонстративно отошел от политики и постыдных, братоубийственных распрей из-за власти и денег, в которых погрязли недавние герои войны.

В конце концов, стоя перед выбором — смерть от пули или голодная смерть — Гелаев решил спуститься со своим войском с гор в родную деревню, Комсомольское, отдохнуть

пару дней, перевязать раненных, а главное, подкормить бойцов.

— Снова нас кто-то выдал, потому что деревня уже была окружена россиянами, — Сулейман рассказывал свою историю, практически без пауз. Не ждал моих вопросов, не приходилось его торопить. Я ему нужен был не как собеседник, а как кто-то, кому он мог вслух рассказать о своей жизни. Как будто его история, облеченная в слова, должна была стать более правдивой, более значительной, записанной, сохраненной, спасенной от забвения.

— Из тех, кто успел войти в деревню, выжили немногие. Нам удалось остаться в живых, потому что, когда началась стрельба, мы были еще в лесу и успели отступить.

После провала в Комсомольском Гелаев провел уцелевших партизан через перевалы в Грузию, там залег в долине Панкиси, населенной грузинскими чеченцами, кистами. Басаев, к которому теперь присоединился Сулейман, засел со своими партизанами в горах, где лечил начавшуюся гангрену ноги. Командиры пониже рангом, да и известные тоже, слишком верившие в свою счастливую звезду, брили бороды и прятались среди крестьян в аулах и станицах. Один за другим они попадали в российские засады или тюрьмы, выданные доносчиками, соблазненным наградой или запуганными. Чеченская партизанская армия была разбита.

— То, что нам удалось выжить — настоящее чудо. И уж совсем не знаю, как назвать то, что нам удалось восстановить отряды, снова собрать тысячи людей, взять под контроль ситуацию, — продолжал Сулейман свой рассказ. — Конечно, у нас недостаточно сил, чтобы оказать сопротивление россиянам, но их достаточно для того, чтобы не бояться и надеяться, что мы продержимся.

Мне казалось, что партизан, человек, решивший продолжать борьбу, должен с неким превосходством, если не с презрением, смотреть на тех, кто воевать не хотел, и, хоть не смирялся с оккупацией, не пытался ей активно противостоять. Сулейман, однако, относился к Аслану и его друзьям как к добрым знакомым, людям других интересов и занятий. Да и они, ну, может, за исключением Аслана, ни в чем не ощущали себя ущербными. Они пришли послушать его рассказ не из потребности пережить пафосное воодушевление, а из простого любопытства, возможно из желания прогнать от себя мысль о том, что они расточительно тратят жизнь на поиски способа, как убить такое бесценное, в общем-то, время.

Мохаммед родился в горах, был потомком одного из четырех благороднейших родов из Ведено. Когда-то только представители этих родов имели право жить в ауле. Остальные — купцы, служба, ремесленники, приезжие, нищие — обязаны были покидать деревню до наступления темноты. Еще дед Мохаммеда имел обыкновение сиживать на камне и разглядывать идущих в аул людей — кто они, откуда родом, чего хотят. Дед часто говорил, что последние настоящие чеченцы погибли во время войны с российскими большевиками почти сто лет назад.

У Мохаммеда было строгое, светлое лицо, черные глаза и орлиный нос, как у кавказских джигитов на гравюрах девятнадцатого века. Не пил водку, не курил, не ругался, даже громко не смеялся, изредка только позволяя себе улыбаться. Не повышал голос, говорил серьезно, сдержанно. Все делал, как положено. Следил, чтобы ни словом, ни жестом не уронить достоинства.

Достоинство, честь и верность родовым традициям были в жизни его единственной мотивацией. Он должен был жить как его дед, деревенский мудрец, и отец, ученый историк. Он не только не имел права нанести ущерб чести рода, но обязан был заслужить уважение сородичей. В соответствии с обычаем знал имена своих предков до девятого колена. А также все великие дела, которыми они прославились. Кодекс, которому он был верен, отбирал право называться чеченцем у того, кто этого не знал. Некоторое высокомерное превосходство явно чувствовалось в его отношении к коллегам, которые ни во что не ставили не только его, но и свое собственное происхождение. За это он их особенно осуждал.

— Только зная, кем были твои предки, узнаешь, кто ты сам такой, — говорил Мохаммед. — А если не узнаешь, кто ты, так и останешься никем.

Мохаммед старался быть точен в словах и скуп — как того требует традиция — в

выражениях чувств. Экзальтация была чем-то непристойным, недостойным мужчины. Чеченца. Так же, как безответственность. А именно безответственностью считал он, также как его отец, объявление войны за независимость, с самого начала обреченной на провал. Мохаммед не воевал. Он считал войну делом чуждым, преступным, грязным, неблагородным. Как человек чести не хотел и не мог иметь с этим ничего общего.

А теперь вдруг, неожиданно для самого себя, испытал ненависть.

— Ненавижу все российское. Я не готов пока убивать, или погибнуть, не знаю, буду ли когда-нибудь готов. Но ненавижу всем сердцем, — говорил он вечерами, не сводя глаз с далеких вершин Кавказа, уверяя, что нигде больше не мог бы жить, что его место в долине Ведено и только там. Человек не из его мира, я вполне годился на роль поверенного. Отцу он никогда бы не осмелился рассказать о своих чувствах. — Слышать больше не могу, как они бессовестно врут по телевизору. Влезли в мой дом, переворачивают все вверх ногами, смеются над тем, во что я верю, оскверняют все, что для нас свято. Я бы вынес мысль, что нас убивают, что хотят нас всех уничтожить. Но не могу терпеть этой надменности, наглости, с которой они врут людям в глаза, уверенности, что им все позволено.

Это не было жаждой мести, это была именно ненависть. Мстительность он еще бы понял. Этого требовала традиция. Он обязан был бы отомстить за отца, родственников, запятнанную честь. Но, хвала Всемогущему, никто из его семьи во время войны не погиб. Не пострадал. Впрочем, закон родовой мести распространяется только на кавказских горцев благородного происхождения. На россиян, чужаков, уже нет.

Долго и безуспешно искал он в себе причину проросшей в нем ненависти. Ему хотелось понять, почему сентиментальные песни о священной войне, мучениках и свободе, которые до сих пор вызывали снисходительное презрение, теперь стали его трогать. Признался мне, что боится этой ненависти, потому что не может ни совладать с ней, ни понять ее. Не может оценить, достойно ли это для мужчины его рода. Можно ли ненавидя оставаться человеком чести?

Мохаммед чувствовал себя виноватым, потому что позволил ненависти овладеть собой. Как напоянная дождями река прорывается сквозь щель в плотине, чтобы разрушить ее, так ненависть разрушила, размывала фундамент жизни Мохаммеда. Он позволил ей прорвать в одном месте основу многовековых традиций, норм, обычаев, а их осталось так мало, что они могли стать и вовсе бесполезными. Гордый Мохаммед из Ведено терял такое ясное до сих пор понимание, кто он и что его ждет.

Руслан пил водку, чтобы разогнать сонные кошмары. Бывали ночи, когда он не мог сомкнуть глаз, потому что в памяти возникали друзья и чужие люди, смерть которых ему довелось увидеть. Говорят, что достаточно много раз увидеть смерть, и она уже не пугает. Руслан, похоже, видел ее слишком часто, так что она решила еще при жизни стать его спутницей. Что ж, он был ее должником. Она сделала его свидетелем своей жатвы. Стольких скосила, а его оставила в живых.

Руслан был журналистом. Участвовал во всех боях, все видел. Это он фотографировал Шамиля Басаева, раздающего арбузы своим джигитам в Дагестане. Потом снимал на камеру беженцев, преследуемых российскими самолетами, бомбы, падающие на Грозный и превращающие его в пустынные развалины, побоище партизан, выбирающихся ночью из города по минным полям. Сам шел с ними. У идущего впереди него Малого Асланбека мина взорвалась под ногами и осколком снесла полголовы. В горах на его глазах партизаны умирали от голода, холода и усталости. Не мог бы даже сосчитать, сколько раз он видел человеческую смерть. Днем еще как-то с этим справлялся. Только ночами предпочитал напиваться до отупения, чтобы призраки не смогли до него добраться.

Он не сетовал на свою судьбу, вовсе нет! Просто считал, что слишком частое зрелище чьей-то смерти до добра не доводит. Одни переносят это легче, как он, Руслан, другие хуже, или совсем не могут с этим справиться. Как та девушка в лагере для беженцев в Карабулаке, которая, спрятавшись под кроватью, видела гибель всей своей семьи. Прошло уже два года, а девушка не произносила ни слова и вообще производила впечатление безумной. Впрочем, в

Чечне трудно было бы найти кого-то — взрослого или ребенка — кто не видел бы смерти.

Одни после такого потрясения замыкались в себе, другие никогда так и не смогли побороть в себе страх. А были и такие, которые ни с чем не в силах были справиться — ни с болью, ни со страхом, ни с ненавистью. Такие были страшнее всего. Бесцельно слонялись и бросались на людей, как бешеные псы.

Именно таких выискивали по лагерям беженцев, по аулам, станицам и руинам городов те, кто задумал посылать смертников в российские казармы, учреждения сотрудничающих с россиянами властей и даже в саму Россию.

Найти их? Нет ничего проще. Стоило день-другой походить, поискать, а уж потом только ждать оказии. Женщин легче довести до отчаянного шага. Достаточно еще раз сделать больно, унижить, отобрать желание жить, а потом только подсказать способ мести. И соблазнить обещанием позаботиться о семье, которую она осиротит.

С мужчинами было труднее, это ведь на них лежала забота о семье, они были обязаны жить до конца. Так что нужно было выбирать таких, которые уже испытали чувство вины за то, что подвели близких. Не смогли уберечь свои семьи, дома, могилы, честь, одним словом, ничего. Теперь надо было еще на мгновение вернуть им надежду — перспективу безопасного укрытия в лагере беженцев, помощи, работы, цели в жизни. Потом следовало все это опять отобрать, и тогда, лишенные всего, что имели и что могли иметь, они уже были готовы на смерть в терактах. Важно было только не пропустить эту последнюю секунду, когда в них еще тлеет жизнь. Если эта искра погаснет, и из живых существ они превратятся в безвольные, лишенные чувств биологические организмы, на роль смертников они уже не сгодятся.

Кроме проблем со сном Руслана больше всего мучила неспособность думать о будущем. Он не мог ни планировать, ни мечтать, ни намечать перспективы. Сама идея думать о будущем временами казалась ему абсурдной, а чаще просто кошмарной. А без этой способности мечтать, загадывать вперед, внутри поселялась пустота. И еще приходило ощущение, что тело становится тяжелым как свинец, неподвижным, мертвым. Не хотелось уже ничего.

Сулейман рассказывал, что в горах остались только самые сильные и здоровые. Ни разу, причем не из-за нежелания обидеть слушателей, он не сказал: самые лучшие, такие, которые легче всего переносят тяготы лагерной жизни и бесконечных походов по перевалам. В большинстве своем это были такие же как он сам ветераны обеих войн, люди тридцати с небольшим лет. Молодых было немного.

Разделившись на небольшие, по несколько десятков человек отряды, они постоянно перемещались, скрываясь, как могли, от российских вертолетов и самолетов-разведчиков, непрерывно охотившихся за ними в горах. Они летали даже ночью с включенными прожекторами, обыскивали лесные дороги и поляны.

— Только небольшим отрядам удается достаточно эффективно добывать пропитание, находить безопасные места для ночлега. Спим мы обычно под голым небом, в спальниках. Стараемся не разводиться огонь, а если уж делаем это, то выбираем на костер такую древесину, которая дает меньше дыма. Научились находить в лесу такие деревья, — рассказывал Сулейман. — По горам передвигаемся пешком, несем на себе все, что нужно для жизни и борьбы. Каждый тащит килограммов по пятьдесят поклажи. Коней нет, их кормить надо. По этой же причине и раненых у нас немного, их тоже кормить надо. В плен только солдат-срочников. Контрактников, которые приезжают в Чечню на заработки, убиваем на месте, даже пуль на них не расходует.

Из-за трудностей жизни на лесных базах и лагерях, а так же невозможности прокормить более многочисленные отряды, в горах оставался только постоянный партизанский контингент, необходимый как для обеспечения безопасности руководства, так и для охраны дорог через перевалы. Остальные партизаны скрывались в деревнях, регулярно меняясь, как на вахте, с теми, кто нес службу в горах. Те, кто спускался с горных постов, оставляли в лесу автоматы и тщательно брили бороды. Как Сулейман.

То, что они действовали небольшими отрядами, усложняло им проведение серьезных атакующих операций. С огромными трудностями шло согласование действий, совместных акций. Воевали независимо друг от друга, общались при помощи курьеров, и только изредка встречались в долинах на больших совещаниях командиров, в которых нередко принимали участие и Масхадов, и Басаев.

Из-за отсутствия единой структуры, единой системы, их было трудно уничтожить. Воевали по-своему, непредсказуемо, нестандартно. Поэтому так тяжело было их выследить и победить.

Невозможность содержания в горах большой армии заставила повстанцев отправлять не с чем все большее число добровольцев, бежавших в горы из оккупированных россиянами аулов.

— Тяжело им отказывать, отправлять домой, — продолжал Сулейман. Дали свет, и над нами вспыхнула свисающая с потолка голая лампочка. — Но мы не можем содержать в горах большую армию. Отсылаем их домой, говорим, чтобы ждали, даем какие-то поручения. Время от времени призываем в наши лагеря для обучения. Но в основном сидят дома и ждут приказов. Чтобы уберечь их от россиян, мы сделали им легальные документы, причем такие, которые гарантируют неприкосновенность.

Документы выдавали партизанам чиновники пророссийского коллаборационистского правительства. Одни из страха — во время ночных визитов в их дома партизаны делали им предложение, от которого нельзя было отказаться. Другие по доброй воле.

— Среди тех, кто пошел на службу к россиянам настоящих предателей немного, — говорил Сулейман. — Большинство чиновников и милиционеров — это люди, которые просто хотят выжить. Вроде как служат россиянам, а втихую содействуют нам и не отказывают в услугах.

Зимой, когда кроме прочих сложностей жизни в горах партизанам докучали морозы, а на снегу были ясно видны следы скрывающегося отряда, большинство, иной раз до трех четвертых состава, спускалось в долины, прежде всего в большие города, такие как Грозный, Гудермес или Урус-Мартан. Там, располагая заранее заготовленными документами, они могли без труда смешаться с толпой и переждать до весны. В горах, обреченные на величайшие трудности, оставались только люди слишком хорошо известные, которых уже нигде не удалось бы укрыть.

Жили в скальных пещерах и штольнях, вырубленных в горах много лет назад с целью с тайных баз на вершинах Кавказа доставать, в случае необходимости, своими ракетами неприятельскую Турцию. Несмотря на холод и рано наступающую темноту, партизаны старались как можно реже разводить огонь. Топили снег, чтоб заварить чай или приготовить еду. Приходилось все время быть на чеку, потому что засыпанные снегом перевалы усложняли, а иногда делали просто невозможным уход от преследователей.

Лучшие времена наступали с весенним потеплением, когда на деревьях появлялась листва, дающая укрытие от вертолетов-разведчиков. Легче было совершать переходы по горным тропам. Под прикрытием деревьев можно было пробираться из высокогорного заповедника в окрестностях Ведено до самого Джейраха в Ингушетии и даже Северной Осетии, а оттуда по долинам рек Асса и Терек добираться даже до Грузии. Проще было небольшими отрядами в несколько человек незаметно спускаться с гор к самым поселкам и дорогам, чтобы добыть пропитание или устроить засаду российской колонне. Осенью партизаны снова расходились по большим городам, а их предводители залегали в горных укрытиях.

— Больше всего мы боимся их самолетов и бомб, которые они сбрасывают нам на головы. Мы не знаем, что это за бомбы, но это настоящий кошмар. Иногда после взрывов нас много дней мучит рвота, от других слезятся глаза, — Сулейман задумался. — Есть еще такие бомбы, от которых молодая зеленая трава горит, как солома.

— Для них сто убитых — это просто военные издержки, которые нужно скрыть. Для нас каждый погибший — невосполнимая потеря, — добавил он, распрямляясь на неудобном

стуле. Молчаливые чеченцы кивали в поддержку головами. — Нет, в этой войне мы уже ничего не захватим, не будет никаких атак, штурмов. Нет у нас на это сил. После каждого нашего нападения на комендатуру, после каждой засады, после каждого приговора предателю, россияне проводят карательные экспедиции, организуют облавы на нашу молодежь. Мы не хотим, чтобы люди зря страдали. Поэтому, если атакуем, то только тогда, когда это абсолютно необходимо. Мы не сможем их победить. А вот бороться можем хоть сто лет. Россияне могут проиграть только сами себе. А нам важно просто продержаться. И это будет означать, что мы не проиграли.

Наступила тишина. Этимат внесла свежий чай. За окном уже стемнело. Сулейман спросил, нужен ли я ему еще.

Я ответил нет. А зачем? Я уже не мог пробудить в себе любопытства, найти силы для разговора, веры в исключительность и серьезность всего, что меня окружало. Я выслушал рассказ Сулеймана так, как его выслушали Аслан, Руслан и Мохаммед, время прошло быстро и спокойно. Остыл чай в чашках, наступил вечер, минул очередной день. Я думал о том, что сейчас потухнет свет, а я не взял с собой фонарик и придется добираться в свою комнату на ощупь по темному, смердящему мочой коридору.

Я не остановил Сулеймана, когда он прощался, хотя он и был для меня единственным свидетелем событий, ради которых я здесь оказался.

Бой в Комсомольском, о котором он рассказывал, состоялся всего пару недель назад. Я не спросил его о Басаеве, а ведь Сулейман видел его всего неделю назад. Он был источником бесценной информации, а я пренебрег ею.

У реки, где мы познакомились, он говорил: «Я не представляю себе войны без Шамиля. Разное о нем говорят, но Басаев — это настоящий командир».

Чеченцы в лагерях беженцев в Ингушетии, да и многие из тех, кого я встретил в доме Исы, не могли простить Басаеву того, что он навлек на страну новую войну.

— Если он сознательно дал России повод начать войну, значит он предатель, — говорили они, проливая слезы над могилами близких и пепелищами домов. — Если неосознанно, если его ослепила гордыня и самолюбие, значит он глупец и предатель, потому что тот, кто хочет быть предводителем, не имеет права думать только о себе, руководствоваться только своими эмоциями и не думать о последствиях.

Одни называли его безумцем, который ради своих амбиций накликал беду на тысячи людей. Другие, его поклонники, а таких всегда было немало, утверждали, что Шамиль принесет не горе, а свободу, что он и есть тот долгожданный смельчак, который не побоится замахнуться на то, о чем другие не осмеливаются даже мечтать.

Говорили, что только на поле битвы может Шамиль искупить грехи, за которые после войны должен будет отчитаться перед земляками. Но были и такие, кто считал, что если бы Шамиль прославился на войне, а потом в Грозном на главной площади пал на колени и попросил прощения, люди бы ему простили. В Чечне насилие и террор были чем-то столь обыденным, что порицать их было бы так же бессмысленно, как проклинать злую судьбу или плохую погоду.

— Если сегодня лицо Масхадова — символ Чечни, то Шамиль — ее душа, — говорил Мохаммед Толбоев, один из лидеров дагестанских аварцев, первый кавказский космонавт. — Он — воплощение всех романтических черт кавказского джигита. Если не погибнет, будет править Чечней.

Неистребимая жажда жизни на острие ножа завела Шамиля в тупик, из которого не было выхода. Не желая, не умея жить в мирное время, он сам себя обрек на войну. Ему навсегда была дана одна судьба — вечного воина, смертника.

Несомненно, он стал героем, для кого-то — эпической легенды, для кого-то — мрачного триллера. Для тех, кто дарил его уважением и любовью, он был воплощением всех достоинств. Для тех, кто его проклинал, был черным ангелом, воплощением всех пороков, изъянов, скрытых нездоровых страстей. Но все равно героем. Мне кажется, он только этого и хотел от жизни. Ему было все равно — славят его или желают смерти в муках. Казалось,

единственное, чего он боялся, это неизвестность, в его понимании равноценная небытию.

Сам же Басаев ничего не говорил, ничего не опровергал, ничего не объяснял. Как будто находил удовольствие в том замешательстве, которое вызывал своей личностью. Как будто своим молчанием обещал: буду для каждого таким, каким он хочет, лишь бы я для него существовал.

Война и военные истории только на первый взгляд кажутся легким предметом для описания. Как мощный катализатор они ускоряют реакции, облегчают понимание, открывают, выставляют на показ добрые и злые стороны человечества. Они как лаборатория алхимика, тайная, окруженная как бы прозрачной, но плотной, почти непроницаемой стеной. Увиденная издали, эта лаборатория дает обрывочное и поверхностное понимание происходящего. Чтобы овладеть настоящим знанием, нужно рассмотреть ее с близкого расстояния, войти внутрь. Сначала нужно найти ворота и входы, ведущие сквозь стену в мир, в котором разворачивается непостижимый, невообразимый кошмар войны.

Но когда пройдешь внутрь, выясняется, что, оказавшись из желания познать правду и ужас в этом мире войны, ты сам уже можешь быть только невольным ее участником. Выясняется, что невозможно оставаться просто внимательным наблюдателем, беспристрастным исследователем.

А это лишает смысла и ценности всю затею, а желание соприкоснуться с правдой и ужасами мира войны превращается в непреодолимое желание вырваться из него любой ценой.

Я обязательно хотел поехать в Комсомольское. Мне казалось, что поездкой в эту сожженную деревню, хоть и сам толком не знал, чего от нее жду, я мог искупить свою минутную слабость, которую совершил, отпустив Сулеймана.

День вставал сумрачный, без солнца, но теплый как бывает весной в горах. Над деревней висело свинцовое небо.

Утром Иса отвез меня прямо к воротам российских казарм. Молча, покуривая сигареты, мы ждали капитана, который обещал взять меня в разрушенные россиянами аулы в предгорьях Кавказа. Иса, хоть и утверждал, что обо всем уже договорился, явно нервничал. Не хватало только, чтоб провалился еще один из его планов, чтоб он не сдержал очередное свое обещание! Облегченно вздохнул, когда из ворот выехал газик с капитаном за рулем.

— У тебя максимум полчаса, — бросил капитан, когда мы остановились в деревне. После трехнедельной битвы с партизанами в ней не осталось ни одного целого дома. — Спрашивать можешь, но не отвечай ни на какие вопросы. Тут запросто можно наткнуться на агента спецслужб. Мне проблемы не нужны. Если что, я от тебя отпрусь, еще и арестовать помогу.

Деревня казалась вымершей. Вокруг ни души. Ни человека, ни коровы, ни гуся или курицы. Ни одного живого существа. Никаких звуков, ни вблизи, ни вдали. Мертвую тишину нарушали только пчелы, кружащие над абсурдно белой сиренью, чей сладковатый запах в майский полдень был сильнее даже вездесущего смрада пожарниц.

Я неторопливо шел от дома к дому, издали, с дороги разглядывая руины. Обходил дворы, полные, как меня предупредили, неразорвавшихся снарядов и мин. Уже возвращался, когда услышал стук топора.

Он испугался, увидев меня, не ожидал кого-то здесь встретить. Звали его Анзор, когда-то он тут жил. Теперь ютился у родственников в Дуба-Юрте, недалеко отсюда. Не хотел быть в тягость хозяевам, вот и ездил в свою деревню, разыскивал по дворам все, что еще могло пригодиться в хозяйстве.

Деревня насчитывала пять тысяч душ. Кто не погиб, убежал. Остались только развалины и пепелища, искореженные остовы сожженных машин и тракторов.

— Партизаны спустились в деревню на рассвете, только начало светлеть, — вспоминает Анзор, почесывая голову под меховой шапкой. — Истощенные, оборванные. Просили еды и разрешения передохнуть пару дней. Было их человек пятнадцать, все местные. Но когда с гор стали спускаться другие, еще и еще, мы поняли — пробил наш час.

Был среди партизан и сам Руслан Гелаев. Россияне рассказывали потом, что он пожертвовал партизанами и родной деревней ради того, чтобы вывезти оттуда свою семью.

— Это неправда, — утверждал Анзор. — Гелаев вывез жену, детей и мать еще до того, как пошел защищать Грозный.

Солдаты появились уже на следующий день. На поле за дорогой расставили танки и пушки. Люди бросились бежать. Но россияне, окружив деревню, возвращали бегущих крестьян, приказали ждать по домам, пока войска не войдут в деревню и не проверят сами, кто был партизаном, а кто нет, кто помогал боевикам, а кто был верен России.

— Да только вошли в деревню, тут же поднялась стрельба, и мы все, несмотря на запрет, опять бросились бежать, — Анзор возвращается памятью к этим дням охотно и без боли; то, что он тогда выжил, когда столько людей вокруг погибло, вселяло в него веру в собственную исключительность. — Но солдаты снова нас остановили и не позволили с места двинуться, пока не проверят, нет ли среди нас партизан. Мы просидели в открытом поле пять дней и ночей. На морозе, без еды, без крыши над головой, посреди боя, между стрелявшими из деревни партизанами и российскими танками и минометами. Наблюдали, как гибнет наша деревня. Все полыхало в огне и грохотало, стоны раненных и рев горевшей живьем скотины долетали до самого поля.

Партизаны защищались три недели. Украдкой пробирались из деревни в лес, оставляя за собой сотни погибших. Россияне бомбили деревню без особой спешки, и только когда смолкали автоматы чеченцев, заходили на улицы и дворы. Шли осторожно, спиной к заборам по обе стороны улицы, взрывая дом за домом, усадьбу за усадьбой.

— Они боялись заглядывать в подвалы, в которых еще могли скрываться партизаны. И правда, в домах было полно раненных, — говорил Анзор. — Так они бросали в дом связку гранат и так шли от дома к дому.

Вытащенные из развалин тела свозили на поле у соседнего Алхазура. Ежедневно по семьдесят, восемьдесят тел. Люди со всей Чечни съезжались, чтоб в разложенных на черном пластике останках распознать своих близких и увести их на семейные кладбища.

Анзор достал из сумки хлеб и козий сыр. Приближалось время обеда. Я не мог с ним дольше разговаривать. Мне пора было возвращаться. В условленном месте за деревней ждал мой капитан. Я пробрался-таки за стену, чтобы быть ближе, лучше рассмотреть, глубже познать. А оказавшись там, только и делал, что прятался. Трудно что-то увидеть своими глазами, вечно оставаясь в укрытии.

Мы поехали с Исой в Дуба-Юрт уже без сопровождения, правда, с разрешения россиян. Я там был в третий раз. Первый раз — как гость Мансура.

В Дуба-Юрте дело не дошло даже до боя, тем не менее, эта некогда богатая деревня тоже перестала существовать. Россияне, остановившись у деревни, даже не пожелали вступать в переговоры. Комендант деревни, Мохаммед Баудинов, отправившийся на переговоры, бесследно исчез. Сразу после этого россияне расставили над рекой танки и пушки и стали обстреливать Дуба-Юрт. Методично, изо дня в день, из ночи в ночь.

Сельчане разбежались, а когда стрельба стихла и они вернулись, застали на месте деревни истое побоище. Не осталось ни одного целого дома. Те, что не были разрушены бомбами и снарядами, сожгли солдаты. Перед этим разворовали, что под руку подвернулось, и вывезли награбленное на грузовиках.

В Чири-Юрте говорили, что соседи поплатились за старые грехи. Во время первой войны горные аулы укоряли жителей Дуба-Юрта, что, заботясь только о себе, они не вышли на бой с российскими частями, а пропустили их через свою деревню, когда россияне преследовали удирающих в горы партизан. Разрушение и грабеж Дуба-Юрта горцы сочли справедливой карой Божьей.

Жители Дуба-Юрта без жалоб и протестов складывали из обломков разрушенные жилища. Каким-то чудом латали изъеденные снарядами и огнем стены, ставили над ними крыши. Среди руин и пожарищ рождалась новая жизнь, о чем возвещали радостно дымящиеся трубы.

Я попросил Ису, чтобы он подвез меня к дому Мансура. Если не считать разрушенной крыши и до последнего гвоздя разграбленного имущества, дом уцелел. Ракетой снесло только верхнюю часть комнаты, осенью служившей нам спальней.

Мансура я не застал. Он выехал с женой и сыном в Германию еще до того, как война разыгралась не на шутку. Его старший брат, Саид Хамзат сказал мне, что иногда ему удается поговорить с Мансуром по телефону. Редко, потому что звонить приходилось из Дагестана. Дорого это было, а кроме того, Саида Хамзата парализовал страх от одного только вида российских солдат.

Он не знал, что случилось с шофером Мусой, от меня узнал, что Омар, который мечтал о Париже, скрывается в Чири-Юрте. Саид Хамзат думал только о том, как выехать из страны, и злился, что Мансуру требуется столько времени, чтобы подготовить безопасную и надежную переброску с Кавказа на берега Рейна.

Выезжая из деревни, я встретил Наруддина, одного из моих давних ангелов-хранителей. Он как раз заканчивал латать крышу над единственной в доме комнатой, пригодной для жилья. Все остальное сгорело.

В отремонтированной комнатенке Наруддин собирался пережить весну и лето. Верил, что россияне когда-нибудь заплатят ему за разрушенный дом, и тогда он планировал восстановить остальные помещения и привести из Ингушетии семью. Пока что в покрытой уже крышей комнате поставил кровать и печку, которую смастерил из старой бочки. Вечерами в сгоревшем доме заваривал на ней чай.

После возвращения Аслан спросил, обратил ли я внимание на мертвые поля.

— Люди не выходят сеять. Мин полно. Россияне ставят эти мины, чтобы отрезать партизанам дорогу к селам. А те, кто все-таки решился весной обработать землю, выгоняют вперед овец. Если пройдут, значит, мин не было, а если которая и взлетит на воздух, мясо и так потом съедят, а кусочек поля можно будет засеять.

В пятницу вечером поехали мы с Исой к Халиду узнать, не было ли для меня вестей, и отправить командирам партизанских отрядов просьбу дать пленных, нужных для выкупа Хусейна.

Иса вошел в дом, оставив меня как всегда в машине. Вернулся ужасно расстроенный. Один из командиров повстанцев поручил ему немедленно освободить из плена татарского журналиста, который брал у него интервью. Он боялся, что журналист не выдержит допросов и выдаст его убежище. Приказал Исе узнать цену освобождения татарина, не считаться с расходами и отнестись к поручению, как к делу первостепенной важности.

Из-за всего этого Иса забыл спросить Халида о моих делах. Но если бы с гор пришли хоть какие-то вести, Халид сказал бы об этом и без вопросов.

Занятый выкупом Хусейна и татарского журналиста, Иса исчезал из дому на целые дни. Возвращался расстроенный, запирался в супружеской спальне, в которую никто кроме него и Лейлы не имел права входить.

Аслан проводил дни с друзьями в своей квартире, а Ислам болтался по деревне. Сбегая из дому, он освобождался от царящих там порядков, строгих, стесняющих свободу, непреклонных.

Дома оставалась хлопчущая на кухне Лейла и молчащая при посторонних Этимат.

Я пытался бежать от губительного одиночества и отравленных сомнениями мыслей, просиживал часами на кухне, ссылаясь то на голод, то на жажду.

Очень мало женщин и женских судеб появлялось в моих рассказах. Женщины были только статистами, элементом декорации мира, который я пытался понять и описать. Они не боролись за власть, не стояли во главе революций, заговоров и терактов, не командовали войсками, не убивали и не гибли в окопах. Так что не их имена были в моих записных книжках, не встречи с ними я искал в погоне за комментариями по поводу событий, прогнозами, эксклюзивным правом на интервью.

Окруженный мужчинами, целиком поглощенный их проблемами, я не находил ни сил, ни времени, чтобы попытаться хоть представить себе, как выглядит батальный пейзаж в

глазах женщин, не героев войны, а статисток и жертв. Честно говоря, я даже не испытывал такой потребности.

Воюющие мужчины ревниво оберегали от посторонних тайны мира своих женщин. Не хотели, чтобы им уделяли слишком много внимания. Может, боялись, что хорошо знающие их женщины могут разрушить монументы славы, которые они так усердно воздвигали самим себе, что, рассказывая о страданиях и преступлениях, женщины лишат их войну героического ореола, развеют миф о стойких воинах и мучениках за святое дело.

Только предоставленный чеченскими мужчинами самому себе, я мог выслушивать истории их женщин. Только тогда заинтересовали они меня и показались достойными внимания.

Сразу после завтрака, убрав со стола и помыв посуду, Лейла приступала к чистке обуви. Мокрой тряпкой стирала грязь с голенищ, потом специальной щеткой с пастой чистила до блеска. Чистила сапоги Исы, сыновей, мои.

На протесты отвечала снисходительной улыбкой, а когда я попытался забрать свою обувь в комнату, Иса неодобрительно покачал головой.

— Это ее дело, — бросил он.

Поначалу я воспринял это как очередное доказательство рабской доли женщин. Со временем, впрочем, стал подозревать, что, сохраняя, вопреки всему, верность старым традициям и обычаям, Иса, Лейла и их соседи старались создать хотя бы видимость нормального течения жизни. Давно навязанные роли, старые обязанности были для них единственной связью с прошлым, гибнущим сегодня миром. В прошлой жизни, возможно несовершенной, они умели найти себя, у них были четкие ориентиры. Новую жизнь, которая должна была вот-вот наступить, они не знали, а потому боялись ее. И не ждали от нее ничего хорошего.

Поэтому Лейла чистила обувь, гладила рубашки, подметала в комнатах и мечтала о новых занавесках. Старые Иса унес из дому, кому-то отдал. Она не спрашивала, кому и зачем. Иса никогда бы не позволил ей вмешиваться в свои дела.

Новые занавески стали для Лейлы чуть ли не идеей фикс. Она постоянно о них говорила. Как только заходила в мою комнату, заламывала руки и извинялась.

— Ну, что за вид?! Окна до половины заклеены старыми газетами! Вот в старой квартире у нас были занавеси! Тяжелые, атласные, до самого пола. Как только война кончится, куплю себе новые, такие же.

Часто повторяла, что без занавесок в окнах чувствует себя голой, открытой чужим взглядам, незащищенной. Окна, затянутые пурпурными занавесками из атласа были для нее символом безопасности и покоя.

Без них она чувствовала, что не справляется должным образом с ролью хранительницы домашнего очага. Поэтому она так настойчиво выхватывала у меня из рук обувь и сетовала, когда заставляла меня в ванной за стиркой. Поэтому, уставшая и сонная, она всегда ждала, пока Иса отправится на отдых. Она не могла лечь раньше мужа. Так было не принято.

От нее ничего другого и не ждали. Она никогда не работала, как большинство женщин в Чечне. Женщина, зарабатывающая деньги, была живым оскорблением для мужа и неопровержимым доказательством того, что сам он ни на что не годится, не может считаться мужчиной.

Содержание дома и семьи было задачей и обязанностью мужчин, их единственной обязанностью. Их жены и дети, которых они рожали, должны иметь все. Мужчина мог не любить жену, мог с ней не разговаривать и даже неделями не показываться в доме. Но если был в состоянии обеспечить ей достаток и безопасность, все еще мог считать себя хорошим мужем. Бедность тут была практически равнозначна позору.

Любовь не обязательно должна была предвращать замужество, хоть неплохо, если она все-таки была.

Лейла не хотела, не умела разговаривать о любви. Женщины на Кавказе, так же как их мужчины, скрывают от посторонних свои чувства. Лейла только рассказывала, что выходила

за Ису без принуждения. С радостью. Брак означал для нее желанную зрелость, освобождение из-под власти родителей. Иса, хоть, правда, редко и никогда при посторонних, проявлял иногда нежные чувства, был хорошим, заботливым мужем. У них все было. В их понимании они были счастливы.

Не то, что Тая, жена младшего брата Исы.

Невысокая, худощавая, с красивым, грустным лицом, она приходила в гости, когда знала, что Исы нет дома. Приходила к Лейле пожаловаться и попросить о чем-то. Ее Ахмад был источником вечных огорчений и хлопот.

Если бы не война, может, жизнь Таи и Ахмада сложилась бы лучше. А так — все пошло вкривь и вкось.

Это война перевернула все вверх дном, поставила с ног на голову, отобрала предписанные и хорошо заученные роли.

Из опекунов и хранителей мужчины превратились в смертельную угрозу для семьи. Они не только не могли защитить своих жен и детей, но сами навлекали на них несчастья. Теперь мужчин самих приходилось защищать.

Еще в начале войны россияне объявили, что каждый чеченец, достигший шестнадцати лет и не старше шестидесяти пяти, будет подозреваться в терроризме и связях с партизанами. В страхе перед арестами, болью, унижениями, необходимостью добывать выкуп за освобождение, наконец, смертью, мужчины заперлись в домах. Хоть засовы на воротах и запоры на дверях уже давно не гарантировали безопасности, все-таки они увеличивали шанс выжить. Так что мужчины не имели возможности исполнять ни одной из предписанных им обязанностей. Не могли даже отомстить должным образом, если бы возникла такая необходимость. Как в стране, охваченной войной, ошетилившейся военными постами, с разбитым в пыль гусеницами танков асфальтом искать с ружьем в руках того, кого должна была настичь родовая месть?

Они стали бесполезными.

Иса был исключением. Он продолжал содержать семью, обеспечивал ей достаток и спокойствие. Но Лейла дрожала от одной мысли, что судьба перестанет быть такой милостивой, и с Исой случится то, что с его младшим братом.

Ахмад был интересным мужчиной. Рослый, с густой шевелюрой, с красивым лицом. Может, слишком запальчивый, в гневе мог ударить жену, но все были уверены, что с возрастом он поумнеет, и что Тае повезло.

Война резко изменила Ахмада. Если бы он жил в Чири-Юрте, Иса, возможно, мог бы позаботиться и о его безопасности. Но в Шали он был беспомощен. Горячий характер, фигура силача Ахмада бросались в глаза, привлекали внимание. Так что он уже пару раз попадал к россиянам под арест. В конце концов, заперся в доме и вообще перестал из него выходить. Он, который минуты не мог усидеть на месте, теперь целыми днями лежал на кровати, уставившись в потолок. Вечерами стал напиваться, а напившись, все чаще бил Таю, да еще на глазах у троих детей.

Иса ездил в Шали поговорить с Ахмадом. После каждого визита на память Ахмаду оставалось припухшее лицо в синяках. Какое-то время все было спокойно, потом водка снова лишала Ахмада разума.

Ахмад подумывал о разводе, Иса, как старший в семье, не собирался на это соглашаться.

Тая тоже не хотела развода, говорила, что понимает гнев мужа. Не винила его, даже сочувствовала. Понятно ведь, он просто не в силах был вынести неожиданного бездействия. Оно отбирало остатки достоинства и всякое желание жить. Любой предпочел бы бросить семью, чем видеть, что является для нее обузой. Ахмаду было стыдно перед Таей и собственными детьми.

Это бессилие, эту утрату смысла жизни чеченским мужчинам было труднее переносить, чем военные поражения.

Не в силах дожидаться, когда мужчины вернуться к своим давним обязанностям, не

веря, что они обретут новую роль, чеченские женщины вынуждены были постепенно заменять их во всем. Они, которым когда-то запрещалось одним выходить из дому, теперь на улице не отходили от своих мужей. Их присутствие могло уберечь мужчин от ареста. Правда, не обязательно.

Теперь они торговали на базарах, работали в поле, скитались по стране в поисках своих близких среди пленных или в братских могилах. Многие женщины даже не хотели рожать детей, количество которых когда-то было причиной гордости и исполнением высочайшего долга. Теперь дети, прежде всего, значили страх за их жизнь.

В гости к Лейле приезжала ее старая знакомая из Грозного, доктор Эмма, работавшая в роддоме.

— И зачем они рвутся на белый свет? — выкрикивала она. Несмотря на войну, Эмма продолжала принимать роды в больнице, на которую по какому-то счастливому стечению обстоятельств не упала ни одна бомба. Больница была изрешечена автоматными очередями, а многие палаты разграблены российскими солдатами и местными мародерами, но стены стояли крепко и надежно держали потолок. — На что это похоже?! Вокруг война, никакой надежды, а эти рожают себе и рожают! И ни одна не задумается, как эту крошку потом прокормить, как уберечь от трагедии. А вдруг сама попадется под косу смерти? Что потом такая сиротинка будет делать на белом свете? Пораскинули бы мозгами! Они не знают, что значит потерять ребенка, воспитывать его на погибель!

У Эммы было двое сыновей, и она ежедневно умирала от страха, как бы с ними не случилось самое ужасное. Как с сыном ее подруги, для которого полученная во время бомбежки на прошлой войне рана оказалась сущим проклятием. Для солдата во время задержания и обыска ампутированная до локтя рука была достаточным доказательством того, что он был ранен в боях против россиян. Парня то и дело арестовывали, бросали за решетку, а когда семья выкупала его, возвращался домой избитый, обезумевший от страха.

Со слезами на глазах доктор Эмма клялась, что не пережила бы, если бы такое случилось с одним из ее сыновей. Она боялась, когда сыновья выходили на базар или к приятелям, боялась оставить их одних дома, когда сама уходила в больницу. В конце концов, отправила их в Россию, в Ставрополь. Не видела их, но чувствовала, что там они в большей безопасности. Что вовсе не значило, что так было на самом деле.

— Одиноким сегодня легче, они боятся только за себя. А себя даже оплакивать не придется, — говорила Эмма, вытирая слезы. — Сегодня лучше не иметь детей. Может, и некому будет тебя оплакивать, только это все равно лучше, чем обливать слезами тело собственного ребенка.

В ту ночь кто-то из деревенских выстрелил из автомата в российского часового. С солдатом ничего не случилось, но по деревне прошел слух, что россияне готовятся отомстить. Будут обыски, проверка документов, аресты мужчин, которые вызовут подозрение.

Иса разбудил меня и сказал, что нужно перебраться на ночь к его брату Хамзату. Он не сомневался, что россияне поступчатся и в нашу дверь.

Хамзат жил с женой и двумя детьми на самом краю деревни за рекой, в глухом закутке. Его одинокий дом прятался в кустах, высокой траве и лопухах. Казалось, будто деревня выгнала, отказалась от него, не хотела иметь с ним дела. Он стоял слишком далеко от остальных дворов, чтобы обыскивающим деревню солдатом пришлось в голову тащиться за реку. Разбуженный нами посреди ночи, Хамзат долго не мог добраться до двери, спотыкался о попадающиеся ему под ноги стулья.

Он решил спрятать меня в деревянной беседке за домом, куда до войны приглашал друзей на посиделки. Там было все, что нужно для приготовления шашлыков — сколоченный из не струганных досок стол и две огромные лавки, а также каменный круг, в котором разжигали костер.

Я спросил Хамзата, почему Иса, всегда в таком прекрасном контакте с россиянами, вдруг стал их бояться.

— Сам видишь. Тут все не надежно. Ни за что не ухватишься, — пожал он плечами. — Никакие законы не действуют, никакие договора не соблюдаются. Нет ни наказания, ни справедливости.

Исе он никогда бы не признался в том, что мне, чужаку, мог сказать. Когда россияне взяли Грозный, а их войска расквартировались почти в каждой чеченской деревне, он почувствовал облегчение. Да, облегчение, потому что верил, что наконец закончится война, страх и хаос, что он в конце концов обретет какую-то почву под ногами, какую-то точку опоры, с которой можно будет что-то начать, что-то построить. Многие тогда думали так же, как он, Хамзат в этом уверен. Слова были не нужны. Он видел это во взглядах, чувствовал.

Но военные, загнав партизан в горы, не собирались наводить порядок. По ночам пьяные солдаты ходили по домам, били хозяев, воровали все, что попало под руку. Забирали из домов девушек. Говорили, что на допрос, проверить, не были ли они связными у партизан. Некоторые не возвращались никогда. А те, что возвращались, запирались в своих домах, плакали и не говорили ни слова. Плакали и их отцы, потому что предпочитали видеть дочь мертвой, чем обесчещенной; опозоренная девушка становилась отверженной, вместо сочувствия на нее наваливалась жуткие страдания изгоя.

Солдаты стреляли, куда попало, арестовывали всех без разбору. Мужчины исчезали из деревни. Одни бежали в горы, других увозили россияне. Приходилось срочно добывать информацию, куда вывезли пленных, чтобы можно было их выкупить. На следующий день после арестов в мечети мулла во время моления оглашал список арестованных и размер выкупа. В кавказских деревнях обычно бывает несколько сотен дворов. Каждый из соседей спешил с помощью, зная, что несчастье, которое сегодня его миновало, завтра может свалиться на него самого.

Россияне обвиняли арестованных чеченцев в участии в партизанских отрядах и требовали сдать оружие.

— Он никакой не партизан, никогда не воевал, даже в армии не был, — начинали переговоры родственники

— Мы вам верим, но у нас есть основания подозревать его, — отвечали русские. — Лучше всего было бы, чтобы ваш родственник сдал автомат, и тогда мы его тут же выпустим.

— А где ему взять автомат, если он его никогда не имел? — спрашивали чеченцы.

— Если у вас нет, купите и отдайте, — звучал сакраментальный ответ.

На Кавказе, а уж тем более в Чечне, покупка автомата никогда не была сложной задачей. Проблема заключалась в том, что человека с тайно приобретенным оружием могли тут же задержать и арестовать как партизана. Самым безопасным способом достать автомат на выкуп родственника была его покупка непосредственно от россиян, которые, пользуясь своим положением, сами диктовали цены. Ни арестованный чеченец, ни его родственники никогда до этого автомата не дотрагивались и даже не видели его. Важно, что в бумагах было записано, что человек сдал оружие.

— Какие мы были глупые! Мы думали, станет лучше. Ничего не изменилось. Наоборот, становилось все хуже. Никакой власти, никакого спасения. Приходили одни, грабили, убивали. Приходили другие — то же самое. неизвестно, кем они были, откуда пришли, — у Хамзата был тихий, усталый голос. Может, поэтому он вызывал большее доверие, чем напичканные восклицательными знаками монологи Исы. — Как-то солдаты заехали на БТРах на поле и убили восемнадцать коров. Все стадо. Наверное, для развлечения, с собой-то забрали только три телки. Люди пошли жаловаться в комендатуру, да куда там! Ничего не доказали. А вечером, по телевизору сказали, что они окружили нашу деревню и уничтожили отряд партизан. Якобы только двоим удалось удрать. Наверное, пастухов имели в виду.

Хамзату казалось, что Чечня никому на самом деле в России не нужна, никого не волнует. Никто от нее ничего не ждет, не хочет о ней ничего знать и слышать. Если бы партизаны не взрывали бомбы в российских городах и поездах, никто бы и не помнил, что

существует Чечня и что там идет война.

На взрывы бомб приходится реагировать российскому президенту, который уже давно объявил об окончании войны и победе. Разозлившись, он собирает генералов, устраивает им разнос перед камерами телевидения, и приказывает навести порядок. Генералы успокаивают президента, что все, мол, под контролем, все идет по плану и в соответствии с указаниями, что это временные трудности. Потом разбегаются по кабинетам, хватают телефонные трубки, звонят на Кавказ, матерятся и угрожают подчиненным полковникам и майорам, требуют немедленных действий, докладов. Полковники и майоры вызывают капитанов и лейтенантов. А те, чтобы отличиться, приказывают своим частям организовать облаву в ближайшей деревне, арестовать дюжину мужиков как скрывающихся партизан, обстрелять какой-нибудь лесок. Теперь обратно в Москву летят рапорты. Докладывают об успехах, арестах, потерях, которые несут повстанцы, по телевидению называемые не иначе как бандитами и главарями преступных банд.

По мнению Хамзата Иса мог опасаться именно такой неожиданной вспышки войны донесений. Подкупленные им офицеры наверняка должны были выказать перед начальством свою активность и решительность. А в связи с этим все достигнутые ранее с Исой договоренности потеряют свою актуальность и значение.

— Люди еще сомневались, верили, что с россиянами можно договориться, что можно жить с ними в согласии. Теперь никто уже не верит и ничего хорошего от них не ждет. Тех, что в Москве, мы не волнуем, а те, что здесь с нами воюют, ненавидят нас, как заразу, потому что их эта война самих превратила в диких зверей. Они тут могут делать все, что хотят, совершать любые преступления, зная, что им волос с головы не упадет. Эта свобода вызволила в них все зло, которого они сами боятся, но справиться с ним не могут, — Хазмат задул свечку, за окнами начинало светать. — Нас тоже душит ненависть. У меня Россия связана со школой, учителями, книгами, хоть даже лучшие их поэты и писатели, Лермонтов и Толстой приезжали сюда, чтобы воевать с нами. А для моего младшего, шестнадцатилетнего сына Россия — это уже только бомбы, пьяные солдаты и страх. Для него даже православные кресты связаны с угрозой. Старший тоже не помнит другой жизни, кроме войны. Воевал на первой, убивал людей, и для него это уже не было чем-то необычным.

Наступила тишина. Медленно и неохотно просыпался день.

Не глядя на Хамзата, я спросил, не думает ли он, что мне стоит вернуться. Ответил, что Иса разговаривал с российским полковником и все уладил. Оказалось, что стрелял какой-то пьяный молокосос.

— Вы сами виноваты, — объяснял Иса россиянам. — У нас три года никто водки в глаза не видел. Как велит Коран, наши власти запретили продавать водку, вино и даже пиво. А россияне вернулись, и водка опять потекла рекой.

И еще Иса говорил, что всю ночь думал, как вытащить Хусейна из русской тюрьмы. Под утро успокоился. Определение цены выкупа за татарского журналиста было делом деликатным, но не хлопотным. Выкуп и так оплатит командир с гор. А при случае, может, удастся, размышлял Иса, заполучить трех офицеров для обмена на Хусейна.

А для меня он пригласил своего приятеля, важного офицера повстанческих спецслужб. Он уже ждал меня на диване со своим рассказом.

За обедом Иса кипел от возмущения. Ночью кто-то демонтировал и украл двенадцать километров железнодорожного пути, ведущего из деревни к цементному заводу. А в деревню прибыли новые беженцы с гор с рассказом, что российские войска приступили к уничтожению чеченских кладбищ и каменных башен.

Россияне разрушали надгробия, стреляли по башням из танковых орудий, закладывали тротилловые шашки. И дело тут было не в мести, не в порожденной ненавистью жажде разрушений. Они уничтожали башни методично, вкладывая в это огромный труд. Килограммы взрывчатки, снаряды и даже авиационные бомбы не в состоянии были стереть с лица земли постройки, возведенные сотни лет назад.

Нелегко было разрушить башню из камня. Ее ведь строили именно для того, чтобы она могла устоять против вражеских атак, осад, пожаров, штурмов. Труднее всего было захватить сторожевые башни, в которые горцы перебирались на время войны из своих жилых, обычных башен. Сторожевые башни высотой в двадцать, тридцать метров, ставили из тесаного камня в самых труднодоступных местах, в узких ущельях, по берегам горных рек, куда нельзя было проташить осадные орудия. Попадали в такую башню, карабкаясь по лестнице, которую потом втягивали внутрь. Запирали на засовы прорубленный высоко над землей вход и отверстия узких бойниц. Башни делились на этажи, связанные между собой длинными приставными лестницами. Из башенок на самых верхних этажах, скрытые от вражеских глаз, защитники могли обстреливать осаждавших из луков и ружей, и месяцами оказывать сопротивление превосходящим силам врага. Одна из легенд гласит, что чеченцы, укрывшись в такой башне на горе Тебулос-Мта в долине Аргуна, двенадцать лет успешно отражали атаки войск Тамерлана. Чеченцы говорили, что чем выше башня, тем легче в ней продержаться.

— Они думают, что если разрушат наши башни, победят нас, — выкрикивал Иса, грохая кулаком по столу, так что чай выплескивался из стаканов. — А дело не в башнях! Мы сами как камни! Если будет нужно, сами превратимся в камни!

Видя, что меня все больше угнетает отупляющее бездействие, Иса решил ускорить ход событий. Признался мне, что в деревне скрывается заместитель Министра иностранных дел повстанческого правительства, который, возвращаясь из секретной поездки в Москву, отравился чем-то в пути и теперь отдыхает перед тем, как отправиться дальше в горы.

Была пятница, мусульманский праздничный день. Иса решил, что если я выйду из дому во время вечерней молитвы соответствующим образом приодетый, никто не обратит на меня внимания. Мне предстояло впервые пройти по деревне, в которой я так давно жил, а видел только сквозь тонированные стекла машины.

Иса попросил, чтобы я оставил дома все, что можно было счесть ценным. Бумажник, часы, обручальное кольцо.

— У нас люди верят, что если входишь с такими ценными предметами в помещение, где лежит больной, ему станет хуже.

Деревня засыпала, когда муэдзин, жалостливо причитая с минарета, призывал людей еще раз сегодня почтить Аллаха. Базар на площади уже вымер. Исчезли торговки, оставив после себя одинокие скелеты деревянных лотков.

Дорога тонула в лужах и болотистой жиже, которую не в силах было высушить никакое солнце. Вдали маячили глыбы пятиэтажек.

В помещение, где скрывался заместитель Министра, входили из прихожей через шкаф. Такой обычный платяной шкаф, только пустой внутри, с дверью вместо задней стенки. В жаркой и душной комнате единственным предметом мебели была железная кровать, на которой приходил в себя больной. Да еще самодельный турник для занятий гимнастикой.

После вступительных любезностей и представлений мы некоторое время сидели молча, пока через шкаф не вошла хозяйка с чарками чая.

Министр был обижен на весь белый свет. Говорил, что чеченцы обманулись во всех. Разочаровались в России, которая, борясь за собственную свободу, отказывала в этом другим. Разочаровались в считающем себя оплотом прогресса и справедливости Западе, который в нужный момент не пришел на помощь; да и в мусульманском Востоке, который не отважился даже на слово протеста, когда чеченские мусульмане гибли под бомбами.

— Сами справимся. Мы неистребимы, — бесстрастно завершил он, придавив ногой окурок.

Что касается поездки в горы, заместитель Министра рекомендовал быть терпеливым.

— Нужно подождать еще пару дней. Нам всем приходится чего-то ждать.

Вечером через открытое окно донеслось громкое пение.

— Зикр танцуют, — ответил на мой вопрос Ислам, младший сын Исы.

Он согласился взять меня с собой в школу при мечети. Ночь была облачная, в темноте

мы то и дело натыкались друг на друга. Мрак царил и в главном зале медресе, где, соединившись в магический круг, чеченцы танцевали зикр. Россияне видели в этом обряде военный танец, черную мессу, мрачную языческую мистерию. Те, кто в нем участвовал, считались бунтарями, танцорам грозила тюрьма.

В мерцающем отблеске свечей проплывали лица танцоров, отсутствующие, застывшие. Взывая к Наивысшему, в экстатическом ритме танца и пения, который задавал руководящий церемонией мулла, они, казалось, пребывали совершенно в ином мире, таком далеком от того, что окружало их на земле. В мире чистом и благородном, добром и справедливым. Чтобы в него попасть, надо было вложить в танец столько жара и отрешенности, что многие участники теряли силы и падали без сознания на пол, чтобы через минуту, придя в себя, снова броситься в водоворот танца.

Мой знакомый, путешествуя по Кавказу, стал свидетелем зикра в Грозном. Когда ему наскучило наблюдать за танцем, он пошел перекусить, вернулся, а кольцо танцоров все еще кружилось. Если бы они побежали по прямой, заметил знакомый, отмахали бы не один километр.

Ислам сказал, что иногда тоже танцует зикр, что это раскрепощает, лечит душу, очищает, что он становится лучше. Не зря его мать так беспокоится о нем.

Зикр — это жалоба Богу. Жалоба такая страстная, что туманит рассудок. Умоляя Милосердного о справедливости, человек осознает незаслуженные, страшные обиды, выпавшие на его долю в земной юдоли. Кажется, что те, кому удалось бы вырваться из круга, были готовы на все. На смерть.

На обед Лейла приготовила чеченское угощение — кукурузные клецки и бульон с чесноком. С гор опять никто не приехал.

— Надо еще немного подождать, — утешал меня Иса, громко хлебая суп и выскребывая ложкой тарелку. — Всего пару дней. Можно же выдержать.

Следующую ночь, как и предыдущую, я провел в беседке Хамзата за деревней. На этот раз удрал из дому и Иса. По деревне снова поползли слухи о российской облаве. Все громче говорили и о партизанах, их видели под Хатунью.

В одной из деревень застрелили войта, выслуживавшегося перед россиянами. На mine под Шали подорвался российский грузовик с солдатами. Никто не погиб, но было много раненых. Зато четверо россиян погибли в перестрелке в ущелье Аргуна, сразу за Волчьими Воротами. В деревне говорили, что на этот раз партизаны спустились с гор не на отдых, что готовится действительно серьезная операция. Упоминали городок Аргун, расположенный недалеко от столицы, на важнейшем в стране перекрестке дорог. Вроде, именно на Аргун и заслужившую дурную славу тамошнюю тюрьму собирались напасть партизаны.

Атмосфера в деревне сгушалась. Иса подозревал, что среди беженцев, которые продолжали сходиться в его деревню, ибо весть об удельном княжестве Мадаева молниеносно облетела всю страну, могли быть и засланные россиянами шпики. Они якобы должны были разнюхать, не связан ли он с партизанами.

Благодаря стараниям Исы Чири-Юрт был, похоже, единственной деревней в округе, которая еще не пала жертвой грабежей. Иса подозревал возможность провокации.

Ночью разразилась гроза. Прокатывались громы, молнии рвали небо на части, а через дырявую крышу беседки нам на голову лились потоки дождя. Казалось, что вихри срывают с земли нашу беседку, и ее того и гляди унесет в небо. Перекрикивая ливень, Иса уговаривал меня не бояться, потому что горцы, живущие ближе всех к Богу, можно сказать на расстоянии протянутой руки, ему дороже других людей. Всемогущий, конечно же, не допустит, чтоб с ними что-то случилось.

Мы приехали домой к обеду.

— Я возвращаюсь, — сказал я, склонившись над тарелкой.

— Куда? — спросил Иса, подсовывая мне мисочку с чесноком. — Насыпь немного в бульон. Увидишь, как вкусно. Съешь одну тарелку в день — и можешь не беспокоиться ни о желудке, ни о печени. Куда возвращаешься?

— Ну, просто возвращаюсь.

Только теперь он вытаращил на меня глаза. Ему не хотелось верить, но кажется, все-таки до него дошло, что я говорю об отъезде.

— Как это? Ты хочешь уехать теперь? Да ведь вот-вот придет кто-нибудь с гор, назначат тебе встречу с Масхадовым. Еще день, другой. Ты же этого хотел. Что я им скажу, если тебя не будет?

За столом никто уже не ел. Лейла, стоя спиной ко мне, мыла посуду. Аслан и Ислам не сводили глаз с белой супницы, в которой стыл бульон.

— Иса, вывези меня на ту сторону.